

РОМАНОВЫ

ДИНАСТИЯ В РОМАНАХ



ПАВЕЛ I

Павел I // Армада, Москва, 1995

ISBN: 5-87994-048-9

FB2: "Bidmaker" <bidmaker@mail.ru>, 08.04.2009, version 1.2

UUID: 4021BCF5-7B4C-4A53-A88A-4119DB950CFB

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Владимирович Крестовский

Деды

Историческая повесть из времени императора Павла I. Последние главы посвящены генералиссимусу А. В. Суворову, Итальянскому и Швейцарскому походам русских войск в 1799 г.

Для среднего и старшего школьного возраста.

В. В. Крестовский

ДЕДЫ

Повесть

I

Концы и начала

На обширной площади перед Зимним дворцом была какая-то странная, необычная тишина. Народ отдельными кучками стоял по разным местам этой площади и с напряжённым вниманием глядел на несколько слабо освещённых окон, которые как-то грустно и таинственно выделялись своим тусклым светом на тёмном фоне высокой каменной громады дворца, погруженной во мгlistый мрак ноябрьского вечера. Эти кучки народа оставались в глубоком безмолвии; изредка разве обратится сосед к соседу с каким-нибудь замечанием, вопросом или сообщением, но и то так тихо, вполголоса, почти шёпотом... Тягостная неизвестность и томительная тоска какого-то грустного ожидания отпечат-

левались на лицах. А между тем, несмотря на эти неподвижно стоящие кучки, площадь полна была тревожным движением. И от дворца, и ко дворцу почти непрерывно то отъезжали, то подкатывали всевозможные экипажи: курьерские возки, городские санки, тяжёлые барские кареты четвернёй и шестёркой цугом, но мальчишки-форейторы, которые в то время имели обыкновение кричать своё «пади!» с громким и продолжительным визгом, стараясь выказать этим своё молодечество, на сей раз не подавали ни малейшего звука. Одно только глухое гроыхание колёс или время от времени топот копыт коня какого-нибудь вестового гусара в высокой и мохнатой медвежьей шапке, проносившегося куда-то и зачем-то во всю конскую прыть, нарушали это странное и строгое безмолвие.

— Ещё вчера, сказывают, изволили быть в совершенно добром здравии, — шёпотом передавал в одной из кучек народа какой-то мелкий сенаторский чиновник двоим-троим из ближайших соседей.

— Где уж здорова! — с грустным вздохом махнул рукой старый инвалид в гарнизонном

кафтানে. — Мне хороший знакомец мой один — он кофишенком у князя Платон Александрыча[1] — так он сказывал, что ещё третьево дни целый день на колики жаловались.

— И однако ж, вчера была здорова, — настаивал сенатский чиновник, — и мне даже через одного человека из самого дворца доподлинно ведомо, что даже обычное своё общество принимали в будуваре, очень много разговаривали о кончине сардинского короля и всё шутить изволили над Нарышкиным, над Лев Александрычем, всё, значит, смертью его стращали, а ныне вот...

— Никто как Бог... Его святая воля... Авось-либо всё ещё, даст Бог, благополучно кончится! — утешали себя некоторые.

— Ах, дай-то Господи! Сохрани её, матушку, Владычица небесная! — крестясь, вздыхали другие.

В то самое утро в опустелой Софии, дремавший среди уныло обнажённых садов, миновав Царское Село, скакал верховой ординарец. Взмыленный конь его уже хрипел и выбивался из последних сил, а молодой человек

между тем всё больше и больше пришпоривал и нетерпеливо побуждал его ударами шенкелей, но конь начинал уже спотыкаться и, видимо, терял последние силы.

— Лошадь под верх! Бога ради, живее! — торопливо и взволнованно закричал ординарец, приплетясь кое-как на конюший двор. Но его не слушали. На крыльце перед конюшнями стоял кто-то закутанный в дорожную шубу, в собольей шапке и с дорогой собольей муфтой в руках.

— Лошадей!.. Лошадей, каналья, скорее! — шумел и жестикулировал мужчина, — лошадей, говорю, или я тебя самого запрягу под императора!

— Ах... ах, ваше сиятельство! — манерно и с ужимками, полуучтиво и полугрубо отвечал ему на это хрипло-пьяноватым голосом какой-то старикашка, одетый в гражданский мундир заседателя. — Запречь меня не диковинка, но какая польза? Вить... вить я не повезу, хошь до смерти извольте убить.

— Под императора, говорят тебе! — топал меж тем тот, кого заседатель называл сиятельством.

— Да что такое император? — всё так же манерно разводя руками, возражал ему пьяненький старикашка. — О чём говоришь-то, не понимаю... Какой император?.. Если есть император в России, то дай Бог ему здравствовать, а буде матери нашей не стало, то... то ей виват! виват!.. Н-да! вот те и заседатель!

Молодой ординарец, заглянув при свете луны в лицо закутанного мужчины, почтительно отдал ему воинскую честь и торопливо прошёл мимо, направляясь в конюшню и таща за собой на поводу измученную лошадь. В этом мужчине он узнал графа Николая Зубова.

Не дожидаясь заседателя, ординарец сам выбрал под себя свежую лошадь, спешно переседлал её под своё седло и как вихрь помчался по гатчинской дороге.

Вскоре навстречу ему одиноко проскакал кто-то закутанный в плащ и на лету успел только крикнуть одно слово «Едет!», вслед за которым оба всадника уже далеко разминулись друг с другом.

Через несколько минут сквозь ночную мглу показались впереди на дороге точно бы

два огненных глаза, которые, всё увеличиваясь и приближаясь, превратились наконец в два фонаря дорожной кареты, мутно светившие сквозь густой пар, что валил облаками от восьмёрки запряжённых добрых коней.

Молодой человек придержал свою лошадь.

— Кто там? — раздался из открытого окна мужской голос. — Гонец?.. с известием?.. Что нового?..

— Её величеству, слава Богу, лучше! — громким и отчётливым голосом доложил ординарец, поворотив свою лошадь и направляясь обратно по дороге вровень с окном кареты. — Когда сняли шпанские мушки, — продолжал он, — государыня открыла глаза и попросила пить... Я от графа Салтыкова доложить, что есть надежда.

— Фу!.. Слава Богу! — с глубоким, полным и облегчённым вздохом слышалось из глубины кареты.

За экипажем скакали верхом и ехали в санях уже человек пять курьеров, посланных ранее с известиями более или менее тревожного свойства. Молодой ординарец, привёзший первую весть надежды, присоединился к

этому кортежу и тоже поскакал за каретой.

В Софии на перемену уже была готова новая подстава: Николаю Зубову какими-то судьбами удалось наконец уломать неговорчивого заседателя. Когда экипаж остановился перед крыльцом, конюхи живо стали перепрягать лошадей. На площадке в это время стоял ещё кто-то, новоприезжий из Петербурга, и разговаривал с Зубовым.

— Ah, c'est vous, mon cher Rostoptchin! — слышалось из каретного окна. — Faites moi le plaisir de me suivre; nous arriverons ensemble. J'aime a vous voir avec moi.[2]

Зубов молча, задумчивыми глазами проводил отошедшего Ростопчина. Быть может, в эту минуту он почувствовал в его лице восхождение нового светила в среде царедворцев...

По дороге в Петербург время от времени попадались навстречу всё новые гонцы и курьеры, которых уже ворочали назад, и таким образом набралось их человек двадцать, что составило длинную свиту саней и вершников, мчавшихся за каретой.

Проехав Чесменский дворец, наследник

приказал на минуту остановиться и вышел из экипажа. Чтобы хоть несколько развлечь тяжёлые думы высокого путника, Ростопчин, после некоторого молчания, привлёк его внимание на красоту ночи, которая действительно была необыкновенно тиха и светла и слегка морозна: холод не превышал трёх градусов. Красивые тучки быстро и высоко неслись по тёмно-синему небу, и луна то выплывала из-за облаков, то опять закутывалась в дымку. Вокруг царствовала глубокая тишина. Наследник молча устремил свой взгляд на луну — и при полном её сиянии Ростопчин заметил, что глаза его полны были слёз, которые тихо катились по лицу.

Поговорив с Ростопчиным и крепко пожав ему руку, государь-наследник уже садился было в карету, как вдруг обернулся и спросил, кто привёз известие, что государыне лучше.

— Я, ваше высочество, — ответил ему молодой ординарец, подавшись вперёд из-за кареты.

— Сержант лейб-гвардии Конного полка?

— Так точно, ваше высочество.

— Фамилия?

— Дворянин Василий Черепов.

Наследник кивнул головой, вслед за тем дверца захлопнулась — и весь кортеж помчался далее.

Зимний дворец был переполнен людьми всякого звания. При тусклом свете немногих ламп, кое-как зажженных наскоро, в обширных залах и коридорах толпились сенаторы, генералы, синодальное и иное духовенство, дворяне, городские обыватели, придворные, сановники и служители, дамы и фрейлины, гвардейские офицеры и солдаты. Одни поспешили сюда по обязанности своего звания, другие из любопытства или страха за жизнь императрицы, и все с затаённым трепетом ожидали приближающейся роковой минуты. Смутный гул сдержанного шёпота пробегал из зала в залу; на каждом шагу повторялись вопросы и сообщения то о часе апоплексического удара, то о действии лекарств, о мнении медиков... Всякий рассказывал разное, но общее чувство и общая мысль выражались в желании хотя бы слабой надежды на выздоровление государыни. Граф Безбородко, в качестве статс-секретаря, находился в её каби-

нете. Прибыв, по обыкновению, во дворец с докладом, он с самого раннего утра присутствовал здесь безотлучно и был в отчаянии: неизвестность будущей своей судьбы, страх, что новый государь на него ещё в гневе за прежние столкновения, и живое воспоминание о стольких благодеяниях умирающей императрицы заставляли его часто рыдать, как ребёнка, и наполняли сердце его горестью и ужасом. Он желал теперь только единственной милости — быть оставленным без посямления.

Отчаяние же князя Зубова было беспредельно. Не только искусившиеся опытом царедворцы, но каждый и даже первый попавшийся с улицы человек мог бы легко и свободно прочесть теперь на его физиономии полную и окончательную уверенность в своём падении и наступающем ничтожестве, и эта уверенность, вопреки самолюбию и помимо искусства самообладания, слишком ясно высказывалась не только в выражении лица, но даже в каждом движении этого человека. Проходя через комнату императрицы, он по несколько раз останавливался перед умираю-

щей и выходил рыдая. Толпа придворных сторонилась, отшатывалась и удалялась от него, как от зачумлённого, так что князь убежал наконец в дежурную комнату и упал в кресло. Томимый жаждою и жаром, несчастный не мог выпросить себе даже стакана воды, в чём теперь отказывали ему те, которые ещё сутки лишь назад на одной его улыбке строили всё счастье и благосостояние своей жизни, и та самая комната, где ещё вчера люди чуть не давили друг друга, чтобы стать к нему поближе, обратилась теперь для него в глухую пустыню.

Наконец приехал великий князь наследник и, зайдя на минуту в свою комнату в Зимнем дворце, пошёл на половину императрицы. Весть о его прибытии в то же мгновение успела облететь всех собравшихся в залах, и приём, оказанный ему; был уже приёмом как бы государю, а не наследнику. Великие князья Александр и Константин вышли к нему навстречу, уже одетые в мундиры тех батальонов, которыми командовали они в гатчинском «модельное войске». Проходя через комнаты, наполненные людьми, ожидавшими

восшествия его на престол, великий князь очень милостиво, с ласковым и столь свойственным ему рыцарски-учтивым видом отвечал на бесчисленные глубокие и часто подобострастные поклоны.

Умирающая лежала на полу, на сафьяновом матрасе, в том самом положении, в каком успели поместить её в первые минуты утром камердинеры её Тюльпан и Захар Зотов, не будучи в состоянии поднять на кровать бесчувственное тело по причине его значительной тяжести. Теперь уже ни к чему было тревожить его переключиванием при последнем издыхании. Государыня лежала навзничь, неподвижно, с закрытыми глазами. Сильное храпение в горле, среди всеобщей тишины, слышно было даже в смежной комнате. Вся кровь била ей в голову, и цвет лица становился иногда багровым, иногда, когда кровь отливала, принимал вдруг самый живой и свежий румянец. Это последнее явление обыкновенно пробуждало на минуту в присутствующих некоторую надежду, которая — увы! — через несколько мгновений угасала снова... У тела находились попеременно

придворные лекаря и, стоя на коленях, внимательно следили за дыханием и малейшими колебаниями пульса. В опочивальне, кроме медиков и ближайшей прислуги, присутствовали члены императорской фамилии и камер-фрейлина Протасова[3], ни на минуту не отлучавшаяся от государыни с самого утра. Глаза её, помутившиеся глубоким горем, не отрывались от полумёртвого тела её благодетельницы. Агония продолжалась уже более суток. Доктора объявили наконец, что всякая надежда иссякла. Тогда по приказанию великого князя наследника преосвященный Гавриил с духовенством прочёл над умирающей глухую исповедь[4] и причастил её святых тайн. Затем Павел Петрович удалился в боковой кабинет, куда призывал для деловых разговоров некоторых лиц или тех, кому имел сообщить какое-либо приказание. Так, между прочим, поручил он Ростопчину передать графу Безбородке, что, «не имея никакого особенного против него неудовольствия, он просит его забыть всё прошедшее и считает на его усердие, зная дарования его неспособности к делам»; потом призвал самого графа и

лично поручил ему заготовить указ о восшествии на престол всероссийский; в течение дня раз пять или шесть призывал к себе также и князя Зубова, разговаривал с ним очень милостиво и, умеряя его отчаяние, уверял в своём благорасположении.

В течение этого времени во дворец прибывали всё новые и новые сановные лица, чиновники, военные лица и люди всякого состояния. Горестная весть уже успела разнестись по столице, и к вечеру громадные толпы народа, обсыпаемые густыми хлопьями мокрого снега, в прежнем безмолвии стояли на Дворцовой площади. Войска же петербургского гарнизона все были собраны в своих казармах в ожидании присяги новому императору.

В девять часов вечера лейб-медик государыни, англичанин Роджерсон, войдя в кабинет, где находился наследник с супругою, объявил, что императрица кончается.

Тотчас приказано было войти в опочивальню умирающей всем великим князьям, княгиням и княжнам, с которыми вошла и воспитательница их, статс-дама Ливен, а за нею князь Зубов, граф Остерман, Безбородко

и Самойлов. По правую сторону императрицы стал наследник с супругою и семейством, по левую — доктора, лекаря и вся ближайшая прислуга Екатерины, а в головах — призванные в комнату Ростопчин и Плещеев. Дыхание императрицы сделалось очень трудно и редко; кровь, как и прежде, всё ещё бросалась в голову, искажая черты лица, то отливала в грудную полость, возвращая физиономии естественный вид. Полное и благоговейное молчание всех присутствующих, затаённый и сдержанный трепет последнего страшного ожидания, немые взгляды, устремлённые на лицо умирающей, отдаление на эту минуту от всего земного, от всех посторонних и суетных помыслов, глубочайшая тишина и слабый свет, мерцающий в комнате, — всё это обнимало ужасом душу каждого, всё возвещало близкое веяние смерти... Тихо и мелодично, переливаясь тонкими металлическими звуками, пробили старинные часы первую четверть одиннадцатого, великая женщина вздохнула в последний раз, и... дух рабы Божией Екатерины предстал пред суд Всевышнего.

С последним вздохом, казалось, вдруг наступил для неё тихий и сладкий сон. Всегдашняя её приятность и величие постепенно и так заметно разлились опять по чертам спокойного лица и воочию всем явили ещё раз ту царицу, которая славою своего царствования наполняла всю вселенную. Сын её и наследник преклонился пред бездыханным телом и вышел, заливаясь слезами, в другую горницу. В то же мгновение опочивальня огласилась воплем женщин, служивших Екатерине.

Но слёзы и рыдания не простирались далее той комнаты, где лежало тело государыни. Прочие покои дворца были наполнены знатью и чиновниками — по преимуществу теми людьми, которые во всех переменах и обстоятельствах, счастливых и несчастных, прежде всего видят только самих себя и заняты исключительно сами собою, а эта печально-торжественная минута для многих и многих из них казалась Страшным судом и грозила расплатой за прошлое...

Граф Салтыков вошёл в дежурную комнату с официально-печальным и важным видом и

объявил во всеуслышание:

— Милостивые государи! Императрица Екатерина скончалась, государь Павел Петрович изволил взойти на всероссийский престол.

Едва были произнесены эти слова, как множество царедворцев бросилось обнимать Самойлова, Ростопчина, Плещеева, камер-пажа Нелидова и прочих, в ком только усматривали или могли предполагать они будущих приближённых, поздравляя их, а за ними всех присутствующих с новым императором.

Граф Алексей Григорьевич Орлов, измученный нравственно и изнеможённый физически, проведя в слезах и терзаниях, без сна и пищи, почти двое суток, не в силах был уже дожидаться кончины императрицы и уехал к себе на квартиру. Едва прилёг он отдохнуть, как прибежали сказать ему, что государыня скончалась, а вслед за тем явился посланный с повелением от государя, чтобы Орлов немедленно прибыл во дворец для учинения присяги. Старик, отговариваясь крайним утомлением, поручил передать императору, что, как скоро рассветёт, он не преминёт

явиться и исполнить долг своего верноподданства. Государю такой ответ показался неуютен, и он послал к графу вторично, чтобы тот, невзирая ни на что, явился немедленно же к присяге. Надо было повиноваться.

— Полагаю, ваше сиятельство, что и вам надлежало бы учинить присягу? — встретил его император, как только гордый вельможа вошёл к нему в комнату.

— Конечно, так, государь! — с глубоким и почтительным поклоном отвечал Орлов, — и я, поверьте, готов учинить то с охотнейшим моим сердцем.

Государь вымерял его взглядом и, казалось, внутренне остался доволен ответом.

В это время обер-церемониймейстер Валуев, известный как самый ревностный блюститель порядка всех придворных торжеств и церемоний, явился с докладом, что во дворцовом храме всё уже готово к присяге.

В церкви, залитой огнями сверкающих люстр, паникадил и канделябров, Павел Петрович впервые стал на императорское место, и преосвященный Гавриил, выйдя на амвон, начал внятно и явственно читать форму при-

сяги, которую вслед за ним громко повторяла густая толпа присутствующих, подняв крестобразно сложенные правые руки.

Императрица Мария Фёдоровна, по окончании присяжного обряда подойдя к государю, хотела было преклонить перед ним колени, но он удержал и с чувством обнял её, а вслед за ней всех детей своих. За сим каждый из присутствующих целовал крест и Евангелие и, подписав на присяжном листе своё имя, почтительно подходил к руке императора и императрицы. Когда же окончилась и эта долгая и утомительная церемония, Павел пошёл прямо в опочивальню покойной государыни, тело которой к этому времени было уже в белом платье положено на кровать, и в головах его на аналое дьякон читал Евангелие.

Это было в ночь с 6 на 7 ноября 1796 года.

Первые дни императора Павла

Едва окончился обряд торжественной приезда, как к Зимнему дворцу подлетела взмыленная курьерская тройка. В санях, дрожая и ёжась от холода, сидел какой-то неизвестный петербургской публике человек, без шубы и даже без плаща, в одном только полковничьем мундире гатчинской формы. Он был очень сухощав, сутуловат и жилист и как-то судорожно всё морщил свой подбородок. Толстая, несуразной формы голова, постоянно наклонённая на один бок, желчно-смуглый цвет лица и большие мясистые уши прежде всего кидались в глаза всем и каждому при первом взгляде на этого человека. При покойной императрице офицеры гатчинского отряда никогда не допускались в Зимний дворец, потому, не зная расположения комнат, новоприбывший гатчинец просто заблудился в неведомом ему лабиринте зал и коридоров... Он долго не мог отыскать императора и тщетно пытал про него у

встречных придворных и камер-лакеев.

— Кто это? Что за человек такой? Откуда взялся таков? — неслись вослед ему и справа и слева бесчисленные вопросы, которыми перекидывались между собой лица екатерининского двора, невольно останавливая внимание на странном костюме и несуразной фигуре незнакомца, а в особенности на его впалых серых глазах, в которых светилась какая-то странная смесь ума и злости вместе с неуклонной энергией и железной волей.

Но на все эти летучие вопросы никто не мог дать определённого положительного ответа, и за проходившим гатчинцем всецело оставалось у всех одно только беспричинно неприятное впечатление, которое делала его во всяком случае замечательная наружность.

— Где же государь, наконец? — остановясь близ дверей одной из залы и с некоторым раздражением пожав плечами, спросил незнакомец повышенным голосом, причём обвёл толпу недоумённо-вопросительным взглядом. Он говорил в нос, немножко гнуся и не то что не договаривая, а как бы глотая окончания слов и фраз. — Я вызван сюда именем моего госу-

даря повелением, по эстафете, — продолжал он, видимо сдерживая внутри себя раздражение, — и вот уже полчаса как тщетно ищу его величество, и никому не угодно указать мне, где государь изволит находиться.

На этот возглас откликнулся один из гатчинских камердинеров государя, случайно находившийся в зале, и почтительно провёл незнакомца в кабинет императора.

— Кто таков? — посыпались на него вопросы, едва лишь он затворил дверь за неизвестным гатчинцем.

— Господин полковник Аракчеев, — было ответом ближайшей кучке любопытных.

— Аракчеев?.. Что такое — Аракчеев?.. Арак... Dieu, quel nom atroce![5] Что за птица? Откудова? — жужжа по зале, полетели из уст в уста недоумевающие вопросы и иронические улыбки.

Через четверть часа всеобщее недоумение разъяснилось. Аракчеев вышел из царского кабинета об руку с цесаревичем Александром и в сопровождении великого князя Константина, а через минуту в кучках екатерининских придворных уже передавали самую све-

жую новость, что наследник престола назначен петербургским военным генерал-губернатором и вместе с тем полковником лейб-гвардии Семёновского полка, великий же князь Константин — полковником в Измайловский полк, а Аракчеев сделан петербургским комендантом с производством в генерал-майоры. При этом передавали, что государь принял его с необычайной милостью, поставил рядом с наследником, соединил их руки и сказал: «Будьте друзьями и помогайте мне».

Этого рассказа было достаточно, чтобы не только самые юркие, но даже и наименее смыслённые люди поспешили тут же представиться новому коменданту и с любезными, искательными улыбками почтительно поручали себя его благосклонному вниманию... Аракчеев все эти изъявления принимал сдержанно, сухо и холодно. Видно было сразу, что он понимает в корень истинный, сокровенный смысл и значение придворных ласк и приветствий.

Начинало светать. Великие князья, в новых своих гатчинских мундирах, с голубыми Андреевскими лентами через плечо, сели на

коней и без всякой свиты поехали каждый к своему полку приводить людей к присяге. На улицах было много движения экипажей и пешеходов. Лавки начинали отпираться, несмотря на то, что урочная пора для этого далеко ещё не наступала.

Сероватая мгла рассвета пропитана была сыростью быстро начавшейся оттепели. Моросил частый дождик, и среди глубоко выпавшего снега успели образоваться лужи. Серые контуры домов, скрадываясь и сливаясь в этой туманной мгле, глядели угрюмо, скучно и холодно. Не только в лицах людей, но, казалось, будто даже в самом воздухе разлито что-то тоскливое, тревожное, недоумевающее... По улицам, шлёпая по слякоти, в разных направлениях понуро шли гренадерские взводы гвардейских полков, относя к своим частям знамёна, взятые из дворца для присяги. На съезжих полковых дворах отсырелые и промокшие барабаны жидким звуком дребезжали «сбор» — и на этот призывный бой с разных сторон с ружьями наперевес в одиночку выбегали из казарм солдаты и спешно при-страивались на плац-парадном месте к своим

ротам. На каждой такой площадке, пред наскоро вынесенным аналоем, стоял с крестом и Евангелием полковой священник в полном облачении. По прибытии великих князей к своим частям полки Семёновский и Измайловский приняли присягу. Преображенский полк был приведён к присяге своим заслуженным и почтенным подполковником Татищевым[6], которого государь в этот день тоже почтил особой милостью: когда Татищев, подав ему строевой рапорт, отступил, по тогдашнему правилу, на несколько шагов, император сам подошёл к нему, приветливо взял старика за руки и, подводя к себе, сказал, что «таким почтенным и заслуженным мужам надлежит быть ближе к государю», а в уважение к его старости разрешил ему сидеть в своём присутствии, даже и в том случае, если бы сам он разговаривал с ним стоя.

Присяга гвардии представляла грустное и трогательное зрелище: развёрнутые знамёна полоскались по ветру пред сотенными рядами поднятых рук; лица людей были бледны и смутны; офицеры и солдаты стояли тихо и понуро, погружённые в глубокую горечь, боль-

шая часть из них молча глотали слёзы, иные же плакали навзрыд; инде раздавались громкие вздохи и вопли: «Пропали мы, пропала Россия! Матери не стало... Всем мать была!.. всем одна!» Начальствующие лица не унимали этих проявлений скорби: они и сами думали и чувствовали почти то же. И эта скорбь — надо заметить — в таких же точно проявлениях высказывается в русском войске при смерти каждого любимого монарха.

На 8-е число ноября назначен был первый «вахтпарад»[7] на дворцовой площадке. В церемонии развода должны были парадировать части из Измайловского и лейб-гвардии Конного полков. Великий князь Константин, желая сделать государю приятный сюрприз, очень заботился, чтобы на этом вахтпараде, ещё первом и потому совершенно новом в Петербурге, некоторые командные слова произносились по гатчинскому образцу и чтобы все офицеры были на параде в длинных перчатках с раструбами и имели в руках форменные гатчинские трости. Несколько ездových великого князя, вместе с полковым адъютантом[8], ещё до свету обрыскали весь гостиный

двор, всех столичных перчаточников и токарей и, к радости молодого полковника, когда в восемь часов утра он приехал на полковой двор, все эти вещи были уже налицо и в совершенной исправности. Полк ещё с трёх часов ночи учился на плацу гатчинскому артикулу. Великий князь прорепетировал церемонию вахтпарада, проверил офицеров и солдат и остался доволен. Действительно, Измайловскому полку, на удивление самому себе, удалось в несколько часов довольно отчётливо изучить важнейшие правила нового устава, над готовой рукописью которого в это самое время деятельно работали в сенатской типографии несколько наиболее искусных наборщиков[9].

Конногвардейцы тоже были в большой тревоге.

Два эскадронных парикмахера всю ночь трудились над солдатскими головами, приводя их в новый форменный порядок: мазали салом их волосы, завивали букли, заплетали толстые косички и в изобилии обсыпали всю эту куафюру вместо пудры пшеничною мукой. Люди с трудом натягивали друг на друга

мокрые лосины, и ни один человек не смел присесть, облокотившись к стене, чтобы не смять своей причёски. Полковой командир, майор Васильчиков, самым тщательнейшим образом во всех мелочах и подробностях осматривал каждого человека из отборного взвода, назначенного во внутренний дворцовый караул, и неоднократно прорывалось у него душевное беспокойство и опасение; он знал, что новый император не совсем-то доволен духом, господствовавшим в среде этого аристократического полка. Но, главное, смущало его то, что в целом полку никто ещё не имел ни малейшего понятия о новом уставе. И вдруг заметил он, что в конце казарменного коридора собралась вокруг кого-то кучка конногвардейцев, из которой по временам раздавались взрывы сдержанной весёлости.

— Что там за смехи? Узнай, пожалуй, мне! — досадливо приказал он своему личному адъютанту.

— Сержант Черепов показывает прусскую выправку и экзерцицию, — доложил тот, возвратившись от весёлой кучки.

— Ба! так он знает не шутя? — с живостью

подхватил начальник. — Послать ко мне его сейчас же!

— Черепов!.. Сержанта Черепова к командиру! — словно эхо из уст в уста пошёл призывный клич по длинному коридору.

— Ну, брат Вася, достукался! Будет ужо пудрамантель! — шёпотом пророчили вослед ему товарищи.

Но «брат Вася», нимало не смущаясь, шёл к командиру своим обычным смелым и уверенным шагом.

— Ты что там за экзерцицию показуешь? — серьёзно спросил его Васильчиков.

— С прусской модели, — бойко ответил Черепов.

— И ты не врёшь, братец?

— Я, ваше превосходительство, дворянин, — возразил сержант, гордо вскинув слегка свою красивую голову, — и как дворянину врать мне недостойно.

— Гм... Молодец, коли так! Да откуда же тебе эта выправка ведома?

Черепов объяснил, что ещё в прошлом году, будучи уволен в шестимесячный домашний отпуск, он отпросился «в некоторый ма-

лый вояж» за границу и, прожив два месяца в Берлине, сошёлся с прусскими солдатами, многократно видел тамошние вахтпарады и с наглядки «нарочито и весьма изрядно» ознакомился с прусскою выправкой и экзерцицией, так что с тех пор нередко «утешает» своих «камратов», передразнивая и корча, по их просьбе, немецких солдат и офицеров.

— А ну-ка покажи: как это? — предложил ему Васильчиков.

Черепов с самым серьёзным видом воспроизвёл перед своим командиром всю воспринятую им премудрость.

— Скажи, пожалуй! — воскликнул тот, хлопнув себя по коленям, — да ты, брат, и впрямь как настоящий гатчинец!.. Видал и я их тоже... Ей-ей, прекрасно, бесподобно! Полюбуйтесь, господа офицеры!

Но господа офицеры и без того уже любовались на ловкого и молодцеватого детину.

— Господин адъютант! Назначить сего сержанта ныне в развод на ординарцы к его величеству, — распорядился повеселевший Васильчиков. — А тебя, братец, прошу в грязь лицом не ударить! — прибавил он, обратясь к

Черепову.

— Рад стараться! — бойко выкрикнул «брат Вася» и, совершенно по темпам прусского образца, повернувшись налево кругом, отошёл от своего командира.

Ростепель и мокреть продолжались уже полторы сутки.

Рыхлый снег валил в невероятном количестве и предательски застилал своею белопуховой скатертью изобильные лужи отдалённых и немощёных петербургских улиц. Конная гвардия квартировала тогда за Таврическим дворцом, под Смольным. В девятом часу утра части, назначенные в развод, выступили из казарм. Мимо «Тавриды» тянулась к Зимнему дворцу сначала конная команда, а за нею весь наличный состав конногвардейских офицеров и, наконец, отборный пеший взвод внутреннего караула. Люди были в лучших своих мундирах, синих с золотом, в лучших шляпах с дорогим плюмажем, без плащей, в полной амуниции, и увязали в глубоком снегу пустынной улицы. В половине десятого измайловцы и конногвардейцы заступили назначенные им места на дворцо-

вой площадке. Здесь уже стояла толпа офицеров от разных частей войск, но народу вообще было очень мало; быть может, потому, что об этом новом явлении петербургской жизни никакой официальный агент власти и администрации не извещал публику заблаговременно. Около этого времени к толпе офицеров стали всё более и более присоединяться лица штаб-офицерских и генеральских рангов, подъезжая к площадке в своих повозках и каретах. И ни на ком ни единого плаща, а уж о шубах или муфтах и помину не было! Всё это гвардейское офицерство присутствовало в одних тоненьких мундирах и с непривычки тряслось от холода под косым дождём, на ветру, который стремительными и буйными порывами налетал со взморья. Здесь, в этой толпе, передавалось множество новых слухов и фактов, но нельзя сказать, чтобы все эти новости нравились или производили приятное впечатление на массу гвардейцев, давно уже привыкших к совершенно иным порядкам беззаботной службы и сибаритской жизни. Сообщали за верное, что отныне, в силу высочайшего приказа, уже ни один офи-

цер не смел являться никуда иначе как в форменном мундире, тогда как до сего времени гвардейские щёголи «за редкость мундир надевали», а больше всё фланировали в муфтах, в шубах да в роскошно расшитых французских фраках из бархатных и драгоценных шёлковых материй, заботясь единственно лишь о своём изяществе и помышляя только о трактирах, банкетах, театрах, балах, маскарадах да о том, чтобы посещать «приятные общества»; о службе же действительной и «всякое понятие давно позабыли». Сообщали также, что офицерам запрещено ездить в крытых экипажах, тогда как при покойной государыне гвардейский офицер «за стыд почитал себе» не иметь собственной кареты с шестёркой и даже с осмёркой рысаков и с зашитым в золото либо в серебро гусаром, а не то егерем на запятках, теперь же только офицерские жёны могли выезжать в закрытых экипажах, да и то не шестернёй, а парой или много-много если четвёрнею цугом, мужья же их обязаны были ездить верхом либо в простых санках или дрожках, «но отнюдь не с пышностью и великолепием». При Екатерине

действительно роскошь в общественной и частной жизни достигла блистательнейших, но вместе с тем и печальнейших размеров. Не только знатные и богатые, но даже люди самого посредственного состояния тянулись изо всех сил, чтобы не отстать от вельмож и магнатов, поражавших всю Европу «своими негами и роскошами». Все хотели «кушать» не иначе как на чистом серебре и разорялись на драгоценные сервизы. Император Павел в разговорах «о сей материи» высказал напрямик, что он охотно согласен сам до тех пор есть на олове, пока не восстановит нашим деньгам надлежащий курс и не доведёт государственные финансы до того, «чтобы рубли российские ходили действительно рублями».

— Изречение божественное и достойно великого государя! — восклицали при этом некоторые, тогда как большинство, недовольное новыми порядками и стеснениями, только улыбались и сомнительно покачивали головою.

Между тем, пока гвардейская молодёжь, поёживаясь от холода, вместе со стариками судачила и обносила в своих кружках новые

узаконения, великий князь Константин пред своим измайловским фронтом, по-видимому, совершенно стоически и равнодушно переносил докучную петербургскую непогоду. Около трёх четвертей одиннадцатого часа он приказал адъютанту Комаровскому взять подпрапорщика[10], идти во дворец и, остановясь перед кабинетом государя, велел камердинеру доложить его величеству, что развод Измайловского полка готов и что адъютант пришёл за знаменем. Комаровский отправился, но через несколько минут вышел на площадку, хотя и с подпрапорщиком, но без знамени, и смущённо передал удивлённому и озабоченному Константину, что, когда камердинер отворил дверь кабинета и подал ему знак войти, то император стоя надевал перчатки и уже приказал было взять знамя, как вдруг, увидев громадного роста подпрапорщика, спросил неожиданно: «А что, он дворянин?» — и на отрицательный ответ Комаровского заметил, что «знамя должно быть всегда носимо дворянином», и повелел привести унтер-офицера из этого сословия.

Великий князь, необычайно боявшийся от-

ца, сильно перетревожился и приказал взять поскорее, на первый случай, хоть какого-нибудь подходящего сержанта. И едва знамя было вынесено к фронту, как на крыльцо гурьбой высыпали новые лица, новые сановники, одетые в мундиры новой формы. Эта форма, с непривычки резавшая глаза и казавшаяся странною, даже как будто маскарадною, доставила на первый раз всему разводу, а в особенности конногвардейцам, источник острот и смеха. Все эти лица казались им словно бы старые портреты немецких офицеров, выскользившие из своих рамок.

Ровно в одиннадцать часов из дворца вышел сам император в преображенском мундире новой формы и направился к разводу. Сначала при виде петербургской гвардии он стал как будто недоволен — по крайней мере, заметно отдувался и пыхтел, что всегда являлось у него верным признаком неудовольствия или гнева. Но когда пред измайловским фронтом раздалась команда по-гатчински и строй отчётливо исполнил, что требовалось, лицо императора прояснело и озарилось приветливой улыбкой.

Наконец настала очередь ординарцев.

Завидев синий с золотом мундир подходящего конногвардейца, император снова было насупился и отвернулся несколько в сторону, но ординарец, молодежато остановясь перед ним на расстоянии трёх шагов, проделал всё, что следовало в данном случае, в совершенстве подражая прусскому идеалу.

Государь, приятно удивлённый этой новой неожиданностью, внимательно окинул ординарца своим быстрым взглядом и с благосклонной улыбкой обратился к полковому командиру:

— Так и у вас, господин майор, успели уже ознакомиться с новым уставом? — спросил он.

Васильчиков, не решаясь утвердительным ответом высказать неправду и в то же время боясь разочаровать государя откровенным признанием, отвечал несколько уклончиво, с почтительным поклоном.

— Стараемся, ваше императорское величество!

Государь лично скомандовал ординарцу несколько приёмов и поворотов, любобовал-

ся его выправкой и маршировкой и остался совершенно доволен.

— Спасибо, молодец! — приветливо кивнул он ему головою. — Твоя фамилия?

— Черепов, ваше величество!

— Э, так мы с тобой уже знакомы!

И после короткого молчания, в течение которого его внимательный и зоркий глаз скользил по стройной фигуре ординарца, он вдруг добавил:

— Благодарю, *корнет!* Мне лестно видеть в вас такого отличного служаку!

Это было сказано громким и приятным голосом, так что не только окружающие, но весь развод отчётливо слышал слова государя, которые были полной неожиданностью для всех и более всех для самого Черепова. Почти ошалелый от радости, он смутно вспомнил, однако же, что надо сейчас же благодарить государя за милость, и, по обычаю того времени, преклонил пред ним колено.

Император протянул ему для поцелуя свою руку. Черепов почтительно прикоснулся к ней губами.

В это время прискакал гатчинских войск

поручик Ратьков и доложил государю, что гатчинские и павловские батальоны находятся уже пред городской заставой и ожидают высочайших повелений. Обрадованный император тут же сам надел на него Анненский крест 2-го класса и назначил адъютантом к наследнику. В ту же минуту к государю подвели Помпона, его любимую верховую лошадь, и он в сопровождении двух сыновей своих быстро поскакал навстречу своим старым любимцам, которые всецело были его личным созданием, его забавой и утешением в течение долгих и монотонных лет его гатчинского одиночества.

Гвардейский развод остался на площади. Хотя по отбытии государя никем не была подана команда «стоять вольно», но конногвардейцы, по «вольности дворянства» и по недавнему ещё обыкновению, на что смотрелось сквозь пальцы, кружком обступили счастливого Черепова и наперерыв поздравляли его с неожиданной милостью.

— Каково метнул из нашего брата солдата да прямо в гвардии корнеты!

— Поди-ка!.. Ну-тка!.. да, вот те и пудраман-

тель! — дружески смеясь, замечали товарищи.

— Мы думали — буфонит, а он, на-ко, и взаправду! Ай, молодец же, Васька!

— Что ж, брат Вася, поди-ка теперь зазнаешься?..

— Чего-о? — насупился Черепов, — да вы меня это за кого принимаете?..

— Так, значит, литки с тебя, дружище!

— Непременно! завтра же после смены и устроим, — согласился Черепов. — Прошу, любезные друзья, пожаловать к фриштыку в ресторацию Юге, что в Демутовом трактире, — пригласил он, — будут устерсы и аглицкое пиво, и шампанское вино, и многое другое... Последняя копейка ребром, чёрт возьми, для эдакой радости!

Час спустя по отъезде государя слышались с Гороховой улицы мелодические звуки флейт и грохот барабанов.

Весь развод, естественно, обратил внимание на ту сторону, откуда приближались эти воинственные звуки. То были гатчинские батальоны, торжественно вступающие ещё в первый раз на Дворцовую площадь.

Император ехал во главе той части, которую он наименовал в Гатчине своим Преображенским полком, а великие князья следовали пред так называемыми Семёновским и Измайловским полками. Позади пехоты и артиллерии шёл прекрасный Кирасирский цесаревича полк, во главе которого Павел Петрович, будучи наследником, прослужил кампанию 1788 года; причём над его головой не раз гудели шведские ядра и свистали пули.

Гатчинские гости были одеты совершенно по-прусски, в коротких мундирах с лацканами и в чёрных штиблетах; на гренадерах красовались медные шапки[11], а на мушкетёрах маленькие треугольные шляпы. Офицеры, большей частью безвестные и бедные дворяне, из бывших морских батальонов, шли на своих местах, держа по форме красивые эспонтоны, что для гвардейского развода казалось и смешно, и педантично. Одеты они были все в поношенные и потёртые мундиры тёмно-зелёного цвета, явно перекрашенные, в видах экономии, из разноцветных сукон — обстоятельство, опять-таки служившее бесконечным поводом к насмешкам и колким за-

мечаниям.

— Батюшки! да какие же они пегие, полинялые, оголтелые, куцые! — трунили между собой блестящие гвардейские щёголи.

Император меж тем в восторге любовался на своё «модельное войско», шесть батальонов которого с необыкновенной стройностью входили в «алиниеман» на Дворцовой площади. Когда же они выстроились в безукоризненно чистую, строгую линию, государь обратился к ним с речью.

— Благодарю вас, мои друзья! — сказал он с заметно тёплым чувством. — Благодарю за верную вашу мне службу, и в награду за оную вы поступаете в гвардию, а господа офицеры чин в чин.

Долгие и восторженные «ура» гатчинцев были ответом на приветливое слово государя. Затем их знамёна понесли во дворец — и весь гвардейский развод отдавал им воинскую честь обычным образом. Император был необычайно доволен измайловцами за их быструю науку, обнял великого князя Константина, благодарил офицеров, а нижним чинам пожаловал по фунту рыбы. Затем, по-

ставив вообще всем присутствовавшим гвардейцам своих гатчинцев как образец, которому должно подражать по возможности близко, государь милостиво пригласил всех без исключения генералов, гвардии, армии и флота штаб — и обер-офицеров, даже до последнего инвалидного прапорщика — «пожаловать к нему во дворец к водке и закуске».

Так окончилось это утро, достопамятное для старой екатерининской гвардии.

III

Опальный

Почти на полпути между Москвой и Коломной, вёрст двенадцать в сторону от большого тракта, стояла небольшая помещичья усадьба, Любимка, принадлежащая отставному генерал-майору графу Илие Дмитриевичу Харитонову-Трофимьеву. Летом это был прелестный и благодатный уголок, совсем заброшенный и запрятанный среди берёзовых, ольховых и сосновых рощ, которые, окружая его со всех сторон, ревниво и тихо оберегали мир, покой и уединение всеми забытого при-

юта. И точно, в течение долгих годов екатерининского царствования усадьба Любимка оставалась в полном забвении. Редко кто из соседей-помещиков заедет, бывало, отдать «решпект» обывателю Любимки, да и то заезды эти по большей части делались словно бы крадучись, исподтишка, с опаской, как бы не проведали, как бы не дознались да не донесли часом в подобающее место... Полицейский пристав, которому поручено было наблюдение за образом жизни, мнениями и поведением любимковского обитателя, каждый месяц аккуратнейшим образом являлся к нему в усадьбу, причём старый дворецкий Аникеич принимал его «в барской конторе», поил чайком и наливками, снаряжал особую подводку, которую нагружали из господских кладовых и амбаров всякой живностью и припасами, вроде битых гусей и кур, свиного окорока, лукошка яиц, корца мёду, четверика муки, меры круп, масла и проч. и проч. Полицейский пристав, получив «детешкам на молочишко», угощённый по горло и ублагодуществованный, расставался приятельски со старым Аникеичем и, не видав в глаза того, за коим

был приставлен, убирался восвояси, отягчённый его щедрыми дарами и мечтая, что вот, даст Бог, на будущий месяц, коли доживу, опять на 3-е число явлюсь к сиятельному милостивцу за получением «законоположенного». Так шли многие и многие годы...

Один, забытый в Петербурге, забытый и окрест себя, ничего, кроме смерти, не ожидая в будущем и ничего ни от кого не желая, кроме полного покоя, в каком-то гордом смирении, спокойно и твёрдо коротал свои старческие дни в уединённой усадьбе граф Илия Харитонов-Трофимьев... А было время, что и он играл свою видную роль и в армии, и при дворе Елизаветы, и при Петре III; но это было давно... было да сплыло, и сплыло так, что не только сверстники и завистники графа успели давно уже простить ему успехи, забыть ему его прошлое, но даже он и сам простил им их козни и интриги и успел забыть всё минувшее и сделался вполне равнодушен как к своим былым успехам, так и к былым завистникам.

В известном «перевороте» 29 июня 1762 года он не принял ни малейшего участия, от-

крыто порицал Орловых и остался верен памяти Петра III.

— Он хотя и немец по духу, но, несомненно, человек честный и благожелательный ко всем российским сословиям, — говорил о Петре граф Илия, споря с Григорием Орловым на другой или на третий день после «переворота». — И для того мне, — прибавил он, — как тоже честному человеку, не подобает нарочито смутьянить и играть моим верноподданством.

Граф Илия, однако же, силой вещей вынужден был подчиниться новому порядку, но принял присягу не ранее, как воочию увидев мёртвого императора, привезённого для погребения в Александро-Невскую лавру.

— Не лицу присягаю, присягаю престолу российскому... *C'est le principe, mon cher! c'est une autre chose!*[12] — неосторожно выразился он при этом одному из своих приятелей, и слова крутого графа в тот же день были доведены до сведения кого следовало. С этой минуты его оставили в тени. Ни на одном из торжественных придворных праздников не было видно в числе приглашённых гостей

статной и мужественной фигуры графа Харитонова-Трофимьева, равно как и в длинных списках наград и пожалований орденами, чинами, титулами и крестьянами тщетно кто-нибудь стал бы доискиваться его имени. И так продолжалось с ним во всё блестящее царствование Екатерины.

Наследник престола, Павел Петрович, ещё в детстве своём случайно как-то зазнал графа Илию. Однажды даже пригласил он его к столу, на свою особую половину, и граф Илия обедал с наследником, в обществе воспитателей его, графа Панина и Порошина, и в течение обеда «много утешал царственного отрока» своими занимательными и поучительными рассказами о физике, химии и о воинском устройстве многообразных европейских армий. Но когда об этом «дошло до сведения», то граф Панин в тот же вечер деликатно «получил на замечание», и с тех пор Харитонов-Трофимьев уже не обедал с наследником престола.

Впоследствии тому же самому наследнику, когда он уже был взрослым и женатым человеком, граф Илия имел случай оказать неко-

торуую услугу. В один из своих приездов в Петербург (постоянно он жил у себя в усадьбе, но въезд в столицу, «по силе нужности», формально воспрещён ему не был) узнал он, что Павел Петрович временно стеснён в средствах, но не решается просить у императрицы, так как однажды встретил уже полный отказ в подобной своей просьбе.

— Доложите великому князю, — сказал граф одному из приближённых наследника, от которого случайно узнал о его затруднениях, — доложите ему, что в память его августейшей бабки и родителя, коим я был некогда благодетельствован, всё моё достояние, когда бы и сколько бы ни потребовалось, принадлежит его высочеству.

И когда тот же приближённый, будучи послан благодарить графа за его обязательную услугу, присовокупил, что наследник ни теперь, ни впоследствии не забудет графу его одолжения и при первой возможности постарается сам отблагодарить его достойным образом, — граф Харитонов-Трофимьев, закусив губу, выпрямился во весь рост и сказал:

— Передайте от меня его высочеству, что

напрасно он обо мне таковое мыслит, что я сие сделал не ради надежд на мою персональную выгоду в будущем, но единственно токмо ради моей благодарной памяти к моим благодетелям, от коих милостей я получил всё, чем пользуюсь ныне.

Этот случай был сопряжён с последним приездом графа в столицу. Сколь ни отличалась его услуга самым интимным и скромно-конфиденциальным характером, тем не менее люди, усердно следившие за Павлом из всех щелей его гатчинской резиденции, сочли нужным «довести» о «негоции» графа Харитонова-Трофимьева. Эта «негоция» не понравилась, и вот с тех самых пор граф Илия почти уже безвыездно затворился в своей уединённой усадьбе. С тех пор в кругу соседей и у всех, кому только было ведомо имя Илии Харитонова-Трофимьева, стал он известен под прозвищем «опального графа».

Это был человек глубоко несчастный в своей жизни, и только одна фамильная гордость да прирождённая сила характера помогали ему вечно таить внутри себя все муки своего несчастья, никому никогда не жалуясь, нигде

и ни в ком не ища себе сочувствия и даже не допуская мысли, чтобы кто-нибудь осмелился подумать, будто он и в самом деле может чувствовать себя несчастным. Его политическая карьера была уже давно и безвозвратно разбита; но столько же, если не более, была разбита и его жизнь семейная. Граф не был счастлив в супружестве. Жена его, которой всецело отдал он, уже будучи в опале, свою руку и сердце, не сумела ни оценить это сердце, ни понять характер графа. Капризная и своенравная дочь прожившегося боярина, воспитанная в модных парижских салонах того времени, она пленила графа Илию своей блистательной внешностью, шутя отдала ему свою руку, шутя пошла с ним к аналою, с проклятием родила ему дочь, а год спустя покинула и эту дочь, и самого графа, предпочтя своей семейной обстановке жгучую жизнь тех же самых блестящих салонов Парижа и скандалёзную репутацию открытой подружки одного из самых знаменитых тогдашних «энциклопедистов». Её скандально-блестящая слава, которой завидовали у нас не только многие великосветские жёны, но даже и му-

жья этих жён, втайне грызла и сосала сердце гордого графа. Насколько возможно, он старался если не забыть, то хоть несколько облегчить, утихомирить своё горе и боль уязвлённого самолюбия тишиной своего глухого сельского угла, постоянным углублением в чтение, в историю да в сельскохозяйственные работы. Впрочем, он не обвинял безусловно свою ветреную графиню. Напротив, он склонен был скорее обвинять себя, так как главную причину семейного несчастья полагал в своём собственном неосмотрительном увлечении, в том, что женился, будучи старше своей жены годами более чем вдвое. Чтобы не подать повода к каким бы то ни было упрёкам, он аккуратно высылал ей слишком достаточные средства для её заграничной жизни и никому никогда не заикался про эти щедрые подачки. Но свои собственные потребности сузил он до самых скромных пределов, и не потому, чтобы чувствовал в этом настоящую материальную необходимость (средства его вообще были более чем прекрасны), но единственно потому только, что ему, после петербургского блеска и в осо-

бенности после разрыва с женой, стал глубоко противны вся эта пышность, и гром, и роскошь вельмож его времени. Графу Илие захотелось похорониться в тишине какого-нибудь неведомого угла, уйти внутрь самого себя, порвать со всем этим светом, чтобы и о нём никто, да и сам он ни о ком не слышал. У него под Москвой было огромное и великолепное имение, которое славилось своим каменным дворцом и обширными садами. В этом имении у графа помещались и знаменитый в своё время конский завод, и знаменитая псовая охота, и домашний оркестр, и домашний театр с трагиками, благородными отцами и первыми любовниками, с целым штатом певиц и танцовщиц из крепостных; тут же проживали у него на вечных и льготных хлебах и капельмейстер-немец, и балетмейстер-француз, и куафёр, и костюмер, и много иного, вполне теперь бесполезного ему люда. С тех пор как жена его оставила, он никогда не жилал в своём подмосковном имении, но, «сократив» самого себя, даже и не подумал, чтобы хоть сколько-нибудь «сократить» весь этот праздно проживающий штат.

«Пусть их живут; надо же и им с чего ни есть кормиться!» — махнув рукою, отвечал обыкновенно граф Илия на представления управителя, который в первое время новой уединённой жизни своего патрона решался иногда докладывать ему, что не мешало бы где распустить дармоедов.

Но зато заботы и всю любовь своего горячего и обиженного сердца сосредоточил граф на своей дочери. Как самая нежная мать и нянька, он следил за нею шаг за шагом ещё с самой колыбели этого покинутого ребёнка. И сколько мучительных дум и забот, сколько блестящих надежд и томительных сомнений о будущем своей дочери кипели и волновались в душе отца, когда он по вечерам сидел, бывало, на низеньком табурете пред её детской кроваткой в ожидании, пока заснёт его дитя под тихое, мурлыкающее бормотанье старой няньки Федосеевны, каковая взяла себе за правило «беспрерывно и кажинный вечер сказывать сказки своей графинюшке...»

Эту дочь, в честь своей царственной благодетельницы, граф Илия назвал Елизаветой и, нарекая ребёнка дорогим ему именем, в мо-

литве своей призывал покойную государыню быть её ангелом-хранителем, её неземною восприёмною матерью.

Он не жалел никаких средств на воспитание и образование своей дочери. В течение всего её детства в Любимке проживали три пожилые особы: англичанка, француженка и немка, которые были обязаны заниматься с графиней Лизой языками, рукодельями и изящными искусствами, т. е. живописью, игрою на арфе да на клавесине. Но простой русский и притом крепостной человек, нянька Федосеевна, всё ж таки «даже и при трёх мадамах» постоянно занимала своего рода первенствующую роль при «графинюшке». Она, конечно, не вмешивалась в дрессировку светского её воспитания, предоставленного трём «мадамам»; но чистая и благотворная струя русского влияния, без всякой, конечно, предвзятой на этот счёт мысли, а просто себе и как бы инстинктивно, по действию самой природы вливалась в душу ребёнка благодаря всё тому же простому и непосредственному человеку — няньке Федосеевне, которая научила свою девочку лепетать и первые слова, и пер-

вые молитвы. Областью Федосеевны была спальная комната «графинюшки Лизутки», её умыванье, чесанье, одеванье и раздеванье, её каждоеутренний и каждовечерний «baise main a rара»[13], её бельё и платица, её куклы, цветы и картинки, русская сказка и песни, русский простой разговор, подчас воркотня, а более того — тихий вздох да задушевная ласка своей «полусиротки». Три учителя для русского языка, математики, истории, географии и мифологии были выписаны графом, по рекомендации ректора, из лучших студентов Московского университета. Закон Божий и священную историю граф преподавал сам. Он был очень религиозный человек и никому, кроме себя, не решился «препоручить сего наиважнейшего предмета». Да и вообще, среди своих книг и агрономических занятий он постоянно находил время лично следить за воспитанием и образованием своей дочери, вникая во все его подробности.

Таким образом прошло всё детство и отрочество этой девочки, выросшей без матери, среди привольной жизни забытого сельского уголка, и — «графинюшка Лизутка» незамет-

но стала взрослой девицей. Это была совсем русская красавица: сильная, здоровая, ловкая и хорошо сложенная, с плавными и грациозными движениями, с лучистым взглядом больших и открытых серых глаз, с «соболиной» бровью и длинными ресницами, с несколько капризно-вздёрнутым носиком, густыми светло-каштановыми косами и, наконец, с обворожительной улыбкой свежих, румяных губ, и эта улыбка имела у неё свойство, словно солнце, озарять всё лицо, всё существо её, когда ей было весело или когда она хотела быть приветливой.

Со вступлением графини Елизаветы в семнадцатилетний возраст учителя её были отпущены с хорошими наградами, а три «мадамы» остались при ней по-прежнему — «для практики и для компании», но старая нянька Федосеевна и в новом положении своей воспитанницы, «по законному своему праву», всё-таки не покидала первенствующей роли, и графиня Елизавета, как и в оны дни, продолжала быть для неё всё той же «графинюшкой Лизуткой».

IV

Сон в руку

Ноябрьский сиверкий день начинал сереть. Стая ворон и галок шумливо кружилась над обнажёнными деревьями любимковских рощ, наглядывая себе в прутьях ветвей удобные места для ночлега. Граф Илия, проснувшись от послеобеденного сна, вышел по обыкновению в своём тёмно-синем бархатном халате на беличьем меху посидеть в гостиную, куда в эту пору дворецкий Аникеич, тоже по обыкновению, принёс ему с погреба большую хрустальную кружку фруктового кваса. Граф любил посидеть в этой комнате именно в тот час, когда уже начинают спускаться сумерки, и, погружаясь в глубокое, спокойное кресло да прихлёбывая из кружки ароматный квасок, послушать пение своей Лизы с аккомпанементом арфы или её игру на клавесине. Графиня Лиза сидела у окна, усердно склонившись над пальцами; она вышивала шелками роскошный букет для диванной подушки, которую намеревалась под-

нести в «презент» своему отцу в день его рождения, и теперь торопилась, пока ещё не стемнело, окончить большую пунцовую розу.

— Полно-ка глазыньки томить! — заглядывая из-за плеча дочери на вышиванье и мягко проводя рукой по её волосам, заметил граф, — успеешь ещё, родная...

— Ах, пожалуй, не мешай, папушка! — потряхнув головкой, с оттенком лёгкого нетерпения, озабоченно проговорила Лиза, — ещё шестнадцать городков остаётся, и тогда конец.

— Да глаза же слепишь, говорю тебе.

— Пустое! Молодые ещё, не ослепнут... Ведь для тебя же стараюсь...

— Для меня... Ах ты, рукодельница моя прилежная! — ласково усмехнулся граф. — Для меня... А чем же я для тебя постараюсь? В Москву свозить нешто?

— Не охотница я, мне и здесь хорошо пока.

Аникеич вошёл с полной кружкой на серебряном подносе.

— Ага, и ты, старый хрен, пожаловать изволил! — с доброй усмешкой моргнул на него граф.

— Сами недалече от меня отстали... Хрен да хрен! Какой я вам хрен ещё! — как бы вправду сердясь, проворчал старый дворецкий. — Кушайте-ка лучше, пока пенится... Вашего сиятельства на доброе здравие! — прибавил он с поклоном, когда граф взял и поднёс к губам своим кружку.

— Ну, однако же, будет! Довольно! — ласковым, но решительным тоном обратился этот последний к дочери.

— В сей час, папушка, в сей час. Уж только семь городков осталось... Вот только этот бутон... один лепесточек, и на сей день урок мой окончен.

— Да смеркается же! Будет... Пожалуй-ка, лучше сыграй мне, а я послушаю... Только нечто бы маэстозное[14], — я в такой настройке ныне.

— Ты говоришь, настройка... маэстозная... — раздумчиво и как-то оттягивая слова, после некоторого молчания заговорила Лиза. — А знаешь ли, папушка, и я ведь тоже в совсем особенной ныне настройке.

— Ой ли, детка! Что такое?

— Да так, и сама не знаю. Всё раздумье бе-

рёт... беспричинное... будто симпатия какая.

— Да с чего же, однако, быть той симпатии?

— Сон такой привиделся.

— Со-он? Эка выдумщица!..

— Право же, сон, папушка... И вообрази, дважды кряду в эту ночь всё он один снился... Поутру я даже в «Мартын Задеке» справлялась[15].

— Что же за знатный сон такой? Ну-ка?

— Да вот, изволишь видеть, снится мне это, будто мы с тобой вдвоём идём на высокую гору, и будто эта гора — наша Любимка. «Поди ты, что за странность, думаю. Стать ли этой нашей Любимке быть вдруг горою!.. Да ещё такую высокою, такую трудною!» И мы с тобой всё на неё взбираемся, всё карабкаемся, а из-под ног у нас всё камешки сыплются, и мы скользим, падаем и снова поднимаемся, а окрест нас такая пустыня, такая темень, мрак, хоть глаз выколи! И плачусь я, что никогда мы не дойдём до вершины и никогда нашему бедству скончания не будет... И только что я эдак-то сама в себе возроптала, гляжу — а мы с тобой вдруг уже на самой вершине, и

тут вдруг озарил нас свет... И такой это был блеск неожиданный и прекрасный, что я даже испугалась и зажмурилась. И в сей же час мы с тобой, взявшись за руки, побежали с этой вершины вниз, и так, знаешь ли, быстро, так легко несёмся, будто летим, что даже дух у меня замирает. Смотрю, а уж мы среди прекрасной и цветущей долины плывём в лодке по широкой реке, и тут я проснулась.

— Плотно, матушка, значит, покушала за ужином, — смеясь, заметил граф на рассказ своей дочери.

— Ну, вот!.. Совсем почти нисколько не ела, одну только чашку молока выпила! — возразила девушка. — И что достопримечательно: чуть лишь заснула — опять всё тот же сон... Я себе и возьми это за приметку, взглянула в «Мартын Задеку», а там знаешь, что про то писано? Писано, что на гору взбираться — означает труд, испытание и долготерпение в горести, а с горы катиться — вот что от слова до слова сказано, — я даже в самой точности запомнила: «сон сей, человеке, нарочито знатную перемену в жизни твоей означает». А что до реки касается, то спокойно

плыть по оной — прибыль, довольство и счастливую жизнь знаменует.

Граф на это только тихо и несколько грустно улыбнулся своей дочери.

— Всё это прекрасно, — заметил он, — а вижу я, однако, что ты, неслух эдакой, всё ещё корпишь над своей работой!

— Последний городок, папушка! ей-Богу, последний!

И настойчивая Лиза не ранее-таки встала из-за пялец, как дошив до конца весь лепесток розового бутона.

— Ну вот, теперь я права! — весело поднявшись со стула и накрывая камчатной салфеткой свою работу, сказала она с полным, облегчающим вздохом. — Что же сыграть тебе, папушка?

— Что знаешь, дружочек... Из Метастазия нечто или из Моцарта.

Девушка присела слегка за клавесин, взяла несколько аккордов и задумалась — что бы такое сыграть ей в угоду отцу. Взгляд её вдумчиво устремился куда-то, как бы в пространство, и бессознательно перешёл на стёкла окна, из которого видна была часть «переднего

двора», частокол и посреди него высокие дубовые ворота, крытые русским навесом с гребешком и коньками, а там, за этими воротами, — выгон, скучно покрытый снежной пеленой, и сереющая роща со своими крикливыми галками, и под рощей той большой и густой конопляник, где ещё ребёнком так хорошо и привольно бывало ей прятаться в жаркий полдень, среди чащи сильно пахучих высоких стеблей, от докучного дозора подслеповатой и строгой «мадамы-англичанки».

— Папушка! Глянь-ко, что это такое?.. Никак, едет кто-то, — вскричала вдруг Лиза, вскакивая с табурета и кидаясь к окошку.

— Полно! Кого понесёт сюда в такую пору! — махнул граф рукою.

— Нет, папушка, и впрямь едет... Слышишь, колокольчик почтовый...

Граф прислушался из своего кресла и действительно очень ясно различил приближавшийся звон заливистого колокольчика.

— Сдаётся так, что военный будто... в шляпе, в треугольной. Право же, папушка! — глядя в окно, уверяла Лиза.

Граф ничего не ответил, и только слегка

поморщился, невольно выказав этой миной признак внутренней досады и неудовольствия. В течение долгих лет своей опалы он из опыта уже убедился, что редкие приезды незнакомых лиц в военной форме, с почтовым колокольчиком под дугой знаменуют всегда нечто официальное, а всё официальное не могло доселе сулить опальному графу ничего, кроме какой-нибудь новой неприятности, нового стеснения.

Колокольчик замолк перед самым частоколом на ту минуту, пока прибежавший с дворовыми собаками казачок отворял решётчатые ворота, и вслед за тем, облетев полукругом двор, курьерская тройка остановилась у небольшого крыльца барского домика.

— Аникеич, узнай-ка, брат, кто там и за какой надобностью, — приказал граф дворецкому, позвав его обычным хлопаньем в ладоши, что служило у него сигналом призыва для домашней прислуги. — Да если это какой-нибудь новый пристав, — прибавил Харитонов-Трофимьев, — так ты, братец, внуши-ка ему, что это вовсе непорядок лезть со своими колоколами прямо под графское крыльцо, что

для сего-де есть у графа сборная изба либо контора... Ну, и там выдай ему, что следывает по положению, и отправь поскорее.

Аникеич удалился, но после каких-то переговоров с незванным и неожиданным гостем вернулся опять в гостиную, видимо озадаченный и смущённый.

— Курьер... из самого Питера, — доложил он. — Сказывает, что имеет препорученность персонально до вашего сиятельства.

Граф окинул его вопросительным взглядом и недоумённо пожал плечами.

— Зови, — сказал он, — коли персонально.

Через минуту вслед за старым Аникеичем в гостиную вошёл статный и молодой гвардеец.

— Его императорского величества к вашему сиятельству именное повеление, — звучно и отчётливо проговорил он несколько официальным тоном.

— Как вы сказали, сударь? — прищурился граф, прикладывая щитком ладонь к правому уху. — Виноват, кажись, я ослышался...

— Его императорского величества... — снова начал было гвардеец.

— То есть её величества, сказать вы желаете? — перебил его граф, думая исправить, и заметил курьеру его обмолвку.

— Нет, граф, его величества, — подтвердил тот непреложно-уверенным тоном.

— Как?! Да разве... разве императрица?

— Волею Божией шестого сего ноября скончалась.

Граф неподвижно, словно бы громом поражённый, с минуту оставался в своём кресле, затем медленно перекрестился и встал с места, выпрямляясь во весь рост.

— Я слушаю повеление моего государя, — с видом благоговейной почтительности произнёс он тихо, важно и вполне спокойно.

— Государь император, — начал гвардеец, подавая графу запечатанный пакет, — высочайше соизволил дать мне препорученность, дабы как можно скорее увидеть вас вблизи своей особы. Государь просит вас изготовиться наипоспешнейше вашим отъездом, но, впрочем, принимая во внимание ваши лета и домашние обстоятельства, всемилостивейше разрешает вам четыре дня для необходимых сборов. Мне же от его величества препоруче-

но препроводить вас до столицы и озаботиться, чтобы, находясь в пути, ваше сиятельство ни в чём не терпели никакого неудобства, ниже задержки.

Выслушав это, граф дрожащей рукой сорвал конверт и стал читать собственноручное письмо императора Павла.

— Благодарю тебя, Господи, яко не до конца оставил мя еси! — тихо прошептал он, перекрестясь ещё раз на образ, и с благоговением поцеловал строки, начертанные царственной рукой.

— Благодарю и вас, государь мой, за сие высокорадостное известие! — взволнованно и с чувством продолжал он, подавая курьеру руку. — По форме усматриваю, что вы гвардии офицер... Позвольте знать, кого имею честь принимать у себя в доме?

— Лейб-гвардии Конного полку корнет Василий Черепов, — отрекомендовался тот с учтивым поклоном.

— Папушка! Голубчик мой! А ведь сон-то в руку! — с восторгом и вся в радостных слезах кинулась на шею отцу «графинюшка Лизутка».

Под приветливой кровлей

Весь дом графа Харитонова, тихо дремавший доселе в долгом однообразии своей замкнутой жизни, исполнился вдруг какого-то особенного настроения. Это была не шумливая своекорыстная радость, не эгоистические ликования по случаю счастливой перемены, а скорее как будто испуг перед внезапностью переворота, очевидно наступающего в жизни графа, — чувство смятенного страха и благоговения пред той светлой и высокой ролью, которая, благодаря царской милости, ожидает теперь этого «опального», ещё вчера всеми покинутого и забытого. Во всей усадьбе тихо и серьёзно шушукались, передавали весть о кончине императрицы и о новом государе, который чуть не с первой минуты своего царствования вспомнил-де о графе и послал за ним особого гонца, гвардейского офицера «из самого что ни есть первейшего в империи Конного полка», и что теперь будет с графом, «графинюшкой», да и со всей их

«ближней услугой»? Какая судьба, какие перемены ожидают всех их в самом недалёком будущем? Кто поедет «при графских персонах» в Питер? Кто останется в Любимке? Отпустят ли трёх «мадамов», да как-то теперь всё это пойдёт вдруг по-новому, когда того никто и не чаял?..

Нечего и говорить, что — начиная с «графинюшки» и её няньки Федосеевны до последнего человека в усадьбе — всё смотрело на «царского гонца» чуть ли не как на Божьего посланника, который просто с неба слетел к ним со своим благовестием. Все старались чем ни на есть угодить ему, успокоить, накормить, взлелеять его после шальной и бессонной курьерской скачки, которая в двое с половиной суток примчала его из Петербурга в Любимку.

Аникеич самолично накрывал для него чистой камчатной скатертью обеденный стол, торопил поварят на кухне и шпынял казачков в людской, чтобы те проворнее грели самовар для «царского посланца»; сам слазил ещё и ещё раз в погреб, обдумывая, каким бы вином пристойнее всего угостить такого го-

стя и ради такого случая — французейном или венгерским?

Или тем и другим, а для радости уж не вытащить ли ещё и бутылку шампанского вина? Все эти соображения в данную минуту представлялись Аникеичу «материей нарочито важной» и требующей «особливого проникновения».

— Устин Аникеич, кому служить за столом укажете: мне, аль Антропу, или Стёпке? — приставали к нему несколько гайдуков, которым тоже было бы «лестно» прислуживать царскому посланцу.

— Сам служить буду! Никому не дам! — с достоинством отвечал Аникеич таким решительным тоном, который не допускал уже более никаких противоречий, просьб и доводов.

Старая Федосеевна с горничными девушками тоже была в хлопотах немалых. Этот отряд женской прислуги суетился в особом «чистом» флигелёчке, приготавливая для гостя «спальную горницу и прочий апартамент». Там сметали с углов паутину, спешно мыли и подметали пол, топили лежанку, переводили на время в контору двух «мадамов», которые

доселе здесь помещались, взбивали пуховики и подушки, застилали чистые простыни, вешали новые занавески — словом, возни и хлопот было по горло для всезаботливой и предупредительной Федосеевны. «Пущай, мол, всё по-графскому... Лицом в грязь не ударим и графа свою не поконфузим».

Гость между тем сидел в гостиной вместе с графом и его дочерью и, отвечая на их вопросы, рассказывал — насколько знал и лично видел или от других слышал — обстоятельства кончины государыни и первые минуты восшествия Павла, первые его распоряжения и нововведения, о которых гвардейцы и публика узнали в утро первого вахтпарада. Рассказывал он также и про свой «особливый случай» у государя, благодаря которому стал неожиданно «пожалован в гвардии корнеты», и как во время его ординарческого дежурства во дворце государь, случайно проходя по той зале и постоянно замечая его «отменную выправку», до трёх раз подходил к нему и каждый раз изволил милостиво с ним разговаривать, расспросил, кто он и откуда, имеет ли родных и состояньишко? И когда Черепов от-

вечал, что от покойного отца своего за ним числится в Новгородской губернии сто двадцать душ крестьян, да ещё родная тётка, умершая в бездетности пять месяцев тому назад, оставила ему по завещанию сто душ Московской губернии, в Коломенской округе, близ большого Рязанского тракта, то государь спросил, успел ли он побывать уже в этом последнем своём имении, и на отрицательный ответ Черепова, несколько подумав, вдруг изволил произнести:

— Это очень кстати: у меня в тех местах проживает в своей усадьбе генерал-майор Харитонов-Трофимьев. Поезжай к нему и сейчас же от моего имени скажи, что я жду его с нетерпеливостью и прошу пожаловать к себе в Петербург; скажи, что я старика всегда очень помнил и охотно желаю его поскорее видеть, дабы иметь при своей особе... Инструкции, маршрут, подорожную и особый пакет на имя графа получить имеешь через час из моего кабинета; пробывать изволь там на месте не позднее четырёх суток, а в это время, кстати, коль угодно, то можешь взглянуть и на своё новое именъишко.

— И, вот в силу такого повеления, — заключил рассказ свой Черепов, — я, как изволите видеть, примчал к вам, чтобы не умедлить ни единой минуты насчёт оповещения вас о толикой особливой его величества милости; а завтра, дабы не мешать моим посторонним присутствием вашим скорым семейным сборам, я прошу позволения отъехать в своё именьишко, а через два дня опять вернусь, исполняя волю моего императора, к вашего сиятельства услугам и буду иметь честь сопровождать вас до Петербурга.

— Не смею стеснять вас, сударь, — слегка поклонился граф, — но сей ночлег прошу иметь под моей кровлей: чем богаты, тем и рады, по простоте, по-старинному. А смею спросить, — прибавил он, — как прозвание именщицу-то вашему, что от покойной тётушки досталось?

— Чижово, Замахаевка тож, — ответил Черепов.

— Замахаевка?.. Бог мой! — вскричал граф Илия, — да это близёхонько, просто рукой подать отселе, в самом ближнем соседстве, и двадцати вёрст, почитай, не будет!.. Так, стало

быть, ваша тётушка была Варвара Тимофеевна Порезкова, вдова моего бывшего сослуживца бригадира Василия Иваныча Порезкова? Так ли?

— В самой точности так, ваше сиятельство!

— Ну, и прекрасно! Тем паче приятно видеть в вашем лице её, надеюсь, достойного племянника.

— Батюшка не комплимент говорит вам, а истинную правду, — поспешила примолвить графиня Елизавета. — Надо вам знать, сударь, мы очень уважали вашу тётушку, потому что она была прямой и независимый человек; она одна, почитай, со всей округи езживала к нам и водила с нами хлеб-соль в то время, как все старались отвёртываться и не замечать нас, и мы тоже, бывало, у ней гащивали, а меня-то уж она в особенности жаловала. Я к ней всегда питаю самую благодарную память.

— Кушать подано! — с официальной торжественностью возгласил старый Аникеич, появись в дверях гостиной с салфеткою в руке, в своём новом камзоле и парадном кафтане с графскими гербами по широкому басону

[16].

— Прошу! — поднялся граф с места, делая офицеру пригласительный жест той изящной, благоволивой приветливостью, которая была свойственна вельможно-светским людям былого времени. — А ты, графинюшка, — прибавил он, с улыбкой обращаясь к дочери, — будь настоящей хозяйкой, как следует, предложи гостю руку и веди его к столу, а я только кафтан мой одену и сейчас буду к вам. Угощай же его изрядненько, чтобы дорогой гость наш не обессудил и всем остался бы доволен, а наутро, сударь, — обратился он вслед за тем к офицеру, — моя карета четвернёю будет к вашим услугам и доставит вас в Замахаевку.

И несмотря на убедительные просьбы Черепова оставаться, не стесняясь, по-домашнему, в своём халате, граф всё-таки ушёл в свою гардеробную переодеться, а графиня Елизавета с приветливой, хотя и несколько смущённой улыбкой подала гостю руку и, слегка придерживая пальчиками чуть-чуть приподнятый перед своей будничной робы, грациозно, в качестве молодой хозяйки, повела его в сто-

ловую, мимо старого Аникеича, который, вспомнив по старине всю официальную строгость этикета, подобающего настоящей минуте, с важно поднятой головой и важно насупленными бровями встретил и проводил серьёзным и строгим взором прошедшую мимо его молодую пару. И чуть лишь эта изящная пара оставила его за собой, как уже старик в гневном ужасе торопливо замахал салфеткой, подавая немые знаки няньке Федосеевне, которая с полдюжиной горничных девушек, не будучи в состоянии превозмочь своего любопытства, заглядывала из противоположной двери в столовую. Старая нянька увидела это маханье и с видимым неудовольствием покорила блюстителю требований старого этикета. Но хоть и одним глазком, а всё-таки успела она взглянуть на свою графинюшку Лизутку и молодчика гвардейца — «как это они так приятно и великато изволили шествовать вместе».

VI

«Усладушка»

На следующий день, едва лишь рассвело, Черепов, после раннего завтрака, выехал на графской четвёрке в свою Замахаевку. Эта деревня залегала в весьма людной местности, окружённая ближайшим соседством нескольких помещичьих дворов, между которыми первенствующую роль играла «Усладушка» — богатая усадьба со всякими причудами и затеями, принадлежавшая некоему Прохору Михайловичу Поплюеву. Имение это, отстоявшее не более как на три версты от Замахаевки, названо было «Усладушкой» самим Прохором Поплюевым, в силу того, что в нём совокуплялись самые разнообразные заведения, предназначенные к услаждению духа и плоти владельца. Путь предстоял Черепову как раз через «Усладушку». Тихо дремля в глубине покойной кареты, он и не заметил, как, миновав богатое село, экипаж его спустился на мост, за которым стоял опущенный шлагбаум и при нём сторожка, а по обе стороны от

этой заставы тянулся высокий частокол, замыкавший собой границы «Усладушки». Шлагбаум, гремя своей цепью, тотчас же поднялся вверх и беспрепятственно пропустил карету. Самый дом и обширные службы расположены были в стороне, саженьях в полтора-раста от дороги, пролегавшей через ограждённое пространство усадебного участка, и хотя эта дорога была единственным проезжим путём, то есть составляла в некотором роде общественную собственность, тем не менее владелец «Усладушки» считал себя вправе держать на ней шлагбаумы, на том основании, что дорога, мол, в этом месте по моей собственной земле пролегает.

Доехали до противоположной рогатки, и тут Черепов был выведен из своей тихой дремоты неожиданной остановкой экипажа. Он зевнул, провёл по лицу рукой, чтобы стряхнуть с себя остатки дрёмы, и насторожил внимание. Казалось, будто кучер с кем-то бранится или торгуется.

Черепов опустил стекло и высунулся в окошко каретной дверцы.

— Что там такое? — крикнул он своему

вознице.

— Не пропускают! — возвестил тот с высоких козел.

— Как не пропускают?.. Кто?.. Зачем?.. Почему?

— Не велено... Указ такой вышел, — пояснил чей-то посторонний голос.

Черепов кинул взгляд вперёд и увидел перед собой опущенный шлагбаум: сторожку и на пороге её человека в особенной форме военного покроя.

— Что за вздор! Проезжих людей не пускать по проезжей дороге! — заметил Черепов. — Кто такие указы может выдавать в мирное время?

— Наш усладовский барин, — было ему ответом.

— Усладовский барин?.. Что за барин такой?

— Прохор Михайлыч Поплюев.

— Да ты что за человек есть?

— Я-то?.. Я ихней милости гвардеец.

«Вот где товарища какого нашёл!» — усмехнулся про себя Черепов и спросил его громко:

— Что за гвардеец? Солдат, что ли?

— Нет, мы не солдаты, а мы, значит, нашего барина гвардия, — пояснил человек в военном костюме. — Я теперича, к примеру, карабинер, — продолжал он, — а то есть у его милости и мушкатёры, и гусары, и антилерь.

— Ну, и на здоровье ему! — улыбнулся Черепов, — а ты, братец, всё-таки подыми-ка рогатку!

— Не могу, сударь!.. Хоть убей, не могу!.. Мне опосля того и не жить! Тебе-то что, а майор, поди-ка, три шкуры с меня спустит, коли пропустить-то... Не указано!

— Ну-ка! что за майор ещё?

— Нашего барина майор... Потому как он, значит, при себе майора такого держит, чтобы нас муштровать по артикулу... Смерть какой лютый!.. Пропустить никак не можно. Впускать иное дело: впускать, сказано, всякого, а выпускать с разбором.

— Да что ж за причина, однако?

— А то и причина, вишь, что барин-от не рожденник и, значит, рождение своё справляет, и для того никого, опричь подлых людей, пропускать не велено, а указание есть,

чтобы которые благородные проезжающие — безотменно к их милости в усадьбу просить к водке и на пирог чтобы пожаловали.

— Да мы с твоим барином вовсе незнакомы, — засмеялся Черепов.

— Это всё единственно! Это ничего! — возразил карабинер. — У него что знакомый, что незнакомый — все ему гости.

— Да иной, поди-ка, может, и знать-то его не хочет.

— Ну, уж про то не наше дело! Там уж, поди, сам с ним в усадьбе разбирайся. А мы знаем одно: не пущай, и кончено!

— Э, так я сам себя пропущу! — сказал Черепов и, выйдя из кареты, направился к шлагбауму с решительным намерением поднять его.

— Не трожь, барин! Не балуй! Я те Христом Богом прошу! — взмолился карабинер, схватившись обеими руками за подъёмную цепь, — майор то ись страсть какой лютый!.. беда!.. Уж лучше сожди маленько, я товарища пошлю в усадьбу, пущай сбегает да доложит, — тогда твоей милости, может, и пропуск выйдет, а без того не моги, не подводи

под ответ-то! Ну, што тебе! Сожди, прошу честью!

Что было делать! Человек молит чуть не со слезами — как тут не уступить, когда ему, и в самом деле, без вины может достаться от какого-то лютого майора! Черепов только плечами пожал и согласился обождать в карете, пока посланный сбегает в усадьбу. Прошло несколько минут, как вдруг он заметил, что к нему скачет верхом на горбоносом дончаке какой-то чудак с развевающимися «вылетами» несколько фантастического костюма. Всадник этот осадил скакуна как раз перед дверцей кареты и приложился по-военному к своей лохматой медвежьей шапке.

— По благородному виду и по экипажу могу судить, что вы, сударь, человек благородный, — сказал он Черепову самым любезным тоном. — Смею спросить чин, имя и фамилию, а равно откуда и куда едете?

— Да что это за комедия, наконец! И кому какое до того дело! — досадливо воскликнул Черепов. — Если вы тутошний чудак помещик, то прикажите, сударь, вашему карабинеру поднять мне рогатку!

— Извините, государь мой, я не помещик, хотя и был таковым некогда; но я тутошнего помещика майор и послан персонально от Прохор Михайлыча дознаться о чине и звании проезжающей особы, а потому не посетуйте...

Чтобы поскорее отвязаться, Черепов сообщил ему, что требовалось, и повторил свою просьбу насчёт рогатки.

— Извините, сударь мой, но у нас таков уже порядок! — учтиво возразил лохматый чудак. — От имени моего шефа, — продолжал он, приподняв шапку, — смею просить вас оказать особую честь Прохор Михайлычу... По русскому обычаю от радушного хлеба-соли не отказываются... И ему тем паче будет приятно знакомство ваше, что вы лейб-гвардии офицер. Не откажите в чести!

«Что за чудаки! — подумал себе Черепов. — А впрочем, чего тут ломаться! не всё ль равно!» И он приказал кучеру поворачивать к крыльцу поплюевского дома, рассчитывая пробыть здесь самое короткое время и соображая, что всё равно надо же будет когда-нибудь познакомиться с этим Прохором,

как с одним из своих ближайших соседей.

Меж тем чудачный майор чуть только услышал приказание, отданное кучеру, как уже поскакал во всю прыть обратно к дому, неистово махая кому-то рукой и крича во всё горло:

— Салют!.. Салют почтенному гостю!

И в это самое время раздались вдруг три выстрела из пушек. Графская четверня с испугу шарахнулась было в сторону, но ловкий кучер успел-таки справиться с ней без дальнейших неприятных последствий. Облако дыма тихо рассеивалось над тем местом, откуда сделаны были выстрелы, и Черепов, обратив глаза в ту сторону, заметил насыпной маленький редутец, на валах которого стояли четыре чугунных фальконета, а в одном из углов возвышался длинный шест с развевающимся флагом.

Едва экипаж подъехал к крыльцу, как со ступеней сбежали два заранее поджидавшие гайдука, одетые гусарами, и, поспешно распахнув дверцу, с почтением высадили Черепова под руки из кареты.

Сам хозяин очень любезно вышел к нему

навстречу в большую приёмную залу с колоннами, украшенную громадной хрустальной люстрой и огромными картинами мифологических сюжетов, где преобладали какие-то обнажённые богини, Вакхи и Сатиры среди гирлянд из винограда, цветов и порхающих амуров.

Проход Поплюев казался на вид мужчиной лет тридцати пяти или около. Это был небольшой кругленький человечек с одутловатым брюшком, на тоненьких ножках и с добродушным, несколько брюзгливым лицом, которое носило на себе следы какой-то лимфатической сонливости и апатии, чему в особенности помогало слабосильное опущенное правое веко. От этого века всё лицо его казалось не то плачущим, не то улыбающимся и вообще как-то кисловато куксилось, отличаясь скорее бабьим, чем мужским выражением. Волосы его были распудрены и тщательно завиты в букли, мягкие руки благоухали какою-то тончайшею парижскою эссенцией, а на толстеньких коротких пальцах разноцветно сверкали дорогие перстни. Одет был господин Поплюев в расшитый блёстками ат-

ласный палевый кафтан, каких в то время уже не носили более светские франты, и вообще всю наружность свою являл он апатично-самодовольную и не лишённую некоторого комизма фигуру петиметра[17] доброго старого времени. Судя по фальконетам и карабинерам, Черепов рассчитывал встретить в нём человека совсем иного характера и наружности.

— Позвольте поручить себя вашей благосклонности, — шаркнув ножкой, начал Поплюев, которому майор успел уже доложить о госте всё, что требовалось, — и тем паче, — продолжал он, — что мы не только соседи, но и камрады по оружию... Я тоже имею счастье быть военным, и при том гвардеец, но чин мой, к прискорбию, не высок: я успел достигнуть сержантского лишь ранга в Измайловском полку, ибо доселе ещё только числился, а не состоял на действительной службе.

И Прохор Поплюев, радушно взяв Черепова под руку, повёл его знакомиться с остальными гостями, которые, съехавшись частью сами, частью же попав случайно, как и Черепов, заседали в широкой гостиной, где

у одной из стен с утра уже был накрыт длинный стол, отягчённый всевозможными водками и закусками. В этой гостиной на первом плане, посреди штофного дивана с позолотой, восседал в бархатной рясе архимандрит одного из ближних монастырей — человек далеко ещё не старый и видный собою. Около него сидели два монаха того же монастыря и несколько коломенских чиновников, капитан с офицерами армейской роты, квартировавшей в окрестности, да человек десять разнокалиберных помещиков.

Представив всей этой компании нового гостя, хозяин круто подвёл его к столу и неотступно стал приставать с угощениями, уверяя, что дорогие гости «пропустили» уже по пяти чарочек «чефрасу» и что ему необходимо надлежит догнать их коли не сразу, то как можно скорее.

— Я человек военный и во всём регулярность наблюдаю, — заметил при этом хозяин, — а «чефрас» это есть, государь мой, целебный настой моего собственного изобретения. Вот и отец архимандрит, и господин капитан довольно хорошо меня знают и все мои

качества. Я дисциплину люблю, коя есть наипервое нашему брату основание... Отец архимандрит, господа гости! — воскликнул он вдруг, обращаясь ко всем присутствующим, — желаете ли, в сей час тревогу учиню?.. В сию секунду!.. Вы, отец архимандрит, в прошлом разе остались довольны, проинспектировав мои войска; не любопытны ли будете взглянуть, каковы они ныне?

Все гости поспешили заявить своё полное удовольствие на предложение хозяина. Майор находился тут же. Это был субъект родом из так называемой тогда «смоленской шляхты» и носил какой-то полупольский, полувенгерский костюм. Куцый паричок, осыпанный мелкими пукольками, прикрывал его небольшую клубнеподобную головку, а круглое лицо, напоминавшее маятник стенных часов, неизменно хранило в себе какую-то странную смесь подобострастия, комической строгости и самодовольного надутого чванства. При достаточном росте он держался прямо, словно бы аршин проглотил, и состоял при хозяине в качестве «майора» всем чем угодно: и шутком, и церемониймейстером. Под его ведением на-

ходились многие отрасли усладовского обихода; кроме гвардии, майору подчинялись ещё и капельмейстер, и балетмейстер, фейерверкмейстер, кухмейстер, шталмейстер и гофмейстер. Служив когда-то в военной службе, этот импровизированный майор давно уже предпочёл тревоги полевой жизни мирному существованию «на хлебах из милости», под кровом усладовского барина, и был даже необычайно горд и доволен своим настоящим положением. Получив приказание хозяина насчёт тревоги, он тотчас же выбежал из комнаты, и через минуту во дворе уже слышались звуки барабана. Гурьба гостей, надев шубы, высыпала на крыльцо любоваться тревогой плюевской гвардии. Минут через пять на дворе выстроились человек тридцать дворовых людей, одетых мушкетёрами, и прискакали с конюшни двенадцать всадников, из которых одна половина называлась гусарами, а другая — карабинерами. Майор, в своей косматой папахе, начал ученье и по окончании каждой эволюции непременно подходил, по воинскому артикулу, к отцу архимандриту для принятия его приказаний. Отцу же архи-

мандриту всё достодожное в этом случае подсказывал армейский капитан, и таким образом архимандрит исполнял недурно свою роль военного инспектора. Надворная гвардия маршировала во все стороны и производила сильный ружейный огонь, кавалерия гарцевала на своих донцах, а артиллерия в грозном ожидании стояла с зажжёнными фитилями на валах редута, около своих фальконетов. Наконец архимандрит приказал «штурмовать крепость». Майор стремительно влетел вприпрыжку к своим войскам, замахал и саблей и шапкой, завопил неистовым голосом: «Урра-а! вперёд, россияне!» — и надворная гвардия бегом кинулась на валы редута. Тут уже поднялся гам и крик всеобщий; фальконеты гремели с валов, барабан бил «атаку», пехотинцы палили из ружей, кавалеристы, как ошалелые, гикали и кружились по всему двору, майор надседался что есть сил, ободряя своё воинство, карабкавшееся на бруствер, гости били в ладоши и кричали «ура», архимандрит пребывал в полном восторге, а хозяин, потирая себе ручки, весело и добродушно улыбался своей плаксивой улыб-

кой.

После этого победного штурма Прохор Михайлович пригласил гостей осмотреть хозяйство и повёл их в оранжереи, где для украшения и «оживления» южных плодовых деревьев торчали у него насаженные на шпильки и прикрепленные проволокой к ветвям живые плоды померанцев, персиков и абрикосов, которые еженедельно выписывались, по дорогой цене, из московских фруктовых лавок. Гостям при этом представлялось думать, будто эти все персики и померанцы выросли и созрели же в этих самых усладовских оранжереях. Из оранжерей компания гостей направилась в амбары, где у Прохора Михайловича было ссыпано в зерне множество разного хлеба, затем в кладовые, которые завалены были холстом, сукнами и кожами собственной, домашней выделки и где помещались целыми рядами кадки воску, мёду, масла коровьего и конопляного и проч. Показал он им и свою образцовую псарню, и свои конюшни, где стояло у него десятка четыре лошадей разных пород, и особое отделение собственного конского завода, и скотный двор, и наконец

повёл в самый заповедный уголок своего хозяйства. Тут был винный погреб, помещавшийся в подвалах его обширного двухэтажного дома, выстроенного на прочном каменном фундаменте ещё в прадедовские времена. Здесь в многочисленных нишах устроены были ряды полок, уставленные разнообразными бочонками и бутылками, хранившими всевозможные сорта водок, наливок и мёдов, из которых многие носили на себе все наружные и несомненные признаки времён отдалённых. В этом погребе у Прохора стоял большой дубовый стол со скамейками и висел на стене серебряный дедовский ковш.

— Прошу, господа! — пригласил хозяин, сняв этот ковш. — Прошу пробовать, кому какой напиток более по вкусу придёт, тому мы такого и за обедом перед кувертом поставим. Ну-тка, отец архимандрит, благослови начинать по порядку!

И, приказав своему ключнику нацедить из заповедной бочки, Прохор подал монаху ковш, до краёв наполненный искромётной влагой душистого мёда.

— Как круг пойдёт? По тостам, что ли, аль

просто? — спросил кто-то из обычных уследовских гостей и состояльников.

— По тостам! По тостам! — в голос отвечали почти все остальные.

— Итак, первый тост, как есмы верные российские сыны, — подняв торжественно ковш, возгласил архимандрит, — да будет во славу и здравие, и во спасение, и во всём благое поспешение нашей матери-императрице.

— Виват! Ура! — закричали было гости, махая снятыми шапками, как вдруг Черепов выступил вперёд и остановил руку архимандрита, который готов уже был отведать от края.

Все переглянулись с недоумением.

— Сей тост невместен! — серьёзно сказал он.

— Как! Что такое?.. Почему невместен? Кто дерзостно смеет помыслить таковое? — напустились было на него гости.

— Да разве вы не знаете иль не слышали ещё?

— О чём бишь слышать-то? Что загадки, сударь, гадаешь?

— Да ведь императрица-то... Волею Божией, шестого сего ноября скончалась.

Серебряный ковш выпал из дрогнувшей руки поражённого монаха.

Все отступили молча, в каком-то паническом испуге. Вопрос, недоумение, сомнение и недоверие ясно заиграли на лицах.

Несколько секунд прошло в полном молчании.

— Скончалась... мать скончалась... А мы здесь бражничаем! — с упрёком сказал наконец кто-то упавшим голосом; и гости печальной толпой один за другим стали подыматься наверх из погреба по широким ступеням каменной лестницы.

Понятно, что сообщением о смерти государыни Василий Черепов возбуждал чрезвычайный интерес во всех гостях усладовской усадьбы. Опомнясь от ошеломляющего впечатления первой минуты, все они обступили его с разных сторон и закидали вопросами. Каждый стремился услышать прискорбное известие как можно обстоятельнее, в наибольших подробностях — и Черепову пришлось повторить им всё то же, о чём он рассказывал графу Харитонову-Трофимьеву. В конце концов разговор коснулся и того обсто-

ательства, по которому гвардии корнет при- скакал царским курьером к опальному графу, и эта последняя новость едва ли не произвела впечатление ещё более сильное, чем весть о смерти государыни: большая часть этих го- стей была соседями графа, которые, зная при- чины обстоятельств его продолжительной опалы, не находили нужным оказывать ему какое-либо внимание. Всяк понимал, что «пе- сенка его спета», что он ни силы, ни значения не имеет и, стало быть, не может уже оказать ни пользы, ни милости, ни заступы, ни иного какого-либо покровительства, а потому боль- шинство этих людей, выражаясь их же слова- ми, «плевать на него хотело». Да многие и опасались дружить и водиться с опальным человеком, из страха, как бы не навлечь на себя через это знакомство каких-либо подо- зрений или невыгодного мнения со стороны представителей наместничьей власти. И вдруг теперь этот самый человек «в случай выходит»! Сам император на первых же ми- нутах своего царствования за ним особого гонца посылает, «респектует его особым отли- чием», и — глядь — граф Харитонов из ничто-

жества мгновенно превращается в «силу», так что любого из этих самых своих соседей может теперь «осчастливить», «в люди вытасщить», «деток пристроить», «в чины произвести», равно как и в любом же из них может выместить за все сплетни и клеюзы, за всё их пренебрежение, которое так гордо и равнодушно переносил в свои опальные годы. Как тут быть? Что теперь делать? «И кто бы мог когда такое помыслить, и кто бы мог ожидать сего?» И тотчас же, наперерыв друг перед другом, стали все восхвалять графа Илию, превозносить его достоинства, его ум, его характер, удивляться ему и отдавать заслуженную дань справедливости и почтения тому величию духа, с каким он переносил свою опалу. «Мы-де всегда его чтили и любили! Мы-де всегда говорили, всегда предвидели, что его случай ещё настанет, что его вспомнят, потому что российское отечество нуждается именно в мужах толикого ума и достоинств, и спасибо-де государю, что он сразу отличает и ценит истинных сынов отечества, и мы-де так рады, так уж рады за графа, и дай-то ему Господь всякого благополучия, и тоже

дочери его, „сей прекраснейшей и благороднейшей отрасли...“». И чего-чего не было тут сказано! И что всего замечательнее, многие высказывали всё это совершенно искренне, от души, от чистого сердца, так же точно, как прежде совершенно искренне, бывало, судачили того же самого графа. Но Василий Черепов мог бы теперь подумать, что он находится среди самых искреннейших друзей и почитателей графа Харитонов-Трофимьева.

Среди этих толков и разговоров появился вдруг парадный «гофмейстер» и объявил, что «кушать подано». Всё общество от закуского стола перешло в обширную залу с двумя эстрадами, на которых во время усладовских пиршеств присутствовали обыкновенно домашний оркестр и домашняя «опера» Прохора Поплюева. Они и теперь помещались на своих местах, в ожидании выхода гостей к обеду. На одной эстраде капельмейстер внимательно пялил глаза на дверь, боясь, как бы не пропустить момент, в который появится Прохор Михайлович, торжествующий день своего рождения, чтобы встретить его величественным полонезом, сочинённым «нарочито

для сего торжественного случая», а на другой эстраде регент-семинарист, даровитый пьяница и поэт, из бывших архиерейских певчих, всё прислушивался к своему камертону, готовя себя и свой оперный хор к той минуте, когда будут подняты бокалы «за здоровье высокопочтенного рожденника», чтобы грянуть ему кантату, тоже «нарочито для сего случая скомпонованную». Певцы были разодеты в алые суконные кафтаны с позументами, кистями и вылетами, какие и до сего дня можно видеть на казённых церковных певчих, а певицы красовались в венках из фальшивых роз и в белых кашемировых туниках греческого покроя. Стол был сервирован роскошно. Посредине его возвышалась скала, сделанная из обсахаренного торта, на скале между сахарными цветами и ёлками ютилась сахарная хижина, около которой сидел сахарный пастушок с пастушкой и паслись сахарные барашки. В одном месте этой скалы помещалась особо приспособленная серебряная лохань, наполненная белым вином, что должно было изображать озеро, среди которого бил фонтанчик, орошая своими брызга-

ми пару плавающих сахарных лебедей. Одним словом, в отделке этой скалы поплюевский «кухмейстер» проявил верх своего кондитерского искусства и изобретательности.

— Отец архимандрит, ты как полагаешь, пристойно ли греметь полонезу в рассуждении толико горестного события? — отнёсся хозяин к своему почтенному гостю, ещё не вступая в столовую залу.

Архимандрит нашёл, что звуки музыки, коли они будут в светском, «аллегретном» характере, то лучше их удалить, как вовсе неподходящие; но если вокальный хор будет воспевать какие-либо кантаты строгого или маэстозного характера, то сие отнюдь не возбранно. Поплюевский майор, выслушав на ухо секретное распоряжение об этом, тотчас же полетел в столовую предупредить и регента, и капельмейстера, что как полонез, так и всеобщее «аллегретное» отменяется, чем несказанно огорчил обоих композиторов, которые совсем уже было приготовились блеснуть на славу и удивление своими талантами.

Гости сели за стол без музыки. Но здесь по-

что в самом начале обеда неожиданно-негаданно для всех случилось обстоятельство несколько исключительного рода: сам хозяин оказался вдруг пьян. Как и когда успел он, по выражению архимандрита, «уготовать» себя — это для всех осталось непостижимой тайной.

— Проща!.. Эх тебя!.. С чего это ты, скажи, пожалуй? С горя аль с радости? — спрашивали его приятели.

— И с того, и с другого! — заплетаясь языком, меланхолически бормотал Поплюев.

— А что, Амфитрион-то[18] наш холост иль женат? — тихо спросил Черепов у своего соседа, заметив полное отсутствие за столом дамского общества.

— Вдовый, — отвечал тот, — и к тому ж бездетен. Да и на что ему вдругорядь жениться, — продолжал он, — коли у него, как у шаха персиянского, — вон, видишь, сударь, — целый гарем: и балет, и опера... Затейник он! Несмотря, что с виду тихоня, а большой затейник!

Невзирая, однако, на нетрезвое состояние хозяина, который в тихой полудремоте слегка

покачивался на своём месте, обед шёл своим чередом, по чину и порядку, благодаря зоркому глазу строгого майора. Для светских людей подавали скромное, а для духовенства и для желающих — постные блюда, и каждое блюдо появлялось не иначе как изукрашенное разными штуками. Вокруг громадных осетров, например, красовался веночек разнообразных цветов, которые были выделаны из свёклы, репы, моркови и картофеля; жареный барашек предстал целиком, с золотыми рожками, в бархатной зелени кресс-салата, что должно было изображать вокруг него зелёную лужайку; жареные гуси, индейки и куры явились в украшениях из страусовых и павлиньих перьев — и всё это было настряпано в громадных размерах, в поражающем изобилии. О винах и напитках нечего и говорить, кроме «ординарных столовых», которые стояли перед каждым «кувертом», гофмейстер после каждого блюда обходил всех гостей и потчевал их ещё особыми, тонкими, редкими винами. Всё это в совокупности, конечно, должно было производить на головы гостей надлежащее действие, так что к концу обеда лица

уже рдели, и речи становились всё громче и непринуждённее.

Вдруг хозяин, безгласно дремавший и до тоста, и после тоста за его здоровье, как бы очнулся, откинулся на спинку своего кресла и крикнул:

— Гей!.. балет!.. жарь лезгинку!.. карабинеров сюда!.. вали развесёлую! «Варварушку-сударушку»... Утешай! С бубнами, с ложками! Ж-ж-жа!..

Архимандрит, как самый почтенный гость, сидевший рядом с Поплюевым на первом месте, дружески и солидным тоном стал урезонивать его, говоря, что таковое-де буйственное веселие вовсе неприлично, что сам же он пред обедом испрашивал дружеского совета насчёт аллегретной музыки, что надо-де вспомнить, каковы суть ныне события, и прочее.

Проخور уставился на него посоловелыми глазами.

— Как?! Что?! — закричал он, стукнув кулаком по столу. — Кто смеет запретить мне?.. Кто здесь хозяин, ты али я? Отвечай!.. Отвечай, кто хозяин?! Я тебя уважаю — ты меня

уважай!

— Не дури, Прохор! Ей, говорю, не дури, а то обижусь! — дружески грозил ему архимандрит.

— Лезгинку желаю!.. Как пляшут-то, бес-
тии! Как пляшут! Дрожит ведь вся!.. Ты погля-
ди — душа выпрыгнет!.. Право!

— Невместно сие, подумай, пьянственный
твой образ!

— Не перечь! Желаю!

— Ну, в таком разе мне и братьям не подо-
бает уже здесь соприсутствовать.

И архимандрит обиженно встал из-за сто-
ла, кивнув за собой обоим монахам.

Поплюев тоже поднялся вслед за ними.
Качнувшись раза два, он подступил к архи-
мандриту:

— Батя!.. а, батя!.. Уважь!.. Прошу тебя,
останься!

— Уважу коли дурость бросишь, а то про-
щай, брат!

— Н-нет, ты без кондиций... ты просто
останься...

— Невозможно... Окаянный ты, говорю —
невозможно!

— Не хочешь? — решительно подступил к нему Поплюев, ухватясь за широкий рукав его бархатной рясы.

— Не могу! — развёл тот руками.

— Вдругорядь пытаю: не хочешь?

— Ни сану, ни обстоятельствам не подобает.

— Эй, батя, в последний раз говорю: останься... Не хочешь?

Монах отрицательно покачал головой.

— Собак! Ату его! — неистово крикнул Поплюев, норовя схватить архимандрита за ворот, но потерял равновесие и грузно бухнулся на пол.

Гости переполошились. Кто кинулся к монахам, кто к хозяину — одни с желанием потешиться неожиданным «шпектаклем», другие с целью помешать дальнейшему «шкандалу», который становился чересчур уже непристойным. К счастью, распорядительный майор с несколькими гостями успели подхватить с полу барахтавшегося Поплюева и унесли его из залы. Воспользовавшись этой минутой, архимандрит тотчас же уехал вместе с монахами.

— Батюшки!.. Что я наделал!.. Ах, злосчастный! Чего натворил! — убивался и плакал Плюев не далее как через полтора часа после разыгравшейся сцены, когда пришёл в себя и узнал, что обиженный архимандрит уехал из усадьбы. — Отца духовного... батю... Шуткали!.. ведь он мне духовный отец, а я его... Боже мой, Боже!.. Ведь мне за это ни в сей, ни в будущей жизни... Духовную персону оскорбил... И кто смел его выпустить?.. Уехал!.. Что ж теперь?

И он поник на минуту в отчаянном раздумье.

— Ну, ништо! Дело житейское, — уговорили его приятели. — Поедешь завтра к нему, прощения попросишь, и помиритесь.

— Завтра?.. А коли я помру до завтра?.. Тогда-то как?.. Ведь ни в сей, ни в будущей, поймите это!.. Гей! Майор! Чёртова перечница! — вскочил он с места. — Бей тревогу! Запрягать лошадей!.. Да живо у меня!.. В монастырь еду!.. В сей час! В сию минуту! Почтенные гости все со мной! Прошу!.. Все будьте свидетелями моего покаяния!.. Все!

Иные согласились на это приглашение с

величайшей охотой, а некоторые, в том числе и Черепов, стали отговариваться под разными предложениями и просили уволить их от этой поездки.

— Нет, друзья мои!.. Нет! Не могу! — бил себя в грудь Поплюев. — Гей! Майор! Запрягать под всех только моих лошадей и в мои экипажи! Чужие все распрячь и без моего позволения не выпускать из сараев! Понимаешь?.. А вас, господин гвардии корнет, прошу в особенности! — искренно и усердно кланялся он Черепову. — Не покидайте меня!.. Пожалуйста, поезжайте со мной! Окажите истинно дружеское ваше расположение и внимание!.. Мне без вас невозможно.

— Да на что я вам, однако? Чем могу быть пригоден? — с невольной улыбкой пожал плечами Черепов.

— Ах, нет, не говорите!.. Вы мне великую пользу оказать можете! Вы человек корпусо-кадетский и учтивый, вы гвардии офицер, — он, батя-то мой, ведь он меня не послушает... Упросите его за меня... Он из респекта к вам сие сделает с охотным сердцем!.. По христианству прошу!.. Ведь ни в сей, ни в бу-

дущей!..

— Ну ладно! Ин, быть так! — смеясь, согласился Черепов, которому после обеда, обильного столькими возлияниями, стало казаться, что в сущности решительно всё равно, куда ни ехать и где ни быть сегодня, а что в своё именице и завтра проехать успеет.

— О, благодетель!.. Вот люблю! Уважаю! — с горячей благодарностью кинулся Поплюев, пожимая ему руки. — Гей, майор! Вина сюды! Хочу пить тост за господина гвардии корнета! И пуцай при этом валяют из всех фальконе-тов! Салют в честь дорогого гостя и друга!.. Живо!.. Да вот что ещё, — приказал он, остановив в дверях своего майора, — захвати-ка походный погребец и подарки для отца архимандрита: двух жеребцов упряжных с моей конюшни, коляску, ту, что ему понравилась, четыре ковра... Мало? Пятый давай! Да ещё салфеточных и скатертных полотен дюжину с нашей фабрики... А для братии бочку мёда кати! Всё взять с собой! Да гляди ж ты, живей!

Не прошло и часу, как майор доложил, что всё уже готово и экипажи ждут у подъезда. Прохор Поплюев уселся в свою парадную рас-

писную карету вместе с Череповым и двумя дворянами, остальные разместились по разным экипажам и под эскортом конных карабинеров да гусар длинным поездом выехали из усадьбы. Впереди всех красовался всё тот же майор на горбоносом дончаке, а за ним восемь карабинеров, по четыре в шеренгу, которые с бубнами и тарелками отхватывали любимую поплюевскую песню:

*Варварушка!
Сударушка!
Не гневайся на меня,
Что я не был у тебя.*

Остальные эскортёры ехали, по два, по бокам каждого экипажа и время от времени падали из пистолетов, отчего упряжные лошади нередко закидывались в стороны — обстоятельство, доставлявшее немалую потеху всем вообще путникам. Для этой-то потехи, собственно, и производилась пальба. В заключение кортежа четыре конюха вели под уздцы двух подарочных жеребцов, затем ехала подарочная коляска и, наконец, две подводы, из которых одна нагружена была тоже разными подарками, а другая вмещала в себя по-

ходный погребец, запас вин и закусок да ещё бочку мёда для монастырской братии.

Софрониевский монастырь, где игуменствовал отец архимандрит Палладий, столь обиженный Прошкой Поплюевым, отстоял вёрст на восемь от усладовской усадьбы. Торжественное покаянное «шествование» усладовского барина подвигалось вперёд не особенно спешно, так как ехали большей частью шагом. Путники наши не добрались ещё и до половины дороги, как настал уже вечер. Карабинеры позажигали смоляные факелы, а в передовом отряде время от времени жгли фальшфейеры и пускали ракеты. К счастью кающегося грешника, поезд его успел добраться до монастыря как раз в то самое время, когда привратник совсем уж было собирался замыкать на ночь святые ворота. Звуки «Варварушки-сударушки» и пистолетные выстрелы, конечно, смолкли ещё по крайней мере за версту от обители, так что торжественный поезд вступил на монастырский двор в полном молчании, которое время от времени нарушалось только шипением взвивавшихся ракет да распеканиями строгого майора.

Парадная карета Поплюева остановилась против домика, занимаемого отцом Палладием, и монастырский двор, словно заревом, озарился весь багровым светом пылающих факелов. Между монашествующей братией поднялся переполох необычайный. Кто в чём попало, выскакивали монахи из келий, не понимая, что бы могло значить внезапное появление в их мирной обители какого-то странного кортежа с вооружённым эскортом, факелами и ракетами. Иные в смятении думали, что уж не горят ли где монастырские строения, другие же опасались, что к ним нагрянуло нашествие иноплеменных, а кто и просто-напросто слёзно вопил, что это-де второе пришествие настало.

Игуменский служка выбежал на площадку узнать, в чём дело и что за смятение такое в обители.

Майор сейчас же объяснил ему, что приехал-де сам Прохор Михайлович Поплюев вымаливать у отца архимандрита пастырского прощения за свой великий грех и привёз-де с собой такие-то и такие-то подарки для «его высокоблагословенства».

Обстоятельно выслушав это, служка юркнул в дверь игуменской кельи и минут через пять возвратился с объявлением, что отец архимандрит гневаются и ни за что не желают принять господина Поплюева.

Тогда огорчённый Прошка вылез из кареты, кинул наземь шапку и опустился среди двора на колени.

— Отче! Согреших на небо и пред тобою! — воздев кверху растопыренные руки, искренно вопиял он в полный голос, с самым жалостным видом, и все свои слёзные вопли сопровождал земными поклонами. Это покаяние длилось минут десять по крайней мере, пока наконец в одном из архимандритских покоев раскрылась форточка, и в ней появилась торжествующая физиономия отца Палладия.

— Ага, сударик, пожаловать изволил! — заметил он кающемся.

— Батя!.. Прости!.. Разреши, голубчик!.. Согреших, окаянный! — взывал, кланяясь, Прошка.

— То-то, «согреших»!.. А давеча что?! Проси, паршивая овца в стаде Христовом! Проси! Говори: «Сотвори мя яко единого от наёмник

ТВОИХ».

— Сотвори мя яко единого от наёмник твоих! — жалостно повторил за ним Прошка, воздевая руки.

— А собаками будешь травить?

— Пьян был, батя! Ей-же-ей, пьян!.. Всё горячесть моя виной!.. А ты меня жупелом за это... Позволяю!.. Хоть канчуками[19] валяй — слова не скажу! Только разреши ж ты меня!

— То-то, «канчуками»!.. Ну, да уж так и быть! Грядо семо, сын геенны! Бог с тобой! А я уж было и прошение настрочил на тебя! Все пункты намаркировал!.. Да уж и такое ж прошение-то! Не жить, да и только!.. Ну, да Господь с тобой, коли просишь и каешься... Я не памятозлобен. Ступай сюда, и с честной компанией, — гостями будете.

Было уже далеко за полночь, когда поплюевский кортеж двинулся в обратный путь. Но уж стреляли ль на этом пути из пистолетов, жгли ль фальшфейеры, пели ль «Варварушку», пускали ль ракеты, того ни Черепов, ни Поплюев, ни кто-либо из гостей его уже решительно не мог себе припомнить, а на следующий день, едва только после полудня, Чере-

пов успел выбраться в свою усадьбу из гостеприимной «Усладушки».

VII

Перемена декорации

Ознакомясь кое-как в течение одних суток со своим новым хозяйством, Черепов возвратился в Любимку, где к этому времени граф Харитонов-Трофимьев совсем уже изготовился к отъезду. Но Любимка, этот забытый, одинокий и всеми обгаемый уголок, была теперь неузнаваема. Взглянув на то обилие экипажей, кучеров и выездных гусаров, которое застал Черепов во дворе усадьбы, можно бы было подумать, что граф Илия задаёт пир на весь мир и что к нему со всех сторон съехались многочисленные друзья и приятели. Это действительно так и было, хотя никакого пира он не задавал и никаких друзей не рассчитывал у себя видеть, по той весьма простой причине, что таковых он не имел между окрестными дворянами. Тем не менее эти-то самые окрестные дворяне и наполняли теперь скромные приёмные покои графа Ха-

ритонова-Трофимьева. Тут застал Черепов и отца архимандрита, и двух соборных протопопов, бронницкого и коломенского, равно как и двух исправников и двух предводителей дворянства тех же уездов, и многих из тех дворян, с которыми третьего дня экспромтом пировал он у Прохора Поплюева. Даже и сам Прохор, окончательно «истрезвившийся», раздушенный, припомаженный и напудренный, предстоял тут наряду с другими и, по обыкновению, добродушно улыбался своей кисловато-бабьей улыбкой. Все эти гости присутствовали здесь либо в форменных мундирах, либо в самых нарядных своих кафтанах. Черепов не знал, чему и приписать столь блистательное стечение всей этой публики — мужчин и дам, юношей и старцев, но недоумение его разрешилось очень скоро, когда Прохор Поплюев объяснил ему, что весть о «случае» графа с замечательной быстротой успела распространиться в ближнем и дальнем околотках ещё третьего дня и что «все сии дворяне и чиновные особы» поспешили теперь явиться в Любимку не за чем иным, как «единственно токмо в рассуждении ре-

спекта и поздравления графа с толикой монаршей милостью».

— Да ведь они же его знать не хотели?! — с невольной улыбкой оглядывая всю эту компанию, вполголоса заметил Прохору Черепов.

— То было одно время, ноне другое, — отвечал тот, потупясь, — то был человек в забвении, ныне стал в силе: кому чинишко, кому крестишко исхлопочет, кому детишек в кадетский корпус на казённое иждивение определит, о ком в Сенате по тяжбе слово замолвит, — всё это, государь мой, надлежит принимать в тонкое соображение; надо вперёд человека задобрить, чтобы он свой-то стал.

— И что ж, — спросил Черепов, — все эти господа мнят себе, что граф не сообразит или не догадается о том, каковыя побуждения руководствуют ими в сём пресмыкании?

— И, полно! Чего там! — махнул рукой Прохор. — Все мы это отменно понимаем, но уж на том жизнь стоит. Да вот хотя бы я, к примеру, — продолжал он, ещё более понизив голос, — ныне богат я, банкеты задаю, фестивалы торжествую, и все ко мне на поклон

стекаются, а прогори я — ну-ка! — да ни единой души во веки веков не залучишь! Обегать будут, узнавать не станут! И я это хорошо понимаю, но что ж поделаешь? Такова уж, сударь, философия нашего века.

Но как постигались спины, как закивали головы, какие улыбки заиграли на лицах, какие приветствия полились из уст всех этих дворян, иереев и чиновников, когда граф Харитонов-Трофимьев, в траурном простом кафтане без всяких украшений, появился между своими гостями! Ни один мускул не дрогнул на его спокойном лице, которое и теперь, как всегда, хранило печать строгой простоты, самодостоинства. Он не показал всем этим господам ни своего торжества над ними, ни тени кичливости счастливой переменой своей судьбы, равно как не выказал перед ними и особой угодливости. Он, как и Прохор Поплюев, понимал, что «такова уж философия нашего века», и потому несколько не удивился появлению этих практических «философов» в своей тесной гостиной, даже нимало не возмущился в душе переменой их поведения в отношении к самому себе: «Всё сие так есть и

всему тому так и быть надлежало». Эту мысль можно было прочесть в его глазах, когда он молча, спокойно и вежливо выслушивал льстивые поздравления, пожелания и изъявления радости, преданности и тому подобно-го.

— Уж позвольте нам, ваше сиятельство, — подобострастно говорили ему соседи и чиновники, — уж позвольте быть в надежде, что вы, при таковой близости к трону, не забудьте иногда своими милостями и нас, маленьких людей!.. Ведь мы с вами, так сказать, свои, все сограждане, все земляки, одноокружники, все коломенские, соседи-с! Уж мы за вами как за столпом гранитным; вы наш якобы природный защитник и покровитель... И ежели когда в случае чего, то уж позвольте надеяться!

— Господа, — отвечал им граф, — ежели государю императору благоугодно будет доверить мне какую-либо отрасль в управлении, то не токмо что землякам и соседям, но и каждому человеку, кто бы он ни был, я всегда окажу всякое доброе содействие, коли то не противно будет истине и справедливости.

Всяк, кто знает меня, знает и то, что это не пустое с моей стороны слово.

— Может, ваше сиятельство, в прошедшем ежели изволили иметь какой-либо повод к неудовольствию против кого-либо из нас, — начал было коломенский исправник, — то поверьте, как пред истинным...

— Оставьте, — перебил его граф, — пренебрегите сим и не мыслите более такового. Кто старое помянет, тому глаз вон, — прибавил он с улыбкой и переменял тему разговора.

Ласково и даже дружески обратился он к Черепову, расспрашивал, хорошо ли ему съездило в своё именье, каково нашёл местность, дом, усадьбу и всё хозяйство, каково мужики его встретили.

— А вот я, сударь, — сообщил ему граф, — даже днём ранее данного мне срока совершенно уже изготовился к отъезду.

— Итак, стало быть, когда же вам угодно отъехать? — спросил Черепов.

— Да ежели вам то не вопреки, то думал бы даже сегодня; препятств ни с моей, ни с дочерней стороны никаких к тому нет.

— А я и тем паче, со всей моей охотой, —

поклонился ему гвардеец.

После наскоро изготовленного завтрака, к которому радушно были приглашены все понаехавшие неожиданные гости, граф с дочерью отслушали напутственный молебен, отслуженный причтом его сельской церкви, и стал прощаться с дворовыми. Эти люди, с которыми он неразлучно прожил столько лет в своём уединении, казались искренно тронутыми: и граф, и его дочь не раз почувствовали на своих руках горячие капли слёз, когда они подходили прощаться. На дворе ожидала большая толпа крестьян — мужики и бабы, от мала до велика — всё население любимковского села; даже убогая слепая старуха — и та притащилась с клюкой «проститься со своими боярскими». Впереди этой толпы, окружённой всеми любимковскими стариками, стоял староста и держал на блюде, покрытом узорчатым полотенцем, большой пшеничный каравай — «хлеб-соль» от крестьян на счастливую дорогу. Граф уже на крыльце перецеловался, по обычаю, со всеми стариками, снял шапку остальной толпе, откланялся ещё раз своим гостям и уселся с дочерью в широкий

дормез[20], запряжённый целой шестёркой откормленных и весёлых коняшек. Целый обоз тронулся вслед за графским дормезом: тут были и кибитки с ближайшей прислугой, которая «при господах» отправлялась в Петербург, и несколько саней с тюками, сундуками и чемоданами, со всевозможной поклажей, с домашней рухлядью и съестными запасами. Кроме того, поезд этот увеличивался ещё экипажами понаехавших гостей, которые со всеусердием пустились провожать «новослучайного вельможу» до первой станции, а местные власти простёрли своё усердие даже до того, что проводили его до самой границы коломенской округи и никак не хотели удалиться от него ранее сей черты, несмотря на то, что граф несколько раз просил их не беспокоиться ради него понапрасну.

VIII

По дороге

В Москву приехали под вечер и остановились в Басманной в большом, но запущенном доме, принадлежавшем графу Илие. Здесь уже всё было готово к приёму, так как граф ещё заблаговременно отправил сюда нарочного с извещением о своём предстоящем приезде. Холодные комнаты были вытоплены, прибраны и освещены, когда графский дормез подкатил к крыльцу, украшенному двумя гранитными львами. Прислуга, на попечении которой постоянно оставались покинутые хоромы, встретила наших путников в сенях, облачённая в свои давно уже не надёванные ливреи, со знаками всего почтения, какое подобало в настоящем случае по старинному этикету.

Черепов, не желая стеснять собой, хотел было стать по соседству на одном из ближайших «подворий», но граф, узнав о его намерении, отнюдь не допустил этого.

— Чтой-то сударь, помилуй! — говорил он

ему с дружеской укоризной, — комнат, что ли, нету?! Всё уже заранее для тебя приутовлено, целый апартамент особый; да это и мне-то, старику, в стыд бы было, коли б я от своего дома да пустил тебя по подворским номерам притыкаться.

Намереваясь завтрашним утром пораньше тронуться в дальнейший путь, граф переделся в свой мундир и, несмотря на вечернюю пору, поехал представляться к своему бывшему знакомому, престарелому генералу Измайлову, который в то время «главнокомандовал над Москвой». Экстренность случая могла служить достаточным объяснением экстренности вечернего визита.

Москва уже знала о смерти Екатерины и спешила по всем приходским церквам присягать новому императору.

Старик Измайлов, до которого тоже успела дойти быстролётная молва «об особливом случае графа Харитонова», встретил его самым дружеским образом. Он добродушно рассказал, в какой испуг был приведён вчера вечером, когда к нему во двор нагрянул вдруг целый отряд кавалергардов из Петербурга; ду-

мал было, что уж не брать ли его приехали под арест да в крепость, «ан оказалось, что кавалергарды присланы от „печальной комиссии“ за государственными регалиями, хранимыми в Москве; кои теперь потребны в процессию к погребальной почести и отправлены нынешним утром по назначению». Рассказал также старик и о том, что носят тревожные слухи о многих реформах, затеваемых императором, что он повелел освободить из заточения известного Москве Новикова, князя Трубецкого[21] и всех мартинистов и «франкмасонов», предписывал возвратить из Сибири Радищева[22], сам посетил в Петропавловском каземате «главного польского бунтовщика» Фаддея Костюшку[23] и сам освободил его при этом, «а господину Московского университета куратору Хераскову, яко старейшему из наших стихотворцев и славнейшему пииту, пожаловал чин тайного советника» и что вообще, по слухам, везде и по всему большие перемены воспоследуют. Добродушный старик хотя и подхвалял при своём рассказе и то, и другое, но всё-таки было заметно, что перемены тревожат его втай-

не и что, пожалуй, по-старому всё было бы и лучше, и покойнее.

Часа три, по крайней мере, продержал Измайлов у себя графа Харитонова, беседуя с ним наедине в своём кабинете о разных «политических материях, нарочито важных по текущему времени», а «графинюшка Лизутка» в ожидании отца сидела пока в гостиной со своей старой нянькой. С дороги ли, с морозу или с чего другого свежие щёки её рдели ярким румянцем и глаза играли несколько лихорадочным блеском. Во всех движениях девушки порой проявлялось нечто нетерпеливое и порывистое: то она задумывалась о чём-то и становилась рассеянной или чересчур уж сосредоточенной, то вдруг вдавалась в совершенно безграничную весёлость и начинала тормошить Федосеевну, покрывая со смехом всё лицо её своими быстрыми поцелуями, то принималась торопливо ходить по комнате, как бы ожидая кого-то, но, не дождавшись, кидалась вдруг в кресло и, запрокинувшись на подушку, снова погружалась в тихое и мечтательное раздумье.

— Мамушка, а что я тебе скажу... Ты не

рассердишься? — подняв с подушки головку, обратилась она вдруг к няньке после глубокого молчания и покоя, длившегося несколько минут без перерыва.

— Что мне сердиться? — ответила та, перебирая свои чулочные спицы.

— Мне бы хотелось... Нет, да ты не рассердишься?

— Да ну тебя, графинюшка! Чего ты и всамделе.

— Как бы, мамушка, поглядеть, что офицерик наш делает! — отчасти со смущённой улыбкой, отчасти же наивно, но, во всяком случае, не без девичьего лукавства проговорила Лиза.

— Кто-о? офицерик? — удивлённо подняла на неё Федосеевна свои взоры. — Тебе-то что до него?

— Ах, мамушка, он мне очень нравится... Такой красивый, право, да бравый такой!

— Ну да, болтай ещё!.. Чему в ем нравится? Мужчина как мужчина, таков же, как и все, с руками, с ногами, костяной да жильный.

— Ан не таков!.. Я таких-то ещё и не види-

вала, коли ты знать хотела! — задорно и весело поддразнила её Лиза.

— Увидишь и лучше, ништо тебе! Время-то будет ещё, — зевая и крестя рот, апатично заметила старуха.

— Да я теперь хочу его видетьь.

— Мало ль чего нет!.. Ишь ты!

— Мамушка! голубушка! — вскочила вдруг Лиза с кресла и ласково бросилась к няньке. — Ужасно скучно мне... Просто такая скука, что одурь берёт... С чего, и сама не ведаю... Знаешь что... Сходи-ка ты да погляди, что он делает, и коли ничего не делает, то позови сюда его...

— Что ты, что ты, шалая!.. Христос с тобой! Вот выдумщица-то! — замахала на неё нянька своими спицами.

— Не хочешь?.. Ну, так я и сама пойду! — бойко и решительно отклонилась от неё девушка.

— Лизутка!.. Ей-богу, графу скажу, — пригрозила Федосеевна. — Погоди, ужотко будет тебе, как приедет...

— Да что ж тут дурного-то?.. Мамушка! Подумай! Ведь мне со скуки только поболтать

охота.

— Ну и болтай, коли хочется.

— С кем это? С тобой, что ли?

— Ну, и со мной болтай.

— Ах, мамушка, да уж мы с тобой-то всё ведь выболтали, всё до чуточки...

— Ну, коли всё, начинай сначала.

— Чего это? Болтать-то сначала? Да ведь с тобой скучно!

— Ну и поскучай маленько.

— Поскучай! Так-то ты меня любишь?! — с укором положила Лиза руки на плечи старухи.

— Ну, чего пристала, графинюшка? — начала та оправдываться. — Ну, коли хочешь знать, так его и дома-то нетути, офицера этого; ещё давеча на почтовый двор поскакал закатать, чтобы наутро под графа лошади с Ямской были, да и вперёд-то по дороге надоть кулъера спосылать ему, чтобы там на всех станках под наш вояж подставы готовились. Мало ли ему делов да хлопот-то! Он ведь не до вашего сиятельства, а по царскому приказу действует! Есть, вишь, ему время с тобой тут турецкие разводы разводить! Как же! До-

ждидайся!

Лиза надула губки и, по-видимому, успокоилась. Но не прошло и пяти минут, как из смежной залы в открытую дверь послышались быстрые шаги, сопровождаемые звуком шпор. Графиня Лиза вздрогнула и чутко насторожила уши.

В открытой двери показался Черепов. Не ожидая встретить тут девушку, он на минуту невольно замедлился в проходе в гостиную в нерешимости, идти ли далее, вернуться ли назад.

— Войдите, сударь, — предупредительно пригласила его Лиза. — Вам, верно, батюшку надо?

— Да, я хотел доложить графу, что у меня всё уже распоряджено и готово на завтра к отъезду, — сообщил Черепов.

— Он ещё не вернулся... Коли угодно, то подождите его здесь, посидите с нами, буде то вам не в скуку.

Старая Федосеевна только взгляд один кинула на свою воспитанницу, удивляясь её бойкости. «Ишь ты, стрекоза! И откуда что вдруг взялося!» — ясно говорило выражение

её лица, которому в эту минуту она старалась придать нечто строгое и недовольное.

Черепов не заставил повторять себе любезного приглашения и свободно вошёл в гостиную, где «был прошен садиться», вследствие чего и поместился на золочёном стуле в достодолжном и почтительном расстоянии от молодой хозяйки. Завязался разговор. Лизу очень интересовал Питер и его быт: как там живут и что делают, и какие там дома, какие улицы, — такие ль, как в Москве, или лучше, красивее? — что это там за «двор», балы, куртаги, феатры, маскарады, эрмитаж, гвардия, министры? какие там светские дамы и девицы, и что у них за наряды, что за моды? Всё это, доселе ещё не виданное и почти не слышанное ею в сельской глуши, представлялось её воображению чем-то блистательным, почти сказочным, всё это манило её своим радужным блеском и в то же время как будто пугало её душу. Черепов охотно отвечал на все расспросы девушки и, с удовольствием любуясь на её красивое, оживлённое личико, рассказывал как умел всё, что знал об интересовавших её предметах. И Лиза слушала его с

жадным интересом и думала про себя о Черепове: «Какой он, в самом деле, добрый и хороший и как он всё это любопытно и занимательно рассказывает!» Даже нянька Федосеевна и та заслушалась его рассказов, хотя и не переставала по временам кидать на него из-за своих спиц недоверчивые взгляды. Часа через два, когда вернулся от Измайлова граф Илия, подан был ранний ужин, после которого все разошлись на покой, ввиду завтрашнего раннего отъезда.

По дороге в Петербург, проезжая деревнями и сёлами, путники наши нередко встречали на сельских улицах и площадях, перед церквями, толпы крестьян, которые то шли к присяге, то возвращались от неё, то собирали промеж себя свои мирские сходки и толковали о смерти царицы да о «переменах», про что и до них уже успели дойти кое-какие слухи и вести. Сказывали между крестьянами, что отныне уже не будет новых рекрутских наборов и даже последний набор приказано-де распустить по домам, потому что новый царь не хочет никакой войны, не желает для себя никаких приобретений, а намерен бе-

речь своих людей и соблюдать своё государство; толковали также, что хлеб будет дешевле прежнего[24], что раскольников не станут гнать и дозволят им открыто отправлять все свои духовные обряды и требы и что крепостным людям в скором времени «полная воля выйдет», что царь очень доступен всем и каждому, что кто хочет, тот и волен идти прямо к нему с прошением о своих нуждах, о притеснениях ли от господ и начальства, и что царь кладёт на все такие прошения суд скорый и строгий: «Коли начальство аль господин виноват, сразу взыщет и на лицо не посмотрит, а коли челобитчик неправо просит, то берегись: за сутяжество худо будет». Все эти вести и новости разлетелись в народе с необычайной быстротой через тех проезжих курьеров из Петербурга в Москву и иные города, которые никогда ещё доселе не ездили по России в таком количестве и так быстро, как в эти первые дни воцарения императора Павла. Московско-петербургский почтовый тракт по преимуществу был поприщем этих курьеров, едва лишь на несколько минут делавших остановки на почтовых станциях для переме-

ны лошадей, где каждого такого гонца старались принять как можно ласковее и угостить чем ни есть получше, лишь бы только выведать от него какую-нибудь петербургскую новость. В этом отношении в особенности старались станционные смотрители, сельские старосты и бурмистры, попутные помещики, деревенское духовенство и земские заседатели. Нередко и толпы крестьян осаждали станционные дома в ожидании курьерских новостей, которые с Московского тракта разносились молвой всё далее и далее, в заповедные глубины русских весей и дебрей. Этим курьерам в глазах народа в особенности придавало значение то, что их подорожные были подписаны самим наследником престола, великим князем Александром Павловичем[25].

На другой день своей дороги наши путники обогнали оригинальный поезд. Графиня Лиза в особенности заинтересовалась никогда ещё не виданным ею зрелищем и долго глядела на него, высунувшись из каретного окошка. По дороге шла шагом на статных, породистых конях толпа блестящих всадников, в стальных доспехах, в сияющих шлемах со

страусовыми перьями, в красивых кирасах и налокотниках, с обнажёнными палашами в руках, а среди этой толпы, которая казалась Лизе кавалькадой древних рыцарей, ехали пышно убранные дроги, где стоял длинный ящик, обитый драгоценной парчой. В нём были заключены государственные регалии, которые под эскортом кавалергардов перевозились теперь в Петербург для погребальной церемонии. Этих-то самих кавалергардов и испугался в Москве престарелый Измайлов, когда они неожиданно нагрянули к нему в дом чуть ли не целым эскадроном.

В течение этого путешествия Василий Черепов иногда целые станции ехал в одной карете вместе с графом и Лизой. Когда, бывало, графу станет скучно глядеть по дороге на однообразные, покрытые снегом равнины и перелески, а между тем ни дремать, ни читать не хочется, он останавливал экипаж и приказывал подбегавшему Аникеичу достать обыкновенно дорожную флягу венгерского вина да каких-нибудь лакомств и звать «господина гвардии корнета»: «Не угодно ли, мол, позабавиться различными лакомствами от дорож-

ной докуки?»

Гвардии корнет, зная, что увидит ещё один лишний разок хорошенькие глазки и светлую улыбку «графинюшки», обыкновенно с большой охотой принимал эти приглашения, выскакивал из своего возка и подходил к раскрытому окошку дормеза, благодаря графа за его любезное к нему внимание.

Здесь он по большей части получал приглашение пересесть, не стесняясь, в графский экипаж, «буде на то есть охота», чтобы поболтать «малую толику» о том о сём пока до станции, и Черепов пересаживался на переднее сиденье, рядом с нянькой Федосеевной. Тут иногда подымался какой-нибудь разговор, граф расспрашивал либо про петербургские порядки прошлого царствования, либо предавался рассуждению разных дорожных слухов о столичных событиях и переменах последних дней, делал различные планы и предположения, что из всего этого может произойти и воспоследовать и какой блеск ожидает в будущем наше счастливое отечество при таком начале царствования нового монарха, либо же наконец переходил к воспоминаниям о

своём прошлом времени, о дворце Елизаветы и Петра III, о жизни, о лицах и отношениях того давнего прошедшего времени. Графиня Лиза, эта единственная и потому балованная дочь опального вельможи, часто вмешивалась в разговоры своего отца и тоже строила свои полудетские радужные планы и предположения о его будущности, не раз вызывавшие на устах старика добрую и задумчивую улыбку. Иногда граф, убаюканный мягким качаньем дормеза, начинал дремать, причём обыкновенно ему вторила и старуха Федосеевна; разговор при этом, конечно, прекращался, и молодые люди, оставленные благодаря дремоте стариков как бы наедине и чувствуя каждый такую близость друг к другу, начинали испытывать в душе то приятное, сладкое, хотя и несколько неловкое смущение, которое всегда посещает в подобных обстоятельствах молодые сердца и является как бы предвестником невольно зарождающегося сближения и чувства. Они молчали, притаив дыхание и даже избегая встречи взорами, но глаза их всё-таки встречались порою, и в это мгновение каждый из них мог прочесть во

взоре другого какую-то внутреннюю пытли- вость, обращённую на него и озарённую свет- лым лучом ожидания и надежды на что-то тёплое и хорошее, что как будто бы ожидает, манит и непременно должно сбыться в их бу- дущем.

Таким образом, в течение пяти суток доро- ги старый граф и его дочь настолько успели привыкнуть к Черепову и сблизиться с ним, что стали считать его как бы совсем своим до- машним человеком, совсем добрым, старым и хорошим знакомым. Граф Илия, привыкший в течение долгих лет своей опалы к жизни «по простоте» и к совершенно простым, непо- средственным отношениям к окружающим его людям, от души полюбил молодого гвар- дейца и просил не забывать его дом и в Пе- тербурге.

— Иди, сударь, ко мне за чем ни понадо- бится; чем богат, тем и рад для тебя буду. Че- ловек ты, вижу, хороший, и мне по нраву пришёл, — сказал он Черепову на последней станции.

Его дочь ничего не промолвила при этом, но зато взглянула на молодого человека та-

ким хорошим взглядом, что нетрудно было угадать и в её глазах не только желание видеть его почаще, но даже как бы приказание и полную уверенность в том, что он непременно должен и будет бывать у них в доме.

Едва графский поезд приблизился к заставе, как пред ним опустился полосатый шлагбаум, и дормез поневоле должен был остановиться ввиду этого неожиданного препятствия. Здесь к экипажному окошку подошёл дежурный унтер-офицер в новой форме по прусскому образцу и осведомился об имени и звании проезжающих.

— Что за остановка? В чём дело? — выпрыгнув из своего возка, крикнул Черепов.

— Позвольте, ваше благородие, чин, имя и фамилию, — доложил ему дежурный. — Надо знать, кто такие проезжающие.

— Да зачем тебе это надо?

— Так приказано. Новый приказ такой вышел, чтобы не пускать ни в Питер, ни из Питера без прописки на заставе. Пожалуйста в караульный дом расписаться в книжке.

Черепов вошёл в караулку и отметил в шнуровой тетради, что такого-то числа, в три

часа пополудни, в столицу въехал по именно-
му государя императора повелению гене-
рал-майор граф Харитонов-Трофимьев с доче-
рью и в сопровождении курьера такого-то.

— Подвысь! — крикнул дежурный часово-
му, стоявшему у заставы, — и полосатый
шлагбаум медленно поднялся пред экипажем
графа.

Караул тотчас же выбежал «вон» на плат-
форму и по уставу отдал въезжающему гене-
ралу достодолжную воинскую почесть, кото-
рую столько уже лет никто нигде не отдавал
опальному графу.

IX

Петербург того времени

Всё великолепие Петербурга в 1796 году сосредоточивалось в очень ограниченном и небольшом пространстве, между Дворцовой набережной, которая известна была под именем «сюрлеке» (*sur le quai*), Луговой, Миллионной, обеими Морскими и Невским проспектом от Полицейского до Аничкина моста. Центр города составляли окрестности Зимнего дворца, но и в этой лучшей части Петербурга высоких, трёх — и четырёхэтажных каменных домов было очень немного. Почти все каменные дома покрывались черепичными кровлями, строились не выше как в два этажа или в один этаж с подвальным жильём, значительно углублённым в землю. Хотя на Морских и Миллионной да на упомянутом пространстве Невского проспекта деревянных построек почти уже вовсе не существовало или же таковые являлись как редкое исключение, но зато во всех прочих улицах каменные здания составляли едва лишь

десятью частью в общем итоге жилых построек; остальные же дома были все деревянные, редко в два этажа, а всё более с мезонинчиком и с палисадником перед окошком.

В настоящее время[26] на Невском проспекте сохранились в прежнем своём виде дом Васильчикова, где помещается «Английский магазин», уже около столетия существующий на одном и том же месте, дом Коссиковского (что ныне Елисеев) у Полицейского моста, тогда ещё новый и принадлежавший князю Куракину, дом графов Строгановых, известный в те времена под именем палаццо (palazzo), дом католической церкви и Гостиный двор. Все же прочие дома теперь либо уже сломаны, либо надстроены, так что от прежнего в них и следа не осталось. На Итальянской улице, против Михайловской площади, на правой стороне стояли частью каменные, частью деревянные постройки, а по левой, во всю длину улицы, тянулся каменный забор, который ограждал собой «дворцовый огород», принадлежавший к Летнему саду. На Литейной и Владимирской, в Конюшенных, в Троицком переулке, в Моховой и

окрест лежащих улицах, равно как в Малой и Средней Мещанских, в Подъяческих, на Вознесенском и Екатерингофском проспектах — каменный дом, принадлежавшей частному лицу, являлся уже редким исключением. Здесь тротуары заменялись деревянными мостками, и мостовые вполне могли назваться убийственными. Части же города, известные и тогда, как теперь, под названием Московской, Рождественской и Коломны, были сплошь обстроены деревянными домами и вовсе не имели мостовой, а Козье болото в Коломне являлось действительно болотом непроходимым, смрадным и покрытым зелёной тиной. Таких болот в тогдашнем Петербурге было несколько: по Лиговке, в Грязной (ныне Николаевская), на Новых местах и за Каретным рядом, где в наши дни возвышается столько громадных и великолепных зданий. Васильевский остров по набережной Большой Невы сохранился и поныне почти в тогдашнем виде; но во всех остальных частях, за исключением Первой и Кадетской линий, он весь напоминал те окраины своих отдалённых линий за Малым проспектом, какие

недавно ещё можно было видеть в окрестностях Чекуш и Смоленского кладбища. Что же касается Песков, Петербургской и Выборгской сторон, то их лучшие улицы напоминали самые плохие уездные городишки, а Ямская представлялась настоящей деревней. Каменных церквей в городе было очень немного, и великолепными могли назваться только Александро-Невская лавра да собор Смольного монастыря. Казанский же собор был ещё деревянным низким строением, выкрашенным жёлтой краской, с высокой деревянной колокольней. Собор Исаакиевский, далеко ещё не достроенный, представлял собой какую-то мрачную массу, без всякой архитектуры. Адмиралтейский шпиг со своим кораблем хотя и существовал, но башню его ещё не окружали колонны и статуи, да и само здание Адмиралтейства было низко, неоштукатурено и, не вмещая в себе никакого жилья, служило единственно складочным местом для кораблестроительных материалов. Водяной ров и прямолинейные земляные валы с трёх сторон окружали это здание там, где теперь красуется бульвар Адмиралтейский. На месте

нынешнего Инженерного замка стоял ещё окружённый липами Летнего сада деревянный «Летний дворец» императрицы Елизаветы Петровны[27]. Александрийский театр, известный тогда под именем Малого, представлял собой низкое и безобразное здание вроде сарая, без всякой архитектуры, а Большой театр, гораздо ниже нынешнего и не украшенный ещё портиком, тоже походил скорее на складочный казённый магазин, чем на храм искусства.

Дворцовую площадь окружали дома частных владельцев, между которыми отличался дом Кушелева, построенный полукругом, на месте нынешнего главного штаба. Арка тогда ещё не существовала. Этот дом являлся для Петербурга своего рода Пале-Роялем, где помещались и лучшие «лавки» (слово «магазин» при Павле было запрещено на вывесках), и лучшие трактиры, и маскарадная зала Фельета[28] и немецкий театр[29]. В Петербурге было тогда несколько театральных трупп: русская, французская, немецкая, итальянская опера и некоторое время даже польская труппа, существовавшая под управлени-

ем антрепренёра Кажинского[30]. На русской сцене Малого театра, где давались трагедии, комедии, водевили и оперы, блистали тогда трагик Яковлев и трагическая актриса Екатерина Семёнова, комики Бобров, Рыкалов, Воробьёв, певцы Самойлов[31] и Гуляев, певица Сандунова. В балете отличались Дюпор — европейская знаменитость того времени — и не менее знаменитый Огюст, балетмейстер Дидло и танцовщицы: Колосова, Данилова, Иконина. В итальянской опере приводила в восторг меломанов примадонна Маджолетти, а теноры Пасква и Ронкони, буффо Ненчини и Замбони почитались первыми в Европе. Французский театр тоже процветал в царствование Павла, несмотря на все предубеждения императора против Франции. На французской сцене в особенности отличалась м-м Шевалье (сестра танцовщика Огюста). Она занимала первые амплуа в комических оперетках и блистала своей игрой и пением, а главное, что делало её особенно сильной в различных столичных мирках, это её близость к Кутайсову, который был её безусловным поклонником. К ней прибегали за про-

текцией, просили о местах и пособии. Муж её сидел в передней и докладывал о посетителях, которых жена принимала как королева. Одно слово её Кутайсову, записочка Кутайсова к генерал-прокурору или другому сановнику — и дело решалось тотчас же. Француз Фельет в громадных своих залах давал публичные маскарады, посещаемые всем высшим сословием и нередко даже членами царской фамилии. За вход в фельетовский маскарад, равно как и за места в театральных партерах, куда ходила вся молодёжь лучших фамилий и всё гвардейское офицерство, взималось тогда по одному рублю медью. В этих маскарадах можно было и поужинать, причём, например, жареный рябчик стоил 25 коп. медью, а бутылка шампанского два рубля, обыкновенное же столовое вино весьма порядочного сорта от 40 коп. до полтины за бутылку. Лавки кушелевского дома были переполнены французскими и английскими товарами, которые тогда продавались необыкновенно дешево; поэтому «панель» перед петербургским Пале-Роялем служила излюбленным местом прогулок для тогдашних щеголих и модниц, у

которых здесь под рукой было всё, что лишь могла представить им самая изысканная мода.

За исключением набережных и Дворцовой площади, тротуаров в городе не было, а каменные мосты существовали только на Екатерининском канале, в том виде, как и теперь, да на Фонтанке, где они все были подъёмными и наружным видом походили на Чернышёв мост, существующий и до сегодня. Мосты же на Мойке, т. е. Полицейский, Красный, Синий и Поцелуев, были деревянные, и из них два средних получили название от цвета своей окраски. Многие улицы весной и осенью были почти непроходимы, а на других лужи не просыхали в самое жаркое лето. На этих улицах зачастую паслись коровы и расхаживали свиньи вместе со всякой домашней птицей. По ночам стаи бездомных собак бродили около рынков, нарушая покой обывателей своим вытьём и лаем, далеко разносившимся по окрестности. За исключением центра города по всем остальным улицам порой просто не было проходу от оборванных мальчишек, которые устраивали здесь свои

игры в городки и в бабки. Эти мальчишки вжимали своего рода копеечную контрибуцию с чисто одетых прохожих, которые в противном случае рисковали быть забрызганными грязью. На повороте с Невского проспекта во Владимирскую помещался «Обжорный ряд», где целыми рядами сидели торговки с хлебом, пирогами, жареным и варёным мясом, русаками и рыбой. Весь рабочий люд толпился тут непременно по два раза в сутки, обедая и полдничая на вольном воздухе. У Синего моста тоже постоянно толпились люди обоего пола и различных возрастов вместе с рядчиками, дворецкими и приказчиками. Здесь производились наймы прислуги и рабочих, а также купля и продажа в вечное и потомственное владение. Одним словом, Петербург *показной*, Петербург, щеголявший европейскими нравами и перенимавший европейские привычки, группировался только в «чистой» части города, т. е. около дворца, на Морских, на Миллионной да на Невском до Аничкова моста; остальной же весь Петербург жил по старинке и деревянной наружностью своей нимало не походил на европей-

скую столицу.

С первых же дней воцарения императора Павла весь строй и порядок петербургской жизни быстро и круто изменился.

В былое время вельможи Екатерининского века, бывшего по преимуществу «веком вельмож», соединяли в себе все утончённости европейских вкусов и привычек, всё величественное изящество манер века Людовика XIV и всю вольность нравов эпохи его преемника, полуазиатскую пышность польских магнатов и всё хлебосольство и щедрость старинных русских бояр с достаточной примесью самого широкого самодурства. Цель жизни заключалась в наслаждении: «наслаждайся сам и давай наслаждаться другим, чтобы вид нищеты и несчастья не отравлял собой полноты твоего наслаждения» — таков был девиз большинства этих магнатов. У них ежедневно накрывались обеденные столы на пятьдесят и более особ, куда могли являться не только званые и незваные, но часто даже и вовсе незнакомые люди, лишь бы только их костюм был мало-мальски приличен. Невские острова и Петергофская дорога в то вре-

мя представляли собой оживлённые ряды аристократических дач со всевозможными затеями, где, бывало, в каждый праздничный день гремела музыка, сжигались фейерверки и вся незнакомая «публика» была угощаема чаем, фруктами, мороженым. Граф Строганов в своей даче устроил даже большой танцевальный павильон для этой «городской публики» и задавал для неё блистательные празднества. Кроме того, от имени Нарышкина и графа А. С. Строганова ежедневно раздавали пособие нуждающимся и милость убогим деньгами и провизией. Множество бедных семейств получали от них и от целых десятков других бояр ежемесячные пенсии. Дома этих русских вельмож блистали драгоценными собраниями картин, богатыми библиотеками, горками серебряной и золотой посуды, множеством драгоценных камней и всяких редкостей. Императрица Екатерина, бывало, говаривала в шутку про Нарышкина и Строганова: «Два человека у меня делают всё возможное, чтобы разориться, и никак не могут!» В последние годы её царствования в Петербурге стали всё более и более появлять-

ся из присоединённых провинций магнаты польские, которые соперничали в блеске и роскоши с русскими боярами. Тут были князья Четвертинские, Чарторыйские, Любомирские, графы: Иллинский, Северин Потоцкий, Виельгорский, Ржевуский и др. Всё это старалось переблистать друг друга и богатством, и тороватостью, причём открывался достаточный простор и честолюбию, и интриге.

А в то же время весь Петербург вельможный, всяк по своему чину и состоянию, также старался «утопать в роскошах». Не только гвардейские офицеры, но даже нижние чины из дворян редко занимались службой, пренебрегали фронтом и ещё реже носили свои мундиры, а всё больше щеголяли во фраках да в тёплых шубах с меховыми муфтами, шатались целыми партиями по городу, зачастую «чинили уличные буйствы и дебоширствы» насчёт мирных обывателей, разбивали целые трактиры, погребки и «вольные дома», мотали не на живот, а на смерть, «показуя прилежность свою к бильярду и к азартным играм», и вообще вели себя «яко сущие шатуны и повесы» самым невозможным образом. Рав-

но и в среду мелких гражданских чиновников и вообще в средний класс петербургского населения проник «дух фривольных нравов» и пьянство великое. Целые ночи, бывало, раздаются в трактирах, в игорных и иных «партикулярных» домах весёлые звуки музыки и песен, звон стаканов и бутылок, разбиваемых вдребезги, неистовые клики пирующих и вопли побиваемых. Следствием этого бывали еженощные драки, даже целые побоища партиями, нередко смертоубийства и пожары, особенно частые и опасные при тогдашних деревянных постройках. Страсть к «роскошам» и наживе посредством азартной игры, разоряя мелкое чиновничество, поневоле заставляло его взыскивать себе недостающие денежные средства в сугубом взяточничестве и во всяком роде незаконных поборах. Обязанности службы отправлялись кое-как, спустя рукава, дела залёживались по нескольку лет без всякого движения, и присутственные места столицы едва-едва наполнялись похмельными чиновниками только к полудню, а к двум часам были уже пусты, хоть шаром покати. Короче сказать, тогдашняя городская

и в особенности столичная Россия, в упоении блеском и громом побед и всяческих торжеств екатерининского царствования, считая себя необъятной и страшной силой на всём земном шаре, в сущности, была-таки порядочно распущена и разнуздана халатным управлением вельмож-сановников, и это в особенности стало заметно для каждого трезвого и нелицеприятного глаза в последние годы царствования доброй и славной монархини, когда её энергия, неутомимость в государственных трудах и непреклонная воля под гнётом лет уже значительно ослабели. Всеми трезво-мыслящими и прозорливыми людьми стала наконец чувствоваться настоятельная необходимость *подтянуть* эту военную, чиновную и чиновничью Россию, слишком уж разнуздавшуюся в тридцатилетнем своём упоении блеском российского могущества, силы и славы, и слишком уже привыкшую удовлетворять своим «роскошам и приятствам» на счёт крестьян и вообще нечиновных производительных классов народа.

Павел Петрович, будучи ещё наследником престола, как бы позабытый и заслонённый

от столичного блеска пышными вельможами и временщиками, очень хорошо видел и понимал, среди своего гатчинского уединения, все расшатавшиеся винты и гайки тогдашнего государственного механизма. В противоположность людям того века он до педантизма был исполнителен, точен и верен своему долгу и обязанностям, прост и неприхотлив в своём домашнем обиходе, спартански скромн во всех требованиях и удобствах своей жизни и очень религиозен. Известно, что в его гатчинском дворце, в том месте, где обыкновенно стаивал он на коленях, погружённый в одинокую молитву и часто обливаясь слезами, паркет был положительно стёрт, а дежурные офицеры нередко слышали из смежной комнаты его глубокие вздохи во время молитвы. Кроме того, следует ещё заметить, что в противоположность эпикурейскому материализму XVIII века этот человек был вполне идеалист, сочувствовал масонству, склонен к высшему романтизму и пламенно любил всё то, что носило на себе рыцарский характер или даже оттенок. Ложь, притворство и криводушие способны были

мгновенно выводить его из себя, и тогда он становился беспощаден. Один из самых неприязненных России писателей сознался, однако же, о нём, что «он был справедлив даже в политике». А это уже много для того времени... Что же мудрёного, если, видя общественную расшатанность и понимая её причины, он, со свойственной ему энергией, принялся, что называется, выбивать клин клином и резко впал в противоположную крайность? Так было надобно: состояние общества того требовало.

Но строгость своих требований он применял прежде всего и более всего к самому себе. Государь обыкновенно вставал очень рано, между четырьмя и пятью часами утра, и, обтеревшись куском льда, тотчас же принимался поспешно одеваться, затем посвящал некоторое время молитве, а затем уже выслушивал донесение о благосостоянии города и отдавал некоторые распоряжения относительно своих домашних дел. В шесть часов утра в его приёмной уже находились в сборе все те министры и начальники отдельных частей и управлений, у которых в тот день была оче-

редь для доклада, а также и те лица, которым ещё накануне велено было почему-либо явиться к его величеству. Первым из числа должностных вельмож обязан был являться генерал-прокурор и первый министр, граф Безбородко. Ровно в шесть часов государь выходил в приёмную и до восьми занимался выслушиванием докладов и донесений, обсуждая некоторые безотлагательные дела и кладя свои резолюции. В восемь часов у его крыльца уже стояли в готовности одиночные санки и осёдланная лошадь. Отпустив своих министров и сенаторов, государь садился либо в санки, либо верхом, в одном сюртуке, невзирая ни на какую погоду, и в сопровождении очень немногих лиц, иногда Кутайсова или Обольянинова, а иногда Ростопчина, отправлялся подышать свежим воздухом и прокатиться по городу, избирая для этих прогулок не только людные, но и самые отдалённые, пустынные улицы и закоулки. Иногда при этом заезжал он неожиданно в казармы того или другого полка, пробовал пищу, осматривал удобства солдатских помещений, цейхгаузы и склады, а к десяти часам уже возвра-

щался во дворец и, обогревшись несколько, выходил на площадку к ожидавшему его гвардейскому разводу. Тут, в сопровождении свиты, посвящал он час воинским экзерцициям и некоторое время на личное принятие челобитен и прошений, в одиннадцать же часов возвращался в свои комнаты, причём к нему свободно могли приходиться все бывшие при разводе, не только высшее начальство, но даже простые армейские и гарнизонные офицеры до прапорщичьего чина включительно. Тут они находили уже расставленные столы с закусками, и государь, разговаривая с начальниками и офицерами, приглашал всех без изъятия к водке и закуске и сам закусывал тут же, вместе со всеми. Затем, ровно в полдень, он садился со своим семейством за простой домашний обед, который готовила ему кухарка-немка и к которому он приглашал иногда того или другого из приближённых или дежурных офицеров. Пообедав, император отправлялся в свой кабинет отдохнуть на некоторое время, а в три часа для него опять уже были готовы одиночные санки и верховая лошадь. С пяти же и до семи ча-

сов происходил вторичный приём министров с докладами, затем один час посвящался государем своему семейству, а в восемь часов он уже ужинал и ложился спать. В девять часов гауптвахтные караулы высылали рунды с барабанщиками, которые, обходя известный район города, били вечернюю зарю, а с этого времени во всём городе уже не было ни единой горящей свечи. Всякая наружная уличная жизнь тотчас же прекращалась: лавки, ворота и ставни замыкались на болт, и петербургские обыватели волей-неволей обязаны были спать или, по крайней мере, сохранять полнейшую тишину и спокойствие.

Но зато перед рассветом, ещё в ночной темноте, между четырьмя и пятью часами, петербургские улицы, прилегавшие к Сенату и иным присутственным местам, наполнялись гражданскими чиновниками, которые вереницами пробирались по дощатым мосткам, поспешая к местам своего служения. Боже избави, если бы кто из них осмелился хотя пятью минутами запоздать против урочного времени! Арест на «съезжей», а не то и выключка из службы тотчас же поражали неак-

куратного. В пять часов утра во всех без исключения канцеляриях, департаментах и коллегиях на рабочих столах горели уже сальные свечи, и трезвые чиновники усердно скрипели гусиными перьями. Около этого же часа, проходя по апартаментам Зимнего дворца, государь мог уже видеть полную и блистательную иллюминацию всех окон «вице-канцлерского дома», что стоял на Дворцовой площади, по соседству с кушелевским «Пале-Роялем»: там уже ярко пылали все камины, блистали зажжённые люстры, лампы и кенкеты, а благообразные, чистенькие юноши дворянских фамилий — гражданская *jeunesse doree*[32] того времени — вместе с чиновными старцами, дельцами и дипломатами сидели на своих местах за работой. Генерал-прокурор по окончании доклада у государя тотчас же спешил с высшими сановниками в тот или другой комитет, обыкновенно собиравшийся под председательством наследника-цесаревича. Одним только сенаторам, говоря относительно, дана была маленькая «поблажка»: они должны были заседать за красным столом не с шести, а только с

восьми часов утра.

«Ad exemplum regis componitur orbis»[33], — с покорным видом и с подавленным вздохом говорили чиновные сибариты, которым стало куда как тяжело подыматься с постели в ту пору раннего утра, в какую они, бывало, только что ложились после изобильных и роскошных ужинов. Те же самые сибариты в официальных своих разговорах, конечно, восхваляли новый порядок жизни и службы, называя его «ренессансом», эпохой возрождения, а в дружеской беседе, с глазу на глаз, брюзжа на весь мир и вздыхая о прошлом приволье, дарили эту же эпоху «ренессанса» названием «затмения свыше».

Обстановка присутственных мест тоже изменилась. Ещё так недавно даже в канцелярию Сената неприятно было войти мало-мальски брезгливому человеку, а о прочих второстепенных и третьестепенных местах нечего и говорить. Сальные огарки там были воткнуты в бутылки, чернила наливались в помадные банки, песок насыпался в черепки, в плоски или бумажные коробки; на полах лежала засохшая грязь, которую в редких экс-

тренных случаях не отмывали, а просто должны были соскрёбывать заступами; закоптелые стены пропитаны были какой-то сальной грязью, так что чистоплотному просителю гадко было и прислониться к ним, а между тем в приёмных для посетителей не полагалось не только стульев, но даже и простых скамеек, и целые толпы несчастных ходатаев по собственным и чужим делам должны были по нескольку часов дожидаться на лестницах, в сенях и даже на улице. Чиновники торговались с ними в канцеляриях, как на толкучем рынке. Эта растрёпанная и оборванная чернильная рать просто ужас наводила на посетителей. Случалось иногда, что служители Фемиды и администрации не только без церемонии, но даже без всякого зазрения совести шарили у просителя по карманам и отнимали деньги при весёлом смехе похмельных сотоварищей. Павловская «подтяжка» быстро и резко изменила эти безобразные порядки. Народу дано было право приносить прошения и жалобы лично самому императору. У одного из подъездов Зимнего дворца, в окошке нижнего этажа, постоянно выставлен

был ящик для опускания просьб на высочайшее имя, и ключ от него хранился у самого государя, который лично отмыкал крышку и прочитывал эти бумаги, немедленно кладя по ним резолюцию или назначая особые следствия. И сколько взяточников, вымогателей и казнокрадов в первые же дни его царствования было вышвырнуто из службы с опубликованием в «С.-Петербургских ведомостях» имён и поступков «исключаемых»! Дрожь не от стужи, а от страха всё более и более стала проницать чиновников. С перекраской и очисткой присутственных мест, которым дана была приличная и опрятная обстановка, пришлось и дельцам волей-неволей оставлять старые привычки и нравы, орать «полегоньку», осторожно и с «опаской», а то и вовсе не брать, дела не затягивать, а решать быстро, да и самим понадобилось облекаться в новые форменные шляпы, мундиры и ботфорты со шпорами. Всё это было тяжело, и число недовольных новыми порядками с каждым днём возрастало. Зато простой, неслужащий люд в первые дни царствования Павла Петровича встречал его появление на улицах кри-

ками «ура» и изъявлениями своей благодарности за удешевление хлеба, соли и мяса, за назначение умеренных податей, окончание персидской войны и отмену рекрутского набора.

Х

У государя

— **А** что, граф Харитонов-Трофимьев не приехал ещё? — спросил государь при утреннем докладе у петербургского коменданта.

— Никак нет, ваше величество!

— Жду его с нетерпением. Как только приедет, доложить мне тотчас же.

— Слушаюсь и не премину исполнить, — почтительно поклонился комендант.

Это было сказано накануне того дня, в который граф Илия со своим деревенским караваном въехал в северную столицу.

Караульный офицер ещё на заставе сообщил Черепову высочайшую волю, о которой комендант, сейчас же по получении царского приказания, оповестил караул царской рогат-

ки.

Граф Илия ещё с Москвы, по рекомендации старика Измайлова, решил «пристать» в Петербурге на первое время в Демутовой гостинице, куда и был препровождён Череповым, который, не теряя лишней минуты, помчался в ордонанс с «репортом» о прибытии графа. Это было в исходе третьего часа. В гостинице Демута, почитавшейся в то время лучшей в Петербурге, граф Харитонов-Трофимьев занял несколько лучших номеров «под себя и свою услугу». Ещё далеко не успели перетаскать в его помещение чемоданов, вмещавших в себе наиболее нужные вещи, как вошедший Черепов доложил о приезде петербургского коменданта.

— Не далее как вчера государь император изволил интересоваться вашего сиятельства приездом, — начал гость после взаимной рекомендации и первых приветствий, которые со стороны графа Илии сопровождались извинениями, что, не успев переодеться, принимает его в чём есть, т. е. в дорожном длиннополном сюртуке, вроде шлафрока. — Н-да, — продолжал генерал тягуче-размеренным и

несколько гнусливым голосом, — его величество повелело мне тотчас же, как приедете, известить его, и я несказанно счастлив, что благодаря вашему немедленному приезду могу столь скоро удовлетворить воле моего государя. Конечно, император пожелает, чтобы вы ему представились в самом непродолжительном времени, быть может, даже завтрашнего дня утром, но... извините, откровенный вопрос: имеете ли вы соответственную форму?

При этом комендант указал жестом на воротники и лацканы своего генерал-майорского мундира.

— Я имею только ту форму, с коей был уволен от службы, — сообщил ему граф Харитонов-Трофимьев.

— Н-да, но я обязан предупредить вашего сиятельства, что приказом, отданным на сих днях, при пароле, вы уже зачислены на действительную его величества службу, в состав генералитета, а потому имеете представиться в установленной форме одеяния.

— Но как же, если сие, как вы говорите, может последовать завтра? — возразил Хари-

ТОНОВ.

— О, это ничего не значит! — поспешил за-
верить генерал. — Я тотчас же пришлю к вам
образцового закройщика из лейб-гвардии
преображенской швальни, и наши портные
наутро оденут ваше сиятельство как нельзя
лучше. Тем более, — продолжал он, — что го-
сударь император, отечески входя во все нуж-
ды и экономию военнослужащих, а наипаче
преследуя вредные излишества всяких роско-
шеств, соизволил повелеть, чтобы господа во-
енные, от генерал-аншефа и до прапорщика,
имели токмо один форменный мундир, како-
вой завсегда и носили бы, а дабы то было от-
нюдь не обременительно, то вместо прежних
богатых мундиров повелел строить оные из
недорогого тёмно-зелёного сукна, подбитые
стамедом[34], с белыми пуговицами, и столь
недорогие, что мундир не стоит более двадца-
ти двух рублей.

Затем комендант стал рассказывать о
некоторых переменах и новых порядках, о
том, как ныне даже генерал-поручики и гене-
рал-аншефы, украшенные георгиевскими
звёздами, не исключая и самого графа Нико-

лая Васильевича Репнина, генерал-фельдмаршала и лейб-гвардии Измайловского полка батальонного командира, обязаны каждое утро ходить в манеж, учиться там маршировать, равняться, салютовать эспонтоном и изучать новый строевой устав, плутонги, эшелоны, пуань-де-вью, пуань-д'апшюи и прочее.

— Но к чему же всё сие потребно генерал-аншефам и фельдмаршалам? — в некотором недоумении неосторожно спросил граф Харитонов.

— О, не судите так, ваше сиятельство, не судите! — возразил ему комендант с некоторым жаром неподдельного, по-видимому, увлечения. — В основании сего лежит идея сообщить в распущенные войска свежую силу, научить всех без изъятия тому, что каждому воину знать надлежит, научить их прежде всего слепо повиноваться и стройно действовать массами, и тогда недреманная бдительность и грозная взыскательность обратятся у нас в натуральную привычку, то это заранее приуготовит наши войска к победе и послужит к наивящей славе отечества! Таково моё искреннее и глубочайшее убеждение, — за-

ключил он, подымаясь с места и берясь за шляпу.

— Куда же вы так скоро! — любезно остановил его граф.

— Не могу и не смею долее: служба, — неуклюже поклонился петербургский комендант, слегка пожимая протянутую ему руку. — Спешу к моему государю исполнить его священную волю и доложить о приезде вашего сиятельства, — пояснил он в заключение и тотчас же откланялся.

— Папушка, что это за урод был у тебя? — спросила у графа вошедшая Лиза, которая из смежной комнаты успела в дверную щель высмотреть гостя в ту минуту, когда он уже удалился.

— Какой урод, мой друг! — с некоторым укором возразил ей отец. — Это здешний комендант, господин Аракчеев, лицо очень близкое к императору.

— Пусть так, но всё-таки он препротивный, — утверждала девушка. — Ужасно мне не понравился, хотя я и одну лишь минуту одним глазком его видела: такое злое и неприятное лицо, и если бы ты знал, как он мне не

по сердцу!

— Очень умный и, кажись, весьма обходительный человек, — возразил граф, на которого в глубине души тоже не совсем-то приятное впечатление сделала своеобразная фигура Алексея Андреевича.

Аракчеев сам по себе никогда не был исключительным человеком относительно вельмож и тузов своего времени, даже в начале своей карьеры. Но визит к графу Илие был сделан им «в том рассуждении», что неравно государь при докладе спросит, виделся ли он уже с графом и каково нашёл его. Выслушав донесение Черепова о благополучном прибытии графа Харитонов-Трофимьева, Алексей Андреевич сообразил, что государь в данную минуту находится ещё где-нибудь на верхней прогулке, и нашёл, что его комендантское достоинство не пострадает нимало, если он предварительно доклада воспользуется временем этой прогулки, чтобы заехать на несколько минут в «Демутов трактир» — «оказать честь и решпект» новоприбывшему «почтенному старцу» — давнишнему любимцу государя. «Такое с моей стороны внима-

ние, вероятно, будет приятно и его величеству, в угождение коему всю жизнь и всё существо моё посвящаю», — заключил своё размышление Аракчеев, отправляясь к графу Харитонову.

Через час по отъезде его из «Демутова трактира» приехал туда в придворной карете дежурный флигель-адъютант и объявил, что государю императору угодно немедленно же принять графа, и потому пускай граф едет, не стесняясь, в чём есть, т. е. в кафтане или в прежнем своём мундире.

Граф Илия спешно оделся, навесил на грудь ордена, жалованные ему ещё Елизаветой и Петром III, прицепил шпагу и поехал во дворец вместе с флигель-адъютантом.

Вечерний приём докладов ещё не кончился у государя, когда граф Илия был введён в приёмную, примыкавшую к кабинету его величества. Здесь с портфелями и папками подмышкой дожидались несколько приближённых лиц, министров и статс-секретарей, которые шёпотом разговаривали между собой, обращая порой боязливые взгляды на запертую дверь кабинета. Из старых знакомцев своих

граф Илия заметил здесь гр. Н. И. Салтыкова, гр. Александра Строганова и Льва Нарышкина. Первые два раскланялись с ним молча, но очень вежливо, и по этому поклону можно было заметить, что обоим им несколько неловко в душе за свою прежнюю холодность к опальному приятелю их молодости, который теперь вдруг подымается на высоту милостью монарха и, быть может, будет играть очень видную и сильную роль в государственной и придворной жизни. Зато открытый и добродушный Нарышкин сразу же пошёл к нему на цыпочках с выражением самой искренней радости и удовольствия.

— Сколько лет, граф!.. сколько лет не видались! — взволнованно и шёпотом говорил он по-французски, горячо пожимая руку Харитонову. — Да, граф! Достойное поведение и честный образ мыслей (верный или неверный — это всё равно, лишь бы честный!), судя по вашему примеру, не всегда пропадают на земле втуне и бесследно!.. Вы снова в нашей среде, после тридцати лет забвения и немилости, и снова такой же, как и были, каким вынуждены были покинуть нас... Вы здесь нужны,

граф, а главное — пример ваш нужен, — нужен именно теперь, когда и «время переходчиво», как говорится по-русски, и «люди переменчивы...». Вы один из немногих, которые *не* переменились.

Граф Илия слушал его с равнодушно-спокойной и грустно-приветливой улыбкой.

— Нет, Лев Александрович, моя песня, кажись, уже спета: стар стал, да и отстал от всего в своей медвежьей берлоге за тридцать лет...

— Что за старость ещё! Полноте! — махнув рукой, перебил его Нарышкин. — Поглядите: Салтыков, Строганов, да и мало ли других, пожалуй, постарше вас будут, а и не думают о старости.

— Большим кораблям большое и плавание, — сказал по-русски граф Харитонов.

— Ну, вы тоже не из мелких судёнышек.

— Молодёжи пора место уступать... Вон сколько здесь молодых... Скажите, пожалуйста, кто такие?

— Новые люди, новые силы, граф, — ещё тише заговорил Нарышкин. — Это вот, у самой двери в его кабинет стоит, Иван Павло-

вич Кутайсов.

— Как?.. Кто такой? — наставив ухо, переспросил Харитонов.

— Кутайсов... Он турецкого происхождения; доселе брил государю бороду, а теперь, если захочет, то так отбреет нашего брата, что ай-ай!.. Сила, большая сила! В аристократы метнул...

— Какими судьбами?

— Не судьбами, а высочайшей волей... Государь изволил прямо высказать, что в России нет аристократии, что здесь только тот аристократ, с кем он говорит, и до тех только пор, пока он говорит с ним.

— Абсолютный монарх был вправе это высказать, — сдержанно заметил Харитонов. — А эти кто такие? — спросил он, указав глазами на группу из трёх-четырёх человек, стоявших в нише у окна.

— Это наша деловая «молодёжь», то есть, конечно, молодёжь относительная. Это вот — статс-секретарь Нелединский-Мелецкий, известный стихотворец, это — граф Ростопчин, а подле него Обольянинов и Плещеев.

Вдруг растворилась дверь из кабинета —

все невольно вздрогнули, вытянулись и замолкли. На пороге, опираясь на трость, появился император, за спиной которого виднелась фигура Аракчеева.

— Граф Илия Дмитриевич!.. Пожалуйста, приблизьтесь... Душевно радуюсь видеть вас! — громким голосом и со светлой улыбкой сказал государь, выходя на середину приёмной комнаты и протянув по направлению к графу свою правую руку.

Харитонов-Трофимьев, отдав глубокий поклон, почтительно выступил на три шага вперёд и, прежде чем принять поданную ему руку, хотел было, сообразно этикету того времени, преклонить перед монархом колени, но государь не допустил его до этого и быстрым движением предупредил склонявшегося старика.

— Нет, нет! Не так, граф! — быстро заговорил он. — Старые друзья не так встречаются... Обнимите меня.

И государь сам обнял и поцеловал графа Илию, глубоко потрясённого и растроганного таким неожиданным проявлением царской милости и внимания.

— Пойдѣмте в мой кабинет, мы давно не видались, а мне есть о чём поговорить и посоветоваться с вами, — сказал император, приглашая Харитонову следовать за собой.

Кабинетная дверь наглухо затворилась за ними.

Аракчеев остался в приёмной и, подозвав к себе дежурного флигель-адъютанта, пошептал ему что-то на ухо с тем деловым видом, с каким обыкновенно передаются приказания свыше. Флигель-адъютант выслушал его с вниманием и озабоченно поспешил удалиться куда-то.

Встреча государя с опальным вельможей и приём, ему оказанный, произвели заметное впечатление на всех присутствующих.

— Однако! — с многозначительным видом исподтишка мигнул соседу один из сановников с портфелем, видимо, озадаченный происшедшей сценой.

— Н-да!.. — сквозь зубы и шёпотом процедил тот в ответ, раздумчиво закусив нижнюю губу. — Но только в каком же разуме надлежит понимать это?

— Да так и понимать, что сила, большая

сила.

— И замечайте, даже его превосходительство Алексея Андреича не пригласил за собой...

— Поистине примечательно!

— И ведь никого ещё из самых приближённых не удостоивал публично такого приёма! Даже вопреки этикету. Н-да... А за какие заслуги, любопытен бы я знать, за какие подвиги? Что сделал? Чем озаменовал себя?.. Вот и служи после этого.

— Тсс... осторожней: нас могут слышать.

— А пускай! Мне-то что! — с независимым видом слегка мотнул головой сановник. — Однако как бы узнать, где он пристал и когда принимает? — с некоторой озабоченностью заметил он после минуты раздумья.

— То есть кто это? — переспросил сосед.

— Да всё он же, граф Харитонов-Трофимьев.

— Хм... Во дворце, чай, знают; надо справиться. А почто вам?

— Н-н... да так... Всё же надо будет некоторый респект оказать ему, визит сделать, — пояснил чиновник, напуская на себя тон ма-

ленькой небрежности.

— Да, это не мешает, — согласился сосед, думавший в душе то же самое, — а тем паче в рассуждении сего приёма, — продолжал он. — Как знать, что может быть и как ещё обернётся фортуна!

Придворные более или менее разделяли всяк про себя и мнение, и ревнивое чувство двух этих сановников. Чем долее оставалась замкнутой дверь кабинета, тем более выросло в их глазах значение графа Харитонова и тем настоятельнее сознавалась необходимому в предупредительном оказании ему всяческого «респекта». О чём беседовал с ним государь — это осталось обоюдной тайной, но беседа в замкнутом кабинете длилась более получаса, и когда наконец дверь растворилась снова, император вышел в приёмную, ласково положив свою руку на плечо графа.

— Готово? — мимоходом вскинул он вопросительный взгляд на Аракчеева.

Тот предупредительно метнулся в сторону и жестом пропустил мимо себя двух камер-лакеев, которые приблизились к государю, держа перед собой массивное серебряное

блюдо. На этом блюде, сверкая алмазами, красовались орденские знаки.

— Поздравляю тебя кавалером ордена свя-
тыя Анны 1-го класса, — милостиво сказал го-
сударь графу Илие и собственноручно возло-
жил на него звезду, а потом ленту.

— Я слышал, у тебя есть дочь; ты, конечно,
привёз её с собой? — спросил он после того,
как Харитонов принёс ему благодарность за
новый знак высокой милости. — Она должна
быть представлена императрице, — продол-
жал государь, — и я укажу, когда сие должно
будет исполнить.

— Благодарю, ваше величество, но заранее
прошу для неё милостивого снисхождения, —
заметил граф с глубоким поклоном. — Она у
меня родилась и возросла в деревне одиноко,
и для того опасаясь, что обычаи большого
света весьма мало ей знакомы.

— Это ничего; я поручу её такой особе, ко-
торая живо сообщит ей надлежащий лоск. А
благополучно ли вы доехали, не спросил я
ещё тебя? — продолжал государь.

— Как не надо лучше и спокойнее, ваше
величество.

— А что, ординарец, которого я послал к тебе в провожатые, хорошо ли он исполнил свою обязанность?

— Офицер самый достойный и вполне расторопный, — похвалил граф Черепова.

— И ты, стало быть, остался им доволен?

— Как нельзя более, государь!

— В таком разе, коли угодно, можешь взять его к себе в личные адъютанты.

И вслед за тем государь милостиво отпустил от себя графа. Очередной статс-секретарь отправился в кабинет с докладом, а остальные из присутствовавших, знакомые и незнакомые, обступили Харитонову и кланялись, и рекомендовались, и знакомились, и пожимали руки, и, сияя улыбками, по-видимому, от всей души поздравляли его «с толикими милостями монарха».

Граф Илия, выйдя из приёмной комнаты, прежде всего пожелал поклониться праху усопшей императрицы. Один из камер-лакеев почтительно повёл его по дворцовым коридорам и залам. Весь двор был в глубоком трауре. Множество лиц, одетых в чёрное, толпилось и проходило взад и вперёд по всем покоям, и

только шелест женских шлейфов да лёгкий звук шагов нарушали глубочайшую тишину, которая царила в громадных залах и галереях. «Кавалергардская комната» сплошь была обита чёрным сукном: и потолок, и пол, и стены. Камер-лакей препроводил графа Илию в Малую Троицкую залу, куда 15 ноября торжественно перенесено было тело императрицы, покоившееся дотоле в её опочивальне, при полном дежурстве фрейлин и придворных кавалеров. Здесь перед глазами Харитонов предстало зрелище, невольно поражавшее каждого своим мрачно-роскошным величием. Посреди залы на возвышенном тронном помосте стояла кровать, богато и пышно драпированная малиновым бархатом, который покрыт был серебряным флёротом, оторочен золотой бахромой и украшен тяжёлыми золотыми кистями. Российский императорский герб, расшитый чернетью, шелками, серебром и золотом, блистал в головах этой кровати, а по бокам её на ниспадающих драпировках красовались вензельные шифры Екатерины. Вокруг помоста стояло несколько массивных бронзовых канделябров, на которых в

вышине, сквозь туманные волны ароматного курения, трепетно сияли целые клубки огней и заливали своим струящимся светом смертный одр, на котором в особенности резко выделялся строгий и величественный профиль покойницы. Тело императрицы облечено было в русское национальное платье из серебряной парчи, отделанное золотой бахромой и драгоценным кружевом, известным под названием «Point d'Espagne». Необычайно длинный и роскошный шлейф этого платья, ниспадая по ступени, изящно и пышно распростёрт был до самого аналоя, на котором положен был образ, сверкавший драгоценными камнями. Малиновый бархат и белый серебристый глазет с золотым позументом драпировали и аналой, и орденские подушки, и подзоры[35], и тронный помост. В головах кровати, обвитые чёрным флёром, сверкали сталью два эспонтона, на которые опирались двое гвардейских офицеров, капитан и капитан-поручик, поставленные сюда в виде почётной стражи. Вдоль смертного ложа по обе стороны, отступя на несколько шагов, неподвижно, как изваяния, с карабинами на пле-

че, стояли шесть кавалергардов в своих рыцарских доспехах и в шишаках, повитых траурным флёром. У обеих дверей этой залы, внутри комнаты, на часах поставлено было тоже по два кавалергарда, а у ног покойницы в нескольких шагах находились четыре камер-пажа. Шесть почётных дам первых четырёх классов, две фрейлины и восемь придворных кавалеров днём и ночью находились на дежурстве при теле императрицы. Духовенство, облачённое в чёрные бархатные ризы, ежедневно от 9 часов утра до часу дня, а потом от 3 и до 8 вечера, совершало при теле церковную службу. Священники, чередуясь друг с другом, читали вместо Псалтири Евангелие, и чтение это производилось непрестанно, днём и ночью, на особом аналое. Лица всех сословий, за исключением одних только крестьян, беспрепятственно были допускаемы к руке покойной императрицы.

Эти волны фимиама и струящийся свет множества восковых свечей, блеск парчи и воинских доспехов, эта тишина, среди которой внятно раздаётся глухой низкобасовый и монотонный голос читальщика, эта непо-

движная стража и множество одна за другой преклоняющих колена мужских и женских фигур, которые от контраста огней и чёрного цвета своих одежд все кажутся бледными и, как тени, тихо двигаясь в тумане ладана, напоминают собой скорее каких-то призраков, чем людей, наконец, этот величаво-спокойный вид усопшей на возвышении — всё это обвеяло душу графа Илии благоговейным трепетом и поражало её мыслью о таинственном и суровом величии смерти. Он долго стоял в немом созерцании пред неподвижным телом той, которую помнил ещё во всём увлекательном блеске её красоты, молодости, характера и силы воли, когда, тридцать четыре года тому назад, она смело и гордо шла на рискованное предприятие в Петергоф, впереди полков императорской гвардии. И восстал пред ним весь контраст её громкого, славного царствования и своей собственной опальной жизни, но ни чувство горечи, ни чувство упрёка не шевельнулись теперь в душе старого графа.

— Прости мне, если я был не прав пред тобой! — тихо прошептали его уста, когда он с земным поклоном повергся у подножия

смертного ложа великой женщины и великой императрицы.

XI

Похороны императорской четы

Государственные регалии, под эскортом кавалергардов, были наконец перевезены из Москвы в Петербург и доставлены императору. Сыновное чувство побуждало Павла Петровича воздать достодолжную почесть смертным останкам его родителя, который тридцать четыре года назад был погребён в склепе Александро-Невской лавры. Местом погребения российских императоров служит обыкновенно Петропавловский собор с. — петербургской крепости, но Пётр III положен был в усыпальницах лавры на том основании, что он умер лицом некоронованным, то есть отрёкшимся от престола. Настоящую минуту император Павел нашёл благопотребною для того, чтобы исправить ошибку его покойной родительницы. Он задумал перенести останки Петра III сначала в Зимний дворец, с тем чтобы похоронить их рядом с гробом Екатерины

в Петропавловском соборе. С этой целью государь самолично с обер-церемониймейстером Петром Степановичем Валуевым составил церемониал перенесения гроба своего родителя во дворец и его вторичного погребения обще с Екатериною II. Собственною рукою намечал он имена высших чиновников, назначенных им к несению императорских регалий. При этом граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский написан был «к императорской короне Петра III». Это было жестоко, но никто не имел возразить что-либо против справедливости возмездия, заключавшегося в той мысли, которая внушила государю дать это поручение именно графу Алексею Орлову. Князь Платон Александрович Зубов был приглашён к участию в совете по случаю перенесения останков Петра III. В это время он жил уже не во дворце, а на Английской набережной, в доме сестры своей, Жеребцовой, и между придворными мало кто интересовался теперь знать, обретается ли ещё в живых его светлость, хотя Зубов всё ещё продолжал пользоваться должностью и званием генерал-фельдцейхмейстера. Фельдмаршал князь

Репнин послал к нему своего адъютанта Лубяновского доложить о назначении его в «совет» и спросить, угодно ли его светлости пожаловать в собрание. Лубяновский ни души не нашёл ни на лестнице, ни в прихожей и уже в одной из смежных комнат наткнулся в сумрачном углу на частного пристава. Удивлённый нечаянным появлением адъютанта, пристав осмотрел его с ног до головы и, допросив, кто он, от кого и зачем прислан, сначала позамялся, а потом бросился в переднюю и исчез где-то. Минут пять спустя перед Лубяновским растворилась дверь траурной гостиной. Князь Платон, читавший лёжа на диване книгу, встал при его появлении. На бледном и унылом лице его, по-видимому, пробежала лёгкая улыбка неожиданного удовольствия, когда он услышал, зачем был прислан к нему адъютант фельдмаршала. Зубов поблагодарил за внимание и просил передать князю Репнину своё сожаление, что, по причине болезни, он не может участвовать ни в совете, ни в церемонии. Алексей же Орлов, оповещённый повесткою из «печальной комиссии» о своём назначении к короне Пет-

ра III и никак не подозревая, что здесь участвовала личная воля государя, приехал в собрание совета «вполпьяна» и стал шуметь и браниться с Валуевым, в полном убеждении, что Валуев самовольно, по собственному усмотрению делал расписание и дал ему такое «невместное» назначение, от которого Орлов решительно отказался, ссылаясь на слабость в ногах. Раздосадованный Валуев не без особого намерения положительно умолчал о своём столкновении с Орловым и об его отказе. Наконец печальный церемониал был окончательно составлен, и государь заранее самолично сделал «рекогносцировку» для войск от Зимнего дворца до лавры. Все наличные войска, предназначенные к участию в церемонии, отданы были под команду князя Репнина, по его «фельдмаршальскому рангу».

За два дня до перенесения останков Петра весь Петербург присутствовал при другой церемониальной процессии, унылее которой трудно было представить себе что-либо. Это было перевезение из Зимнего дворца в Невскую лавру государственных регалий ко гробу Петра III. Процессия двинулась в семь ча-

сов вечера, при двадцати градусах стужи, в совершенной темноте от густого морозного тумана. Более тридцати карет, обитых внутри и снаружи чёрным сукном и запряжённых каждая цугом на шесть лошадей, тихо тянулось длинным рядом вдоль по Невскому проспекту. Лошади с головы и до края копыт покрыты были суконными чёрными попонами с капором и у каждой при уздцах шёл придворный лакей с факелом в руке, в чёрной епанче с длинными воротниками и в обложенной крепом широкой шляпе. В таком же наряде и тоже с факелами в руках шли по нескольку человек лакеев с обеих сторон у каждой кареты. Кучера на высоких козлах сидели в широкополых шляпах, как под наметами. В каждом экипаже помещались высшие сановники и придворные кавалеры в глубоком трауре, держа на бархатных подушках те или другие предметы государственных регалий, от которых иногда в опущенном каретном огне отражался на мгновение сверкающий блеск драгоценных камней. Мрак непроглядной ночи, могильная чернота на людях, на лошадях и на колесницах, глубокая

тишь во многолюдной толпе, какой-то злое- щий свет от гробовых факелов и бледные от того лица — всё это вместе оставляло печаль- нейшее зрелище.

Ещё за несколько дней до этой процессии, а именно 19 ноября, тело Петра III, по высо- чайшему повелению, было вынуто из склепа и в своём старом гробе положено в гроб но- вый, великолепно отделанный золотым гла- зетом и серебристым газом и украшенный металлическими государственными гербами. Прах покойного императора выставлен был на нижней Благовещенской лаврской церкви, куда в тот же день к семи часам вечера при- был император Павел с супругою и великими князьями. В присутствии императорской фа- милии старый гроб был вскрыт не более как на минуту. Государь приблизился взглянуть на прах родителя, но увы! в этом гробе не на- шёл он уже ни образа, ни подобия Петра III: тело его окончательно истлело, уцелели же только шляпа, перчатки и ботфорты. Импера- тор оросил эти смертные останки горькими слезами и приложился к ним последним, про- щальным поцелуем. Вслед за ним отдали ту

же дань почтения царственному праху императрица Мария Фёдоровна и цесаревич Александр с великим князем Константином, а затем крышка снова, и уже навеки, была наложена на гроб Петра III.

25 ноября, утром, приехал в лавру с великими князьями государь во время панихиды, при провозглашении «вечной памяти» возложил на гроб родителя императорскую корону, вечером того же дня происходило торжественное положение во гроб тела императрицы. К этому дню большая тронная зала была уже вся драпирована чёрным сукном и посредине её, на тронном помосте, поставлен высокий «каструм долорис»[36]. К восьми часам вечера в Зимний дворец съехались лица обоего пола, имеющие проезд ко дворцу, и всё высшее духовенство.

После литии, отправленной митрополитом Гавриилом, восемь камергеров приблизились с обеих сторон к ложу усопшей и, подняв её тело, переложили его во гроб. Четыре камер-юнкера несли при этом шлейф её платья. Затем ко гробу приблизилась императрица Мария Фёдоровна и возложила на главу

усопшей императорскую корону. Как скоро это было исполнено, те же восемь камергеров подняли гроб и, в предшестве духовенства и четырёх камер-юнкеров, нёсших крышку, перенесли его в большую тронную залу и поставили его на «каструм долорис», а четыре старших камергера покрыли его богатейшим покрывалом. После этого была отслужена торжественная панихида и все присутствующие допущены к руке покойницы.

2 декабря, к десяти часам утра, в Александро-Невскую лавру прибыли все члены императорского семейства. Их ожидали уже там все высшие чины государства и двора, назначенные участвовать в церемонии по случаю перенесения гроба Петра III в Зимний дворец. От монастырских ворот и вплоть до дворца, на всём протяжении Невского проспекта, по обеим сторонам его, стояла гвардия. Между великанами-гренадерами в изящных светло-зелёных мундирах с великолепными касками теснились переведённые в гвардию мелкие гатчинские солдаты в наряде пруссаков времён Семилетней войны, что тогдашняя публика, вместе с екатерининскими гвар-

дейцами, находила с непривычки смешным и безобразным. Массы народа, громоздясь на скамейках и лестницах, теснились за рядами войск. Все окна, все балконы, драпированные чёрным сукном, несмотря на сильную стужу, были раскрыты настежь и наполнены зрителями, которые унизывали даже домовые крыши.

После малой литии, отслуженной митрополитом вместе со всем высшим белым и чёрным духовенством, приступлено было к поднятию гроба Петра III. Но тут, с самого первого шага, процессия несколько замялась. Государь заметил, что к императорской короне подходит не Алексей Орлов, а какой-то другой чиновник.

— Для чего не Орлов? Ведь он тут? — строго обратился он к Валуеву.

— Тут, ваше величество, но... князь отказывается за слабостью.

Император с негодованием выхватил у чиновника бархатную подушку и толкнул ею Валуева.

— Ему нести в наказание! — сказал он громко, так что все ясно это слышали.

Но Орлова не было. Кинулись искать его и насилу нашли. Князь Алексей Григорьевич забился в один из тёмных углов собора и плакал навзрыд. Ему передали непрременную волю разгневанного императора и заставили выйти из своего уединения. Руки его сильно трепетали, когда под магнетическим взглядом безмолвного государя брал он императорскую корону. Коснувшись её, он зашатался и, смертельно бледный, при помощи двух ассистентов, подхвативших его под руки, должен был пронести эту лёгкую, но страшную для него ношу весь путь до самой тронной залы. Какие ужасные воспоминания и картины должны были терзать его совесть в эти минуты возмездия! Он нравственно проходил теперь сквозь строй не только гвардейских войск, но и бесчисленного народа. И действительно, общее внимание преимущественно обращалось на графа Орлова и ещё на двух человек, нёсших концы покрывала Петра III. Эти двое были князь Барятинский и Пассек. Все трое занимали в процессии места, подобающие первым лицам в империи.

По перенесении в большую тронную залу

гроб императора Петра III был поставлен на том же «каструм долорис», с гробом императрицы Екатерины, и над обоими торжественно отправлена общая панихида и провозглашена общая «вечная память». Почётная стража и дежурство были удвоены. Таким образом, два эти гроба стояли совместно в одной зале и на одном катафалке в течение трёх суток, до 5 декабря. Во всё это время по-прежнему отправлялось ежедневное церковное служение и чтение Евангелия над императорской четой, а лица всех состояний были дено и ночью допускаемы в известные назначенные часы к поклонению усопшим.

5 декабря вновь стояли шпалерами войска, но уже не по Невскому, а по Миллионной и на особом, нарочно наведённом мосту от Мраморного моста до ворот крепости. В предшествовании двух «печальных рыцарей», с головы до пят закованных в стальные доспехи, медленно двигалась громадная и пышная процессия, в хвосте которой следовали одна за другою две погребальные колесницы: на первой помещался гроб императора Петра III, а на второй — императрицы Екатерины. За этим по-

следним шёл пешком государь, в чёрном одеянии, с воротником из кружев в несколько рядов, а за его величеством следовали: императрица, великие князья и княгини — всё в таком же глубоком трауре.

Оба гроба поставлены были рядом в Петропавловском соборе, где оставались до 18 декабря. В этот же день, то есть на сорок третьи сутки со дня кончины императрицы, совершено было погребение. Литургию и всё вообще служение совершал Гавриил, митрополит Новгородский, в сослужении шести архиереев, пяти архимандритов, четырёх игуменов, духовника с придворным духовенством и петропавловского причта. После обедни отправлена была панихида по государыне Елизавете Петровне, в память дня её рождения, а в начале девятнадцатого часа прибыл в собор император со всей высочайшей фамилией и был встречен со крестом. При начатии панихиды, когда раздавались свечи, во время ектеньи, митрополит кадил гробы и церковь, а по окончании каждения был снят с катафалка и опущен в склеп гроб императрицы; затем, точно таким же порядком, опустили рядом с

ней и гроб Петра III. В это время панихида была окончена и усопшей чете провозглашена пред царскими воротами «вечная память». Гром пушечных выстрелов раздавался с бастионов крепости во время погребения. Ему вторил с набережной огонь полевой артиллерии и ружейные залпы.

Граф Харитонов-Трофимьев, в сопровождении своего личного адъютанта, по обязанности присутствовал при всех этих печально-торжественных церемониях.

Василий Черепов во время последней панихиды обратил его внимание на золотые надписи, крупно вырезанные на чёрных металлических досках в головах каждого гроба. На этих надписях значилось: «Император Пётр III, родился 10 февраля 1728 г., погребён 18 декабря 1796. Императрица Екатерина II, родилась 21 апреля 1729 г., погребена 18 декабря 1796 г.»

— Да, — тихо заметил на это граф после минуты грустного размышления, — подумаешь, что эти супруги провели всю жизнь вместе на троне, вместе умерли и вместе погребены в один день.

— А что ж, — ответил Черепов, — пожалуй, это скажут через несколько тысячелетий будущие историки, истолковывая уцелевшие надписи на неизвестном тогда языке русском. Это и ныне в истории частенько бывает.

XII

Новая фрейлина

Граф Илия, прочтя случайно в «С.-Петербургских ведомостях» объявление, что «в Садовой улице, против Летнего сада в Турчаниновом доме, под № 799, отдаются для дворянства покои, богато убранные и с драгоценными мебельями, ежемесячно и в годы в наём», поехал осмотреть, что это за покои, нашёл их «довольно пристойными, со многими удобствами», с людскими, конюшнями и сараями, и нанял для себя целый этаж, куда и переехал из «Демутова трактира». Черепов тоже подыскал для себя маленькую «пристойную» квартиру по соседству и в положенные часы утра являлся к своему шефу за приказаниями, а затем сопровождал его в манеж, где граф, наряду с другими высшими генералами, должен

был обучаться шагистике, приёмам с эспонтоном и всем «экзерцициям» нового устава. Занятия этого рода были уже не по летам старому графу и, в сущности, очень его тяготили, но отказаться от них не представлялось возможности, так как это делалось вследствие высочайшей воли, и сам государь нередко являлся в манеж во время подобных занятий, чтобы лично объяснить и указывать своим генералам новые правила воинских уставов.

Между тем в квартире графа, на половине «графинюшки», шли суетливые приготовления. Харитонов-Трофимьев получил от Валуева официальное письмо, извещавшее о дне и часе, когда графиня Елизавета, а вместе с ней и сам граф Илия должны будут представиться императрице. Надо было торопиться, чтобы успеть приготовить парадную «робу», согласно требованиям этикетного траура, подумать о «куафюре» и прочих мелочах и подробностях парадного туалета. Василий Черепов, как человек «досконально знакомый» с Петербургом, по просьбе графини Елизаветы Ильинишны, поскакал на Малую Миллионную к одному из лучших тогдашних парикма-

херов, Фичулке, и привёз его к графинюшке для «консилиума» насчёт причёски, причём Фичулка несказанно удивился природной длине и роскоши её волос, сказав и, «в комплименту», что все его букли и шиньоны никуда не годятся в сравнении с подобным «богатством материала». Затем поехал Черепов к одной из самых модных портних-француженок, m-me Ксавье, которая недавно ещё появилась в Петербурге со своей модной лавкой и мастерской, славясь по столице репутацией «богини Разума», так как про неё под сурдиной ходили слухи, будто она, в силу своего величественного вида и красоты, но только под другим именем была некогда избрана Робеспьером и членами комитета «общественной безопасности» для разыгрывания роли «богини Разума» и разъезжала по Парижу в колеснице, принимая подобострастные поклонения и божеские почести со стороны парижской черни. Мастерницы этой m-me Ксавье, «ради пущего успеху», были перевезены для работы даже в квартиру графа Харитонова, а сама m-me Ксавье и кроила, и шила, и примеряла, и источала целые потоки бойкой, бле-

стящей болтовни, комплиментов, пикантных намёков и маленьких сплетен из высшего дамского света, который был ей доступен с заднего крыльца, в силу её аристократического вкуса и профессии. Наряд, созданный ею для графини Елизаветы Ильинишны, действительно был изящен и великолепен, при всём своём траурном характере. Старуха м-ме Лантини, древняя знаменитость в качестве великосветской учительницы танцевального искусства, нарочно приезжала несколько дней подряд в графской карете, чтобы преподавать молодой девушке все правила церемониальных реверансов, по требованию придворного этикета. И вот настал наконец день представления императрице.

Граф Харитонов-Трофимьев сел со своей дочерью в парадную карету и поехал во дворец, а старая нянька Федосеевна в то же самое время наняла извозчика и с трепетом в сердце отправилась к «Казанской», нарочито петь владычице молебен, чтобы Бог помог её Лизутке как ни есть наилучше представиться матушке-императрице.

Обер-церемониймейстер Валуев ввёл гра-

финю Елизавету с отцом в приёмную залу на половине государыни.

Через четверть часа в эту залу вышла императрица Мария Фёдоровна, в сопровождении государя, статс-дамы баронессы Ливен [37] и фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой.

Смущённая и бледная, с замиранием сердца, графиня Елизавета отдала свой первый реверанс по всем правилам, удачно усвоенным ею от m-me Лантини.

Императрица милостиво улыбнулась и сделала ей знак приблизиться.

Государь самолично представил своей августейшей супруге графа Илию и его дочь, с которою, впрочем, и сам при этом впервые только познакомился. Императрица сказала обоим несколько милостивых слов и поблагодарила графа за его испытанную уже в прежние годы «приверженность» к своему супругу, когда тот был ещё великим князем.

— Вся жизнь моя, как в оны дни, так и ныне, по самый гроб всецело принадлежит его величеству, — с глубоким поклонам отвечал Харитонов-Трофимьев.

— Нам приятно видеть вокруг себя наших добрых, испытанных друзей, — заметила государыня со своей обворожительной улыбкой. — И я надеюсь, — продолжала она, окинув взором девушку и тотчас же переведя его на супруга, — я надеюсь, государь не откажет мне в просьбе?

— В чём дело? — вопросительно вскинул на неё император свой на этот раз светлый и весёлый взгляд.

— Я желала бы иметь графиню Елизавету в числе фрейлин моего двора.

— О, с охотнейшим моим сердцем удовлетворяю желанию вашего величества! — радостно воскликнул император.

Зардевшись от радости и вся преисполненная благодарным чувством за себя и за своего отца, девушка скромно и изящно отдала новый глубокий поклон государыне. После первых минут невольного смущения теперь она впервые только могла поднять на неё взоры и разглядеть как саму императрицу, так отчасти и особ, её окружающих.

Государыня показалась ей очень красивой, белокурой женщиной; высокий, стройный

рост, при некоторой полноте, сообщал всей её фигуре очень много величия, а необычайная скромность и степенность её манер придавала ей на первый взгляд даже нечто строгое и повелительное. За нею, в двух шагах с правой стороны, виднелось исполненное открытого достоинства, честности и доброты лицо баронессы Ливен, которую Мария Фёдоровна называла и почитала своим доверенным другом, а слева — в совершенный контраст с величественной наружностью государыни — стояла фрейлина Нелидова — маленькая, живая и подвижная, как ртуть, сухощавая брюнетка, с блестящими чёрными глазами и с милостивым личиком, которое всё дышало жизнью и выразительностью, отражая в себе малейший оттенок каждого впечатления. Эта маленькая брюнетка почиталась тогда самой яркой звездой интимного придворного кружка, где блистала игрой своего остроумия и изяществом манер и танцев.

Отпуская от себя графа Харитонову с дочерью, государыня подозвала Нелидову и поручила её вниманию и дружбе графиню Елизавету, как молодую фрейлину, не вполне ещё

знакомую с порядками придворной жизни, этикета и отношений, прося не оставлять её, в чём потребуется, дружеским советом или указанием. Это было сделано согласно заранее сообщённому императрице желанию государя, который хотел дать молодой и неопытной девушке на первых шагах её новой жизни надёжного друга и руководительницу для того, чтобы не осталась она одинокой в сфере, пока ещё для неё чуждой и незнакомой.

Весёлая и счастливая, шумя шлейфом парадной робы, впорхнула графиня Лиза в залу отцовской квартиры, где ожидал уже возвращения графа Василий Черепов.

— Поздравляйте, поздравляйте меня! — смеясь и хлопая в ладоши и вся сияя живым восторгом, говорила она, подбегая к молодому адъютанту. — Это прелесть! восторг! божеество! величество!..

— Кто? что такое? — недоумённо пробормотал Черепов.

— Как кто? Она! Государыня! Какая благодать в ней, если б вы знали! Как она милостива! Как ласково приняла!.. Мне было сна-

чала так страшно-страшно, а потом, как взглянула на неё, на эту улыбку, взор божественный — так хорошо вдруг стало! И страх как рукой вдруг сняло! Ах, какая же она добрая и величественная!

— Кланяйся, сударь, кланяйся и приветствуй! — весело и шутливо обращаясь к Черепову, говорил граф Харитонов. — Могу представить тебе вновь пожалованную фрейлину двора её императорского величества. Каково метнула моя деревенщина!.. а?

— Постой, папушка, не мешай! Дай рассказать всё по порядку!

И Лиза, словно бы торопясь высказаться, наскоро стала передавать Черепову все впечатления, какие произвёл на неё приём государыни и государя, их черты, наружность, разговор, обстановка дворца и прочее: только рассказ её отличался отсутствием всякого порядка и последовательности, хотя она и намеревалась рассказывать «по порядку». Все эти впечатления как бы толпились и теснились в её душе и сразу, одно наперебой другому, порывались высказаться, выпорхнуть наружу.

Черепов слушал её рассказ и любовался

оживлёнными чертами её лица, которое всё сияло восторгом и полудетской гордостью достигнутого торжества и счастья. Заметно было, что оказанное ей внимание льстит её молодому самолюбию и начинает кружить пыльную голову. Он был рад и счастлив за графиню Лизу, но... в то же самое время нечто похожее на смутное предчувствие тревожно шептало ему, что это увлечение блеском двора, эта гордость первого успеха едва ли не будет, в дальнейшем своём развитии, служить помехой их взаимному сближению, которое началось ещё так недавно и при таких, по-видимому, благоприятных условиях.

«Закружится... Ох, кружится пташка в этом придворном свете!.. Тут и молодость, и красота, и толпа поклонников, искателей, воздыхателей, и всё новое, невиданное... Поди-ка, и не вспомнит про нас, грешных!» — думалось Василию Черепову.

«А ты не плошай и будь молодцом! Бери своё с бою!» — подсказывало ему в то же время своё собственное самолюбие.

XIII

Екатерининская гвардия

«Нельзя изобразить, в каком странном и удивительном положении была до сего гвардия, — говорит один из бытописателей — современников этой эпохи[38], — и сколь многие злоупотребления во всём господствовали в высочайшей степени в оной. Ежели бы всё то изобразить, то составила бы прелюбопытная картина для потомства, и потомки наши не только б стали удивляться, но едва ли б в состоянии были поверить, чтоб всё то существовало в самом деле, и скорее могли бы подумать, что то выдуманная баснь и совершенная небывальщина».

И действительно, положение было «странное». Гвардейские солдаты, в течение нескольких десятков лет живя неподвижно в Петербурге и неся одну только караульную службу, изнежились и избаловались до такой степени, что начальство с трудом поддерживало в своих частях кое-какие наружные признаки дисциплины. Многие из солдат обзаво-

дились целыми домами, отдельным хозяйством, открывали лавочки и лавки, занимались торговлей и промыслами; другие, пользуясь бесконечными отпусками, вовсе и не жилали даже в своих полках. От этого происходило, что полки, считаясь в полном комплекте, налицо не имели и половины штатного числа людей, а между тем жалованье отпускалось на всех. Этим пользовались полковые командиры и скопляли себе из жалованья отпускных целые состояния.

Но и это ещё были злоупотребления не первой важности. Одно из главных зол составляли дворяне, записавшиеся в гвардию в звании унтер-офицеров и сержантов. Этих дворян за екатерининское время понадобилось в полки громадное множество; в одном Преображенском числилось их несколько тысяч, а во всей гвардии до двадцати тысяч человек! И не только дворяне, но и купцы, секретари, подьячие, духовенство, ремесленники, управители и даже господские люди, благодаря протекции сильных лиц, а также чрез деньги и разные происки, записывали детей своих в гвардию и тем самым доставляли им

те же выгоды и преимущества, какими пользовались дворяне действительно служилые. В гвардейские полки можно было записывать не только взрослых, но и грудных младенцев. Доходило даже до того, что отцы записывали детей ещё не родившихся и получали на них законные виды и патенты с пустыми местами в строках для вписки имени. «И вся мелюзга сия, — говорит бытописатель и современник, — не только записывалась, но жалована была прямо либо в унтер-офицеры, либо в сержанты». Многие, однако, и этим ещё не довольствовались. Нежные и заботливые родители зачастую добивались, чтобы действительная служба их младенцев и даже неродившихся будущих детей считалась непосредственно со дня зачисления их в список гвардии. Таким образом, старшинство в чинах по линии производства шло этим фиктивным гвардейцам ещё в утробе матери, и многие из них, едва достигнув десяти — или двенадцатилетнего возраста, выходили уже в отставку гвардии капитанами или армии подполковниками, а родители их похвалялись тем, то мой-де сын-дворянин уже окон-

чил свой термин службы и имеет теперь право всю остальную жизнь безмятежно прожить на покое в своём поместье.

Что же касается взрослых гвардейцев, то и из них большая часть не служила вовсе, а проживала себе праздно где заблагорассудится. Все они «либо лытали[39], вертопрашили, буянили, бегали на бегунцах, либо с собаками по полям только рыскали да выдумывали моды и разнообразные мотовства»[40].

Но и это ещё было не наибольшее зло.

Самое главное зло заключалось в том, что эти праздно проживающие гвардейцы, едва достигнув шестнадцати или восемнадцати лет, «будучи ещё сущими ребятишками и молокососами», перечислялись в армейские части штаб-офицерскими или, по меньшей мере, капитанскими чинами, приезжали в свои полки и, не смысля ни аза в военном деле, да и грамоте едва ли зная, получали по праву в непосредственное своё командование не только роты, но и батальоны и даже полки, с ежегодным доходом в несколько десятков тысяч, и перебивали линию старшинства у действительно старых служак. Существует од-

на очень характерная песенка, сложенная И. И. Дмитриевым в последние годы екатерининского царствования, где автор говорит:

*Обманывать и льстить
Вот все на разум правы;
Ах, как не возопить:
«О, времена! о, нравы!»
Полковник в двадцать лет
Подпорой нашей славы,
А ротмистр дряхл и сед,
О, времена! о, нравы!*

Представьте себе, в самом деле, каково было седоусому, опытному и боевому ротмистру, прослужив верой и правдой в поле двадцать пять, а не то и все тридцать лет, поступать вдруг под начальство двадцатилетнего полковника, который не только что не нюхал пороху, но даже и «налево кругом» не умел правильно скомандовать, но зато пользовался правом распекать, делать «реприманды»[41] и даже без объяснения причин давать «абшиды», то есть увольнять подчинённых в отставку.

«Нельзя изобразить, — говорит бытописатель, — какое великое множество выпуска-

лось таких мотов, невежд и сущих молокососов ежегодно в армию!» Едва наступало 1 января, как эти «молокососы штаб-офицерских рангов» целыми сотнями выпускались в армейские части, и не было полка, в котором не состояло бы их иногда по несколько десятков сверх комплекта, и все до одного получали от казны полное содержание по штатам. Армейские военачальники и даже такие лица, как Румянцев и Суворов, решительно не знали, куда с ними деваться. Большинству из них выдавалось разрешение идти себе на все четыре стороны с сохранением старшинства и содержания, лишь бы только не мозолили глаза и не бременили своим невежеством порядка и требований действительной службы. Но это была мера паллиативная, так как с каждым новым годом на нашу армию всё-таки выпускались новые тучи подобной гвардейской саранчи, которая всё более и более «садилась на шею» заправским армейским служакам. Сверх того, множество гвардейцев выпускалось и «к штатским делам» со значительным старшинством и повышением в чине и точно таким же образом садилось на

шею действительным дельцам гражданской службы, отбивая у них места и повышения, но нимало не внося с собой на новое своё поприще хотя бы мало-мальского знания дела. О выпуске же в отставку полковниками и бригадирами нечего и говорить: таких было множество, и всё это в совокупности делало необычайно быстрым производство в гвардии, которое, по словам современника, «летело как птица на крыльях», так что в семь или восемь лет из прапорщиков люди выскакивали в бригадирский чин, «лежучи на боку и живучи в деревне». Никогда ещё в России, ни до, ни после, не было так много «бригадиров и полковников-молокососов», как в этот период времени, и никогда гвардейские полки не были переполнены таким «несметным множеством» сверхкомплектных и Бог весть где проживающих офицеров. «Монархиня у нас была милостивая и к дворянству благорасположенная, — говорит бытописатель, — а господа гвардейские подполковники и майоры делали что хотели, и не только они, но даже самые гвардейские секретари были превеликие люди и жаловали кого хотели за деньги».

В таком-то положении застал гвардию и весь военный механизм государства император Павел Петрович.

Что же оставалось ему делать при подобных порядках?

Уже с давнего времени, будучи ещё наследником престола, Павел смотрел с прискорбием и беспокойством на такой ход дела. Он живо чувствовал и понимал ту нестерпимую обиду, какую несли армейские служаки, но, не имея собственной воли, по необходимости, должен был молчать до времени. Но вот, едва лишь успел он вступить на престол, как уже именным указом от 20 ноября[42] повелел оповестить повсюду, чтобы все гвардейские чины, уволенные в домовые отпуска, «непременно и в самой скорости» явились к своим полкам и командам, где должны впредь нести прямую службу, «а не по-прежнему наживать себе чины без всяких трудов».

Именные повеления и указы Павла исполнялись изумительно быстро и точно. Он приучил к этому с первых же минут своего царствования. Точно так же и этот последний указ сопровождался всей возможной быстро-

той и «неукоснительностью». Что за тревога и гоньба поднялась вдруг по всем концам государства! Как переполошились гвардейцы взрослые и родители гвардейцев-малюток. Из Москвы вытурили в течение нескольких часов, а многих выпроваживали даже и под конвоем; с больных отбирали подписки о скорейшем выезде, как только позволит состояние здоровья, никому не давали покоя, пока не было исполнено «в самой точности» царское повеление. Весть об этом повелении, как громовой удар, поразила всю Россию, и по преимуществу дворянство. Паника увеличивалась ещё новыми слухами о том, что будет кто не явится в срок, но не только что будет исключён из службы, но и имена всех таких имеют быть сообщены в герольдию, дабы впредь никуда уже не принимать исключаемых и вычеркнуть их из дворянских росписей. Тысячи нареканий, сетований, вопли и слёзы посыпались отовсюду на новые «деспотические» порядки. Множество гвардейцев, из тех, что лежебочили в деревнях, успели не только пожениться, но и детей своих записать в гвардию; другие кусали себе с досады

губы и пальцы, каясь, что не успели вовремя выйти в отставку; третьи рассчитывали на сей год наверняка выскочить в капитаны или полковники, получить доходные полки, и вдруг всё это лопнуло, все мечты и надежды рассыпались прахом!.. Всё это гвардейство сходило теперь с ума и мучилось тоской, не зная, что делать и как предстать пред лицом монарха. Но безвыходнее всех оказалось положение тех отцов и матерей, у которых дети числились на службе гвардии сержантами ещё в материнской утробе и, будучи теперь в младенческом возрасте, писались отпущенными домой «для окончания образования в науках». Многим из этих младенцев благодаря деньгам и проиcкам не только служба считалась за действительную, но даже было «приклёпано» по нескольку лишних годов, и нашлось множество примеров, что в полковых списках показывались 16 и 18-летними те, кому, в сущности, не было ещё и 10-летнего возраста. Как со всем этим было показаться на глаза государю, который строго и «неукоснительно» требовал к себе на личный смотр всех без исключения отпускных гвардейцев?

А между тем, как ни круто было, но высочайшее повеление приходилось исполнять. Местные административные и воинские власти повсюду разыскивали гвардейцев и волей-неволей выпроваживали их в Петербург. Со слезами и горем, с воплями и проклятием «деспотизму» жёны отправляли мужей, сёстры — братьев, матери — детей своих. Все большие почтовые дороги усеяны были кибитками скачущих гвардейцев, старых и малых, и матерей, которые в страхе и в трепете везли своих грудных сержантов и прапорщиков на смотр государю. Ямские слободы спешили пользоваться обстоятельствами этой усиленной гоньбы и драли за лошадей неимоверную плату, умножая этим всеобщий ропот и неудовольствие. «Сим-то образом, — заключает бытописатель, — наказано было наше дворянство за бессовестное и бесстыдное употребление во зло милости милосердной монархини и за обманы его непростительные». А вместе с тем надо заметить, что мера, в сущности, вполне законная и справедливая, послужила для большинства дворян первым предлогом к ропоту и недовольству против

нового правительства.

Надо было выбить из гвардии её преторианский[43] дух, что воспитался в ней благодаря тем политическим переворотам, в которых со смерти Петра I она постоянно принимала участие и пользовалась за то мирволением да поблажками со стороны высшей власти. Надо было заставить гвардейцев сделаться в настоящем смысле солдатами, а не преторианцами, не лейб-кампанцами, среда которых постоянно доставляла контингент политических авантюристов, иногда высокодаровитых и даже гениальных, но чаще всего алчных и своекорыстных, при полной посредственности ума и характера. Павел вполне понимал всё безобразие подобного преторианства и одной из первых своих целей поставил радикальное искоренение его. Все малолетние и неслужащие гвардейцы были исключены из списков, некоторые чины, как, например, сержантские, секретарские, обозничьи, были уничтожены и все вообще понижены против прежних рангов. До сего времени каждый гвардейский рядовой считал себя не иначе как наравне с армейским прапорщиком, а

сержант не ниже капитана; император же Павел, согласно с регламентом Петра Великого, установил, чтобы одни лишь гвардейские офицеры, но отнюдь не солдаты, считались выше армейских на один только чин и чтобы впредь из гвардии вовсе не выпускать в армейские полки с повышениями, да и в отставку увольнять не армейскими, а гвардейскими же чинами. Этим он добился того, что гвардия в его короткое царствование оставила свою былую кичливость и политическое самомнение, а сделалась только войском, и притом отлично дисциплинированным. А чтобы и самая внешность её не напоминала ей прежнего преторианства, император заменил ей пышные и дорогие мундиры самыми простыми и дешёвыми.

Служба стала строга и тяжела. В шесть часов утра все солдаты и офицеры, не исключая даже великих князей, уже присутствовали на съезжих полковых дворах и до самого полудня — какая ни будь там стужа или слякоть — занимались военными экзерцициями. О шубах, муфтах и каретах не стало и помину в среде гвардейского офицерства. Но... в боль-

шинстве этой среды всё росло и росло затаённое неудовольствие и ропот. Новые требования и порядки после недавнего приволья казались гвардейцам «насилием и произволом деспотизма».

XIV

Заветный червонец

В отдельном кабинете «ресторации Юге», которая помещалась в «Демутовом трактире», сидело за завтраком несколько гвардейских офицеров. Чины всё были небольшие: от прапорщика до капитана включительно. На столе стояли устерсы, холодный ростбиф да несколько бутылок портеру и разных вин, которые своей пустотой очевидно доказывали, что господа офицеры успели оказать им подобающую честь. Лица состольников уже достаточно подрумянились, пенковые «пипки» дымились в устах, камзолы были нараспашку; но разговоры этой компании далеко не отличались той громогласностью, какая, по-настоящему, необходимо должна бы сопровождать приятельскую беседу при таком «лёгком под-

питии». Говорили тише, чем в обыкновенный голос: разговор шёл о современных порядках. Екатерининские гвардейцы осуждали новые требования и строгости военной службы и приходили в негодование и ужас от новой меры наказания, которая доселе никогда не применялась к офицерам и почиталась между ними за наказание позорное: на днях два гвардейских офицера за какую-то ошибку на вахтпараде отправлены были под арест на гауптвахту.

— Слыханное ли дело! Офицера, дворянина — и вдруг под сюркуп часового!..[44] После сего и служить невозможно!

— Чего невозможно! — возражал Черепов, — стоит только устав вытвердить.

— А ты его небось вытвердил?

— Я вытвердил.

— Исполать тебе! Ну а нашему брату, ей-богу, это такая немецкая тарабарщина... То ли дело устав при матушке Екатерине!

— Ничего, стерпится — слюбится, ребята!

— Да, тебе хорошо говорить! Ты в харитоновских адъютантах сидишь как у Христа за пазухой; а ты, сударь, пожалуй, изволь на на-

ше место стать, в строй, на морозец, так иначе запоёшь. Офицер должен украшать собой службу, а тем паче гвардейскую! Офицер, ежели он есть человек благородный, обязан иметь гардероб пристойный и богатый, негнусный стол, выездной экипаж с гусаром либо с егерем... а ныне что?! Вырядили нас в эти грошовые обезьяньи мундирчики и заставили ездить верхом либо в простых санках в одиночку, да мало сего — ещё за обедом опричь двух блюд воспретили иметь! И ходи по чину, и одевайся по чину, и ешь по чину! Да я не по чину, а по утробе желаю!

— И, однако ж, это не мешает нам улаждать себя устерсами в сей ресторации, — улыбнулся Черепов.

— Да! улаждайся под сурдину и разговаривать громко не смей! Мы теперь, брат, и в караул не иначе заступаем, как захватив в карман несколько сотен, на тот случай, что ежели неравно прямо с поста на курьерской тройке в Сибирь отправят, так чтобы хоть сколько-нибудь деньжонок при себе на дорожные расходы!

— Уж будто так!

— Доподлинно говорю! Поверь, пожалуй!

— Н-да!.. Времена! — вздохнул один из офицеров, постарше других годами и чином. — Не единожды вспомнешь прежнюю службу! То-то роскошь была!.. В карауле, бывало, стаивали по целым неделям, так что, отправляючись на пост, берёшь с собой и перину с подушками, и халат, и колпак, и самовар. Пробьют это вечернюю зорю — поужинаешь, выпьешь здорово, разденешься и спишь себе вволю, как дома. Но уж в особенности в утеху было стаивать летом в загородных постах. Встанешь, бывало, с солнышком и пойдёшь себе, не одеваясь, а так как есть, в колпаке да в халате, в лес за грибами — любо! И никаких никогда историй, и никаких происшествиев. Бог хранил! А уж этих формальностей вовеки не знали! А теперь тебя хуже чем в профосы [45] трафят! То и дело читаешь в «Ведомостях»: таких-то и таких-то выкинуть из службы, яко недостойных! «Выкинуть!» Хм!.. как ошкурок или тряпку какую!.. Срам и позор благородному дворянскому сословию! Каково терпеть-то это!

— А что, государи мои, не прокинуть ли с

горя в фараончик? — предложил кто-то из офицеров.

— Тсс! какой тебе фараончик!.. Иль не читал разве? Запрет, строжайший запрет на азартные игры!

— Ну, и пущай его!.. Запрет сам по себе, а мы сами по себе. Прислуга здесь у Юге верная, не выдаст... Дверь на задвижку можно.

— Разве что на задвижку... Только чур: не кричать, ребята, не разговаривать громко, а то беда!

— Ах, любезный друг, «беда — что текучая вода: набежит и сплывёт». Вынимай-ка карты! У кого есть в запасе?

— У Черепова есть. Вася, есть у тебя?

— Найдётся. Кто метать будет?

— Да чего там кто? Твоя колода, ты и мечи.

— Ин быть по сему! Пятьсот рублей в банке.

И, вынув из кармана шёлковый вязаный кошелёк, Черепов высыпал из него на стол груды червонцев и серебряных денег.

Началась игра.

Счастье колебалось: то везло оно Черепову, то отворачивалось от него, то заставляло его

некоторое время балансировать на скользком уровне, как бы не говоря ему ни *да*, ни *нет*, и снова хмурилось, и снова улыбалось. Игра с каждой минутой становилась интереснее, оживлённее и бойчее. Игроки всё более и более одушевлялись и время от времени невольно громким восклицанием и спором сопровождали переменчивые обороты карточного счастья. Один только солидный капитан — тот самый, что вздыхал о халатах и перинах прежней караульной службы, — по праву старшинства в чине и в летах, сдерживал каждый раз чересчур уж громкие взрывы молодёжи, напоминая ей о грозном запрете азартных игр, «по указу его императорского величества». И молодёжь, любящая, в силу своих лет и горячей крови, что называется, поплясать на лезвии ножа, на минуту сдерживала, под давлением его авторитета, слишком громкое проявление своих азартных чувств и начинала говорить чуть не шёпотом, но через некоторое время опять невольно отдавалась волнениям той же горячей крови и влиянию избытка юношеских сил. Каждый очень хорошо сознавал, что теперь уже

не прежнее, ещё недавнее, время, когда можно было где угодно и сколь угодно, без запрета и без всякой опаски предаваться своим игроцким и иным пылким страстям юности; но тем-то и интереснее казалась для них игра — этот запретный плод новейших дней, именно потому, что он стал вдруг *запретным*, что тут приходилось теперь рисковать не одним своим карманом (это бы пустяки!), а всей карьерой, всю судьбой своей жизни.

Переменчивое счастье, после нескольких оборотов своего колеса, вдруг отвернулось от Черепова самым крутым образом. В несколько карт он спустил весь свой банк, который был сорван счастливым капитаном.

Молодой адъютант бросил колоду и объявил самым решительным тоном, что на нынешний день не станет более метать.

— Мечи, кто хочет, ребята! С меня довольно: кошелёк мой впусте.

— Играй на мелок, — предложил ему кто-то из товарищей.

— Гм... на мелок... Да мелков-то нет у нас.

— Ну, на карандаш играй; карандашом записывать станешь!

— Не хочу! Довольно!

— Ну, как знаешь. Займи, коли хочешь, и продолжай. Прерывать не следует.

— Довольно, чёрт возьми! Говорю, довольно! Продолжайте, государи мои, коли в охоту!

И он поднялся со стула.

Солидный капитан занял его место и стал метать.

Черепову было немножко досадно. Хотелось попытать ещё раз счастья — авось-либо вывезет! Но играть на карандаш или одалживаться у других ради игры — ему не хотелось из самолюбия. Он отошёл в сторону, налил себе стакан вина, развалился на канапе и закурил тоненькую, длинную голландскую «пипку». А между тем, глядя на игорный стол, окружённый тесной группой молодёжи, он чувствовал, как сердце его зудит страстным желанием попытать снова свою удачу. В кошельке его оставался только один, и уже последний, «голландчик». Но этот червонец был для него заветным.

Его покойная мать, ещё ребёнком отправляя своего Васеньку в шляхетный корпус, вручила ему эту монету вместе с благословен-

ным образом и заповедала сберечь его на счастье или на самый крайний чёрный день, потому что этот «голландчик» принадлежал ещё её деду и спокон веку почему-то почитался в семье особенно счастливым. И Черепов до сей минуты свято сохранил у себя дорогой подарок.

«Рискнуть разве?.. Куда ни шло!.. Ведь он счастливым называется, ведь он заповедный! А коли счастливый, то должен выручить, — думалось ему в то время, как на столе золотые „голландчики“ переходили из одной кучки в другую. — А что, если попробовать на её счастье?.. Ведь она и впрямь счастливая... Поставлю-ка я на бубновую даму... Ей-Богу! Куда ни шло!»

И Черепов поднялся с места.

«Ну, моя радость, моя любимая, дорогая, желанная, выручай!.. Выручай меня!» — мысленно молил он, обращаясь в уме к светлому образу той девушки, которая с недавнего времени всецело царила в его сердце.

— Атанде! — сказал он, вмешавшись в среду игроков, окружавших стол, — золотой на бубновую даму.

— Ого! На девушку? — весело заметил кто-то.

— Да ещё на какую, кабы вы знали! Уж коли эта не выручит...

— А вдруг изменит?

— Что-о?.. Она изменит?.. Мечите, капитан, мечите!

Вдруг, в эту самую минуту, кто-то внезапно дёрнул с наружной стороны за ручку запертой двери. Игра мгновенно прекратилась, карты исчезли со стола, и на грудки золота офицеры поспешили накинуть несколько салфеток. Заветный «голландчик» остался в кармане Черепова.

Один из игроков отомкнул задвижку и отворил. На пороге появился ресторанный слуга, а за ним выглядывала фигура гвардейского пехотного солдата.

— Что вы, черти, беспокоите!.. Чего вам надо?

— А вот кавалер про корнета Черепова пытаются, — почтительно объяснил лакей, — не здесь ли, мол, спрашивают, потому как они, сказывают, были у них на дому и дома им сказали, что господин корнет здесь находится,

то я им и говорю, что они точно здесь, и проводил сюда.

— От кого ты, любезный? Что тебе? — с неудовольствием спросил солдата Черепов.

— От их сиятельства графа Харитонов-ва-Трофимьева очередной вестовой, — отвечал гвардеец. — К вашему благородию записка, — прибавил он, доставая из кармана сложенную и запечатанную облаткой бумажку.

Черепов развернул записку и взглянул на почерк. Очевидно, почерк был женский.

«Господи! неужели... неужели она? Что же это значит?» — тревожно ёкнуло его сердце, и он с нетерпеливым чувством жадно стал пробегать глазами наскоро начертанные французские строки.

«Батюшке очень нужно зачем-то вас видеть, — писано было в этой записке, — и так как я иногда по своей охоте разыгрываю, как вам известно, роль его секретаря, то и спешу вас уведомить, согласно его желанию, чтобы вы приезжали к нам как можно скорее. Кстати, если хотите похвалить или покритиковать мой придворный сарафан, в котором я должна буду присутствовать на коронации и

который только что привезён мне для окончательной примерки г-жою Ксавье, то поторопитесь вашим приездом».

«Голубка моя! Дорогая!» — чуть было не вслух подумал обрадованный Черепов и, сунув кое-как записку в карман камзола, как ошалелый поспешно выбежал вон из ресторана.

— Черепов!.. Вася!.. Друг! Куда ты? Что с тобой? — раздавались вслед ему голоса товарищей, изумлённых этим поспешным и каким-то встревоженным бегством.

Корнет не оборачиваясь махнул им рукой и поспешил далее.

— Экой малый!.. Вот служака-то! Как спохватился вдруг! — пожимал плечами солидный капитан. — Ба! а ведь шпагу-то свою второпях и позабыл, — промолвил он, кинув случайный взгляд в угол, где стоял тяжелокавалерийский палаш Черепова. — Эй! Сударь! Шпагу захватите! Шпагу! — кричал он ему вслед; но молодой адъютант, скрывшись за дверь, уже не слышал этих восклицаний.

— Вестовой! Подожди-ка, брат, на минутку, захвати шпагу корнета да беги за ним как

наискорее! — распорядился один из офицеров, вручая гвардейскому солдату оружие Черепова.

Тот принял палаш и пустился вдогонку за адъютантом.

Как назло, ни одного извозчика не было у подъезда ресторации. Черепов, проклиная и этот случай, и всех «Ванек» на свете, спешно пустился шагать вдоль по Мойке, а вестовой что есть мочи нагонял его со шпагой и был уже в десяти шагах от своего офицера, как вдруг сзади обоих ясно и громко раздался чей-то повелительный и гневный голос:

— Солдат, стой!.. Господин офицер, стойте!

Оба остановились, и в то же мгновение оба обернулись назад и замерли, окаменев в невольном испуге.

К ним, ухватив кучера за кушак и приподнявшись в одиночных лёгких санях, подъехал император.

— Чью несёшь ты шпагу? — спросил государь вестового.

— Их благородия, — смущённо отвечал перепуганный гвардеец, указывая глазами на Черепова.

— Их благородия? — повторил государь, принимая удивлённый вид. — О?! Неужели? Стало быть, надо думать, что их благородию слишком тяжело носить свою шпагу, и она им, видимо, наскучила. Пожалуй-ка сюда, господин офицер, приблизьтесь! — строго позвал он Черепова.

Тот подошёл, не предвидя ничего доброго.

— Ага, так это вы?! — гневно воскликнул узнавший его император. — Так это вы, сударь!.. Весьма сожалею!.. Жалую вас в офицеры моей гвардии, не чаял я, сударь, что вы окажетесь столь небрежливы к своему сану и притом столь нежны, что даже шпагу будете считать себе отягощением.

Черепов, не постигая до сей минуты, в чём дело и за что такой гнев, торопливо ощупал свой левый бок и только тут с ужасом заметил, что он без шпаги.

— Ну, любезный, — продолжал государь, обращаясь к вестовому, — так как сему офицеру шпага его тяжела, то надень-ка ты её на себя, а ему отдай штык свой с портупеей: это оружие будет для него полегче.

Ошеломлённый Черепов понял, что этими

роковыми словами вестовой произведён в офицеры, а он разжалован в солдаты, и машинально надел на себя амуницию рядового.

— Ступай в полк, — говорил между тем государь гвардейцу, который живо подстегнул себе офицерское оружие, — явись твоему начальству и скажи, чтобы сего же дня при вечернем рапорте мне о тебе доложили. Как твоё имя?

— Изот Нефедьев, ваше императорское величество!

— Хорошо, любезный! Ступай. А ты, — гневно сверкнул государь глазами на Черепова, — становись на запятки, негодница!.. В крепость! — крикнул он вслед за тем кучеру — и бодрая лошадь помчалась.

Был четвёртый час дня. На дворе стояла непогодь и ростепель, с моря дул порывами сырой и холодный ветер, но в улицах былолюдно, и на Невском проспекте сновало много экипажей. Ещё издали завидя императора, народ торопливо снимал шапки и кланялся; возки, кареты и извозничьи санки останавливались среди улицы; из экипажей выскакивали седоки, сбросив шубы, и становились —

мужчины прямо в грязь, на мостовую, а дамы на каретную подножку и встречали проезжавшего государя глубокими поклонами. Беда, если бы кучер оплошал и не остановился вовремя: по проезде государя полиция тотчас же арестовывала виновных, причём и экипаж с лошадьми был бы отобран в казну, и кучер с форейтором насиделись бы на полицейской «съезжей», где были бы высечены розгами, и выездному лакею (как и бывало то в иных случаях) забрили бы лоб, да и господа натерпелись бы множества хлопот и неприятностей, эти строгие требования уличного этикета казались более всего обременительными и несносными для столичной публики, вызывая в ней постоянный ропот на новые порядки.

Видя гневное лицо государя и гвардейского офицера с солдатской портупеей на запятках его саней, прохожие любопытно оборачивались вослед последнему и окидывали его сострадательными взглядами, всяк догадывался, что это, должно быть, новый несчастный, которого, наверное, упекут куда-нибудь далеко...

И сам Черепов думал про себя то же.

Смутно и горько было у него на душе.

«Теперь прощай!.. Теперь уже всё пропало! — думалось, ему в то время, как царский рысак бойко мчал лёгкие санки по людным улицам. — Вот она, фортуна!.. Ох, эта фортуна — цыганка: как раз обманет!.. А она... она-то, моя радость, ждёт, поди-ка, сердится — что, мол, долго замешкался!.. И не чаёт, что ты уже в солдатах, на дороге в каземат, а оттуда, вероятно, в ссылку, в какие-нибудь отдалённые сибирские гарнизоны...»

Черепов знал, что в этих случаях не шутят и высочайшие повеления выполняются комендантом Аракчевым немедленно, с быстротой изумительной. Ему стало жутко, когда подумал, что не успеет он теперь не только известить графа Харитонова письмом о своём неожиданном несчастье, что Лиза о нём ничего не узнает, но что не дадут ему даже захватить с собой перемену белья да кой-какое тёплое платье, что так и посадят, как есть, в одном мундирчике, на курьерскую тройку, рядом с полицейским драгуном, и помчат через два-три часа в те страны, куда и ворон ко-

стей не носит. На свою беду и деньги-то всё проиграл он в проклятый фараончик! Как быть? За что ухватиться? С чем ехать в дальний и трудный путь?

В кармане у него оставался всего-навсего единственный и последний его заветный червонец.

«Мать, покойница, благословляла на счастье либо на крайний чёрный день... Вот он и пришёл, этот чёрный! — думалось Черепову. — Как же теперь обернёшься, да и много ли на такую сумму сделаешь?! Тулупишко да кеньги[46] где-нибудь на попутном базаре купишь, коли дозvoлят, а на иное что и не хватит. Да пока купишь-то, ночью мороз ой-ой как проберёт... Смерть!.. Уж и теперь ветер до костей пронимает... Жутко!»

А бодрая лошадь меж тем всё мчит и мчит по улицам лёгкие сани, и с каждым шагом всё ближе и ближе к Петропавловской крепости, и прохожие всё так же торопливо и смятенно спешат с глубоким поклоном обнажать свои головы.

«Господи, — думает Черепов, — если бы была хоть какая-нибудь возможность загово-

ритель, объяснить ему, как и почему это так случилось... Если бы он мог узнать всё как есть и какие мои побуждения были... Да нет! Это невозможно!.. Нечего и думать пустое... Твоя, Господи, воля святая, — будь что будет! Видно, уж судьба такая на роду мне написана. Нечего, значит, и жалеть себя!»

И, думая таким образом, вдруг заметил Черепов на дощатых мостках какого-то дряхлого и больного старика нищего, очевидно отставного солдата, который, ковыляя на костыле и протягивая к прохожим руку, дрожал от холода и кутался кое-как в скудные и рваные лохмотья форменной епанечки.

«Я-то ещё хоть молод и бодр, а вот этому каково! Может, семья с голоду помирает», — мелькнуло в уме Черепова, и сердце его сжалось от боли и сострадания при этой мысли.

И вдруг, по первому порыву сердца, почти не отдавая себе отчёта, что делает и какие ещё более страшные последствия могут из этого выйти, Черепов повелительно крикнул царскому кучеру:

— Стой!.. Остановись на минуту!

Кучер, по привычке, почти машинально

придержал вожжи и в недоумении, одновременно с удивлённым государем, оглянулся назад.

Лошадь остановилась.

Черепов соскочил с запяток, подошёл к нищему, полез в свой карман и, вынув заветный червонец, сунул его в дрожащую руку калеки.

— Дай тебе Господи... Спаси тебя, Мать Пресвятая Богородица! — зашамкал, крестясь, вослед ему несчастный.

— Пошёл! — крикнул кучеру Черепов, спешно вскочив на запятки, — лошадь снова помчалась.

Прошла минута — Павел не обронил ни единого слова. Прошла ещё минута.

— А какой на тебе чин, братец? — вдруг обернул он искоса лицо своё на Черепова.

— Рядовой, ваше императорское величество, — отвечал тот.

— Рядовой?.. Ошибаешься, братец: не рядовой, а унтер-офицер.

— Унтер-офицер, ваше императорское величество!

— То-то!

Едут далее. Переехали по льду через Неву.

Вот и Иоанновские ворота Петропавловской крепости. Черепов недоумеваает: «Что ж это, в самом деле, значит и как объяснить себе? — произвёл в унтер-офицеры, а всё-таки везёт в крепость».

Перед самым въездом в ворота государь опять искоса повернул к нему лицо своё:

— Какой на тебе чин, сударь?

— Унтер-офицер, ваше императорское величество!

— Неправда, сударь, корнет.

— Корнет, ваше величество, — подтвердил Черепов, всё более и более приходя в недоумение и не зная, чем-то ещё всё это разрешится на главной гауптвахте, внутри крепости. Он испытал нечто похожее на внутреннее ощущение утопающего человека, которому кажется, что уж он совсем погиб, тонет окончательно, захлёбывается, — и вдруг какая-то счастливая волна опять выносит его на поверхность, опять он видит на мгновение людей и небо и дышит воздухом, и вот кидают ему с берега спасательную верёвку, он уже ловит её руками, радостная надежда оживает в его душе, но он ещё боится верить своему

спасению: а вдруг новая волна опять окунёт его в бездну... Но — слава Богу! — крепость проехали благополучно. Государь не остановился ни пред главной гауптвахтой, ни у подъезда комендантского дома; а при выезде из тех ворот, что мимо кронверка ведут на Петербургскую сторону, опять обратился к Черепову:

— Господин офицер, какой ваш чин?

— Корнет, ваше императорское величество.

— Ан нет, не корнет, поручик, сударь.

— Поручик, ваше величество.

— То-то.

Едут далее, по Петербургской стороне, мимо церкви Николая Мокрого; на Тучков мост выезжают.

— А каков ваш чин, господин офицер? — снова раздался голос государя, но уже на этот раз заметно повеселевший.

— Поручик, ваше величество.

— Гм... Поручик... Неправда, сударь; чина своего не знаете! Штаб-ротмистр, а не поручик!

— Так точно, ваше императорское величе-

СТВО.

— Что такие: так точно?!

И при этом последнем вопросе в голосе государя вдруг появилась какая-то суровая нотка, от которой дрогнуло сердце Черепова и холодные мураши по спине побежали.

— Что «так точно», сударь, я вас спрашиваю? — ещё строже повысил свой тон император. — Что чина своего не знаете, это, что ли, «так точно»?

— Никак нет, ваше величество, я говорю «так точно», что я штаб-ротмистр.

— Ага, то-то, сударь!

«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его! Вынеси счастливо, Мати Пресвятая Богородица!» — мысленно молится Черепов, дрожа от холода на запятках. А санки меж тем мчатся по Малому проспекту Васильевского острова и приближаются к Чекушам, к тому месту, где обыкновенно устраивается съезд на зимнюю дорогу в Кронштадт, проложенную по льду так называемой «Маркизовой лужи».

Тут стояла гауптвахта и при ней унтер-офицерский караул. Прохожих на этом

пустыре почти не попадалось. На горизонте за взморьем, сквозь пустые тучи, начинали пробиваться рдеющие полосы заката, обещая на завтра мороз и ветер. Бодрый рысак наконец устал и запотел. Пар валил от него клубами. Чтобы дать передохнуть лошади, государь приказал кучеру пустить её шагом и повернулся к Черепову.

— Господин офицер, скажите мне чин ваш?

— Штаб-ротмистр, ваше императорское величество.

— Ан вот и неправда, сударь! Ротмистр!

— Ротмистр, ваше императорское величество! — бойко подхватил Черепов.

— То-то же, сударь, знайте! — кивнул ему государь с милостивой улыбкой. — Ну, скажите же мне, господин ротмистр, — продолжал он, — как могло таковое случиться, что вы позволили себе показаться на улице без оружия?

Черепов с полной откровенностью стал рассказывать, как было дело, как он после развода зашёл с несколькими товарищами позавтракать к Юге, как после нескольких бу-

тылок началась игра, как он проигрался в пух и, вспомня любимую особу, вздумал поставить на её счастье, на бубновую даму, свой последний заветный червонец и как в это самое время явился графский вестовой с запиской.

— Кто играл с вами? — нахмуясь, спросил император.

Черепов в крайнем смущении потупил глаза, не решаясь выдать товарищей.

— Государь! покарайте меня; я один виноват во всём! — произнёс он с глубоким, искренно-сердечным чувством.

— Впрочем, я не любопытствую знать их, — сказал император, подумав. — Я ненавижу ложь и презираю лжецов, но в сём случае вполне понимаю побуждение, которое удерживает вас назвать ваших товарищей. Я вас прощаю. Но как могли вы всё-таки забыть ваше оружие, тем паче если получили письменный ордер от вашего начальника и должны были спешить непосредственно к нему?

— Государь! — ещё тише и смущеннее заговорил Черепов. — Я получил не ордер, а простую записку, и не от начальника, а...

— А от кого, сударь?

Черепов потупился и молчал.

— Уж не от той ли особы? — улыбнулся император.

— Вы угадали, ваше величество! — скромно поклонился Черепов. — И потому-то, — продолжал он, — как только увидел я строки, начертанные её рукой, то и света невзвидел от радости и восторга, ибо это ещё суть первые строки, первый знак внимания, полученный мною от неё... И я кинулся как ошалелый бежать на её призыв, забыл про оружие, забыл и всё на свете, а уж это, вероятно, товарищи догадались передать мою шпагу вестовому, как вдруг встреча с вашим величеством.

— Да, встреча с моим величеством, — перебил государь, начиная снова хмуриться. — Всё это прекрасно! Но я желал бы знать, сударь, на каком это основании и по какому праву, и по чьему наконец повелению солдаты моей гвардии летают любовными постильонами и передают амурные цидулки?

— Клянусь, государь! — с жаром воскликнул Черепов, подняв свою голову и прямо, искренно взглянув в глаза Павла. — Клянусь че-

стью, это не амурная цидулка, это просто записка самого обыкновенного содержания.

— Охотно верю вашей искренности, сударь, но всё-таки желаю знать, кто это дерзнул распоряжаться, ради партикулярных посылок, ординарцами графа Харитонов-Трофимьева?

Что было отвечать на этот вопрос и как назвать заветное, дорогое имя? Как выдать ту тайну своего сердца, в которой он даже и ей самой, этой «любимой особе», не осмелился ещё признаться доселе?.. Черепов снова смутился и снова потупился.

— Я жду ответа, сударь! — настойчиво и строго заметил государь.

Положение было ужасное. Неискренность, ложь или дальнейшее молчание могли быть пагубны для Черепова, при этой вспыльчивости Павла, при этих резких и быстрых переходах его от гнева к милости и от милости вновь к жесточайшему гневу. Назвать имя графини Елизаветы Ильинишны — не значило ли бы скомпрометировать её, оставив в уме государя, быть может, подозрение насчёт содержания письма, хотя бы и самого орди-

нарного, как уверял он за минуту пред сим? И наконец, уже самый факт, что она, молодая, благовоспитанная девушка, вдруг ведёт какую-то корреспонденцию с молодым адъютантом своего отца, — не кинет ли этот факт на неё, в глазах государя, хотя бы самую лёгкую тень и упрёк в легкомыслии?.. Что тут оставалось делать! А между тем это грозное «я жду ответа, сударь», прозвучавшее из уст Павла непреклонным приказанием, светилося и в его взоре, пытливо и пристально обращённом на лицо молодого офицера.

Медлить далее было уже невозможно. Вместо всякого ответа Черепов достал из кармана записку Лизы и подал её государю.

Павел Петрович пробежал её глазами, и лицо его снова прояснилось, и на губах заиграла та благосклонная, приветливая улыбка, которою подчас он так умел очаровывать сердца и души.

— Так вот кто твоя зазнобушка! — сказал он, возвращая Черепову записку. — Ну, брат, извини, что узнал тайну твоего сердца. Впрочем, можете, сударь, быть спокойны: я её никому не выдам.

Черепов почтительно склонил свою голову.

— И что же, — продолжал император после некоторого молчания, — молодая графиня отвечает вам взаимностью?

— Не знаю, государь, — со вздохом ответил Черепов. — Я никогда ещё на сей предмет не дерзал объяснить с нею, хотя люблю её горячо и много.

— И на её-то счастье ставили на карту свой заветный червонец? Ха-ха! — весело засмеялся император.

— Хотел было, ваше величество, — подхватил Черепов, — да не успел, не удалось! Но я твёрдо верю, что она выручила бы! Непременно!

— Гм... И лучше, что не удалось, молодой человек, поверьте!.. А какую же монету изволили вы, сударь, отдать нищему? — как бы домекнувшись о чём-то через мгновение и быстро переменив свой милостивый тон на несколько подозрительный, недоверчиво спросил Павел.

— Да всё ту же, ваше величество, — усмехнулся Черепов.

— То есть червонец ваш?

— Так точно.

— Гм... Ну, вот видите ли, она и выручила! — снова самым весёлым тоном и даже радостно воскликнул император. — Всё-таки выручила! Там, где и не ждали! ха-ха!.. Это прекрасный поступок, господин майор, я усматриваю доброе и честное сердце... Я люблю это! Но мне нравится также и то, что вы чувствуете влечение к особе достойной! Я знаю её — прекрасная девица — и вполне одобряю выбор вашего сердца. Думаете сделать предложение?

— Не смею, ваше величество.

— Почему так?

— Да как сказать!.. Во-первых, неуверенность в ней, отвечает ли она моим чувствам...

— Мм... да, это до некоторой степени основательно. А во-вторых?

— А во-вторых, моё служебное положение, пока ещё маленькое и скромное положение.

— Н-ну, не совсем-то уж маленькое! — воскликнул, перебив его, император. — Ведь вы, сударь, насколько мне известно, кажись... э-э... тово... подполковник?.. Не так ли?

— Точно так, ваше императорское величество!

— Ну, вот видите ли! Штаб-офицерский[47] ранг! Это дело не маленькое и значаще облегчает, сударь, ваши шансы, если там у нас нет ещё какого-нибудь неприятного «в-третьих».

— Увы! Есть и «в-третьих», ваше величество! — пожал плечами Черепов.

— Будто так?! Хм!.. Что же такое?

— Да разность положения. Я хотя и негнусного дворянского рода — старинной отрасли потомок, но... состояньишко невелико: всего-навсего триста душ в двух именьях, а она — дочь богача и вельможи... Такая ли ей партия пристойна!

— Об этом не думайте, сударь! — подумав, решительно сказал император. — Всё это ваше «в-третьих», как есть, ничего не значащее. Она единственная дочь, и к тому же у неё и без вашего довольно. Старайтесь только, чтобы «во-первых» было удачно, то есть удостоверьтесь в её чувствах к вам, а об остальном не заботьтесь.

В это время санки подъезжали к чекушкинской гауптвахте. До платформы остава-

лось шагов сорок, не более.

— Караул — вон! — крикнул «часовой у фронта», узнав императора, и на его призыв из караулки выбежало человек десять измайловцев, которые спешно построились впереди сошек.

— Слушай, на пле-чо! Слушай, на караул! — скомандовал своему взводу старший унтер-офицер и, став на своё место, принялся салютовать алебардой. Но этот салют «по-новому» выходил у него и неловко, и смешно.

Государь приказал кучеру остановить лошаадь.

— Что за негодница стоит это за старшего?! — крикнул он, мгновенно приходя в сильное негодование. — Дела своего не смыслит! Да никак пьян ещё!

И действительно, наружность унтер-офицера отличалась далеко не воинственным видом. Брюзгливое лицо с плаксивым выражением глядело совсем по-бабьи, а несуразная, одутловатая фигура на тоненьких ножках являла в себе нечто весьма комическое в этом военном костюме и особенно с этой алебардой, которая была ей не по росту и, видимо,

затрудняла собой неловкого воина.

— Несносный вид!.. Подите и прогоните его с платформы! — приказал государь Черепову.

Тот соскочил с запяток и побежал на гауптвахту.

Но каково же было его удивление, когда, подбежав ко фронту, узнал он в несуразном унтер-офицере Прошку Поплюева.

«Вы какими судьбами!» — чуть было не воскликнул Черепов, но воздержался, зная или скорее даже чувствуя, что на него навверное пристально смотрят сзади два гневных глаза.

— Его величество изволил приказать унтер-офицеру убраться прочь с платформы, — сообщил он Прохору самым официальным тоном.

— Как?.. С платформы? От фронта?.. Меня?! Не можно тому быть, ваше благородие; я здесь начальство и стою на своём законном посту, — столь же официально возразил ему Поплюев.

— Его величество, говорю, самолично приказать изволил — прочь с платформы!

— А я говорю, что быть тому никак нельзя, и его величество приказать сего не может! Отстранитесь, ваше благородие, не мешайте мне делать салютацию и не стойте перед фронтом — сие порядок нарушает.

Черепов, пожав плечами, побежал обратно к санкам. В коротких словах он передал государю ответ Поплюева.

Павел Петрович, очевидно поражённый такой неслыханной дерзостью, два или три мгновения не произносил ни слова и только, глядя на Черепова, тяжело пыхтел и отдувался.

Это было у него обычным признаком сильнейшего гнева.

— Подите и сделайте то, что вам повелено. Арестуйте его сейчас же! — отчётливо отделив слова, но не повышая голоса, сказал император.

Черепов снова побежал на платформу и сообщил приказание.

— Не верю, ваше благородие! — твёрдо возразил Поплюев. — И быть никогда не может такого приказания! Разве вы не знаете, что, прежде чем арестовать меня, вы должны сме-

нить меня со вверенного мне поста? Извольте сменять, а тогда уж арестуйте.

Черепов опять побежал к саням и передал ответ унтер-офицера.

Это озадачило государя, но ненадолго. Подумав, он улыбнулся с довольным видом.

— А ведь прав! — заметил император. — И даром что пьяный, а лучше нас, тверёзых, знает своё дело! Молодец, унтер-офицер! — крикнул он Поплюеву. — Спасибо за знание порядка службы!

— Рад стараться вашему императорскому величеству! — закричал со своего места Прохор.

Государь приказал поворотить лошадь и шибко поехал прочь от гауптвахты; Черепов едва успел вскочить на запятки.

Довольно долго ехали молча, и всё это время Павел, казалось, погружён был в какое-то раздумье.

— Жаль! — как бы про себя подумал он наконец вслух. — Очень жаль, что пьян... А кабы не это, быть бы офицером...

— Да он не пьян, ваше величество, — решился заметить Черепов, домекнувшись, что

дело идёт, вероятно, о Прохоре.

— Ты говоришь, не пьян? — повернув вполоборота голову, нахмурился император.

— Точно так, ваше величество. Это уж он сроду так: мать-натура одарила его толиким невзрачием, и потому он сдаёт на пьяного, а он трезвый и дело своё в самой точности понимает.

— А вам, сударь, отколь он известен?

— Соседи по имению, ваше величество.

— Дворянин?

— Так точно, ваше величество, дворянин Прохор Поплюев.

— Поплюев?.. Тьфу! какая фамилия!..

— Фамилия точно что пасквильная, но человек хороший и столь великую приверженность питает к воинскому делу, что даже у себя в имении учредил из дворовых людей мушкатёров с карабинерами, обмундировал их и очень деятельно обучал артикулу и гарнизонной службе.

— О?! Стало быть, любит?

— Отменно любит, ваше величество.

— И точно человек хороший?

— Беззлойный, ваше величество; чудак

немножко, но щедр и хлебосолен.

— А каков с крестьянами? Это главное.

— Да вот графу Харитонову хорошо известен он по ближайшему соседству; так граф однажды, как-то при случае, сказывал мне в разговоре, что с крестьянами он ничего себе, жалеет, и живут они у него в достатке и не печалуются на тягости.

— Ну, вот это мне очень приятно слышать! — с видимым удовольствием заметил император. — А вам, сударь, спасибо за то, что не оставили в заблуждении моих на его счёт мыслей. Благодарю вас.

В это время санки подкатили к Салтыковскому подъезду Зимнего дворца.

Черепов быстро соскочил с запяток и, вытянувшись во фронт у самых дверей, приложил по форме левую руку к полю своей треугольной шляпы.

— А вы, кажись, порядком-таки продрогли, сударь, — заметил государь, выходя из саней и мимолётно взглянув в посинелое с холоду лицо офицера.

— Отнюдь нет, ваше величество! — поспешил бодро ответить Черепов. — Погода пре-

красная, и я с удовольствием готов бы ещё...

— Ага! понравилось, сударь! — засмеявшись, перебил его император. — Видно, хочется быть полковником? Ну нет, брат, больше не надуешь! Пока довольно с вас и этого. Прощайте, сударь.

И государь скрылся за дверью подъезда.

Черепов вскочил в сани первого попавшегося извозчика и, посулив ему рубль на водку, велел гнать как можно скорее на Садовую улицу, к графу Харитонову-Трофимьеву.

Там о нём сильно беспокоились. Графиня Лиза в присутствии отца весело вертелась перед трюмо, осматривая на себе новую парадную робу из чёрного бархата, когда Аникеич, войдя с таинственным и испуганным видом, тихо доложил графу, что сейчас-де прибежал вестовой и рассказывает, будто с нашим адъютантом, с Василий Ивановичем, — несчастье.

— Что такое? — встревожился Харитонов.

— Императору на улице попался, и сейчас его, значит, в солдаты и в крепость...

— Что ты врёшь, старый дурак! О ком говоришь-то! — недоверчиво и с досадой вскричал граф.

— Сами извольте допросить вестового, — пожал старик плечами. — Коли я вру, стало, и он врёт.

Призвали вестового.

Тот, ошеломлённый ещё всем, что случилось с ним за несколько минут на набережной Мойки, рассказывал, насколько мог и умел, все обстоятельства внезапной встречи с государем.

— Последнее слово их было «в крепость!» — с тем и поехали, — заключил свой отчёт гвардеец.

Графу не верилось. Всё это казалось так несбыточно, так странно...

— И ты не бредишь? — спросил он, колеблясь между сомнением и верой...

— Извольте взглянуть: на мне офицерская шпага, — как на доказательство указал вестовой на своё оружие. — Это шпага вашего сиятельства господина адъютанта.

Дальнейшие сомнения были бы напрасны. Граф тотчас же отпустил вестового, которому, по приказанию государя, должно было немедленно бежать и сообщить обо всём полковому начальству.

— Бедный Черепов!.. несчастный молодой человек! — в глубоком огорчении и в сильной тревоге повторял он, ходя по комнате и долго не замечая присутствия в ней своей дочери. Но наконец, случайно вскинув глаза в её сторону, граф увидел Лизу и остановился с невольным выражением вопроса и удивления.

Графиня Елизавета, вся бледная и скорбная, стояла безмолвно и неподвижно, как будто на неё столбняк нашёл.

— Что с тобой?! Лиза!.. Лизанька! — с беспокойством подошёл к ней граф. — Да откликнись же!.. Что ты!

— Это я виновата... моя записка... Это я погубила его, — с трудом и почти шёпотом проговорила девушка.

— Ну полно, дружок! — начал было граф. — Могла ль столь пустая записка...

— Нет, нет, это моя вина... моя, — настойчиво и быстро перебила Лиза и вдруг порывисто схватила отца за руку:

— Папушка! Голубчик!.. Если любишь меня, спаси его! — с воплем и мольбою вырвалось из её груди.

— Ах, милая, я рад бы сам, да нет путей сего исполнить! — с глубоким вздохом пожал граф плечами.

— Как нет путей!.. Как нет?! Твой путь прямой: ступай к государю и проси его, поезжай сейчас же!.. Он тебя любит, он для тебя сделает это... Проси, моли его, — ну что ему стоит! Ведь не преступник же Василий Иванович!

— Преступник устава воинской формы.

— Ах, Бог мой!.. И что это такое вся эта ваша воинская форма! Ну, и за что?.. за что же?..

— Дитя моё, оставь; ты сего не понимаешь, — ласково и кротко успокаивал граф свою дочку. — Когда-нибудь, как император будет в особливо добром духе, я приступлю к нему, но ныне, когда он гневен — о, ты не знаешь, что такое гнев его! — ныне это решительно невозможно.

— Невозможно?. Ты говоришь, невозможно? Ну, так я сама пойду к нему! — порывисто и решительно вспрянула девушка. — Сама буду просить, кинусь в ноги, стану молить его, плакать... Я не допущу, чтобы человек погибал по моей вине... Я, я одна виновата! И он поймёт же это, он тронется мною! А коли нет,

то я скажу ему, что он тиран и деспот! Пусть и меня тогда заточат, для того что всё ж таки я тут более всех виновата!

И с рыданием, наконец-то прорвавшимся наружу, вся заливаясь слезами, девушка упала на руки отца.

Долго ухаживал около неё граф и долго не мог её успокоить. Он инстинктивно понял, что не одно лишь простое участие к знакомому человеку сказалось теперь в сердце девушки столь сильным и решительным порывом, что тут, кажись, кроется нечто иное, более глубокое...

Поэтому не хотелось ему делать кого-либо из домашних людей свидетелями её слёз и волнения, из чего потом могли бы, пожалуй, пойти разные преждевременные толки, предположения и заключения. Он сам, как мог и умел, успокаивал и утешал свою Лизу, как вдруг растворилась дверь и в комнате послышались чьи-то быстрые мужские шаги...

Граф обернулся и даже вскрикнул от нечаянного изумления.

Весь сияя радостью и восторгом, к нему шёл Черепов.

— Возможно ли? — вскричал Харитонов, простирая к нему объятия и ясно слыша, как позади раздалось вдруг радостное восклицание дочери.

— Поздравляйте!.. Поздравляйте меня! — задыхаясь от сильного волнения и быстрого взбега на лестницу, говорил Черепов.

— Спасён!.. Слава тебе, Господи! — крестясь, промолвили в одно время и граф, и Лиза.

— Мало того что спасён! С монаршею милостью поздравляйте! — восторженно говорил гвардеец. — С необычайною милостью! Я произведён в подполковники!

— Ну полно, друг! — замахал на него рукой Харитонов. — С ума ты, что ли, спятил от радости!

— Ей-же-ей, в подполковники! — побожился Черепов. — И даже так, что сам себе не верю, наяву ли то или во сне мне снится.

— Но как же это? Какими промыслами?

— Да так, что в течение единого часа разжалован в рядовые и из рядовых последовательным порядком произведён чрез все чины до подполковника включительно!

— Не верю!.. Воля твоя, не верю! Садись и рассказывай, если ты, сударь, и впрямь с ума не спятил.

И Черепов рассказал всё, за исключением лишь той части своего разговора с государем, предметом которой была графиня Елизавета и его чувство к ней. Невольное смущение перед любимой девушкой и известного рода деликатность воздержали его от повествования об этой части.

Лиза слушала в нетерпеливом волнении и всё время не сводила с него глаз, и чем далее шёл его рассказ, тем всё более и более выражение изумления и радостного восторга разливалось по её красивому лицу.

— Господи! Спаси его, этого рыцарского, великодушного государя! Награди его за это! — воскликнула она в восхищении, когда Черепов кончил.

— Да, сударь, а всё заветный червонец помог, из коего вы в чёрный день сделали столь достойное употребление! — весело заключил граф Харитонов-Трофимьев.

Коронация императора Павла

Ещё с января месяца 1798 года стали делать приготовления к коронации. Двор соби-рался в Москву. Отряды гвардейских войск выступили туда же отдельными эшелонами. Вся придворная свита должна была отпра-виться в первопрестольную столицу по особо-му расписанию. Ещё ранее этого времени им-ператор купил у графа Безбородки его обшир-ный и великолепный дом, против Головин-ского сада, и назвал его Слободским дворцом. К этому дому приказано было пристроить по бокам две большие деревянные залы и домо-вую церковь[48]. Свита великих князей, прие-хавшая в Москву ранее большого двора, раз-местилась против Слободского дворца, в зда-нии Старого Сената, где была назначена квар-тира и великим князьям.

Сам император, прибывший с супругой по-сле всех, в сопровождении нескольких из приближеннейших лиц, остановился, по при-нятому обыкновению, в Петровском дворце.

Вскоре назначен был день торжественного шествия в древнюю столицу. На протяжении всего пути от Петровского до Слободского дворцов расставлены были полки гвардии и армии — пехота, конница и артиллерия. К участию в церемонии наряжены были камергеры и камер-юнкеры, а так как день был холодный, то им приказано одеть «супперроки», т. е. род широких кафтанов из пунцового бархата. Один из военных участников этого парадного въезда[49] замечает, что «ничего не было смешнее, как видеть этих придворных (привыкших ходить по паркету в тонких башмаках и шёлковых чулках) верхом, Бог знает на каких лошадях, и на тех не умеющих держаться и ими управлять: многих лошади завозили куда хотели, и оттого эти царедворцы потеряли свои ряды и наделали большую конфузию». Между ними в особенности была замечательна фигура графа Хвостова[50], бывшего тогда камергером. Но в особенности странное впечатление на москвичей делали новые военные и гражданские мундиры участников церемонии, казавшиеся им с непривычки, после екатерининской роско-

ши, «карикатурными». Все эти чиновники, военные и статские, следовали по два в ряд, младшие впереди, что составляло «предлинную линию, в виде протянутой верёвки», как замечает участник[51]. После этих придворных ехал верхом император, один, и несколько позади него — два великих князя: Александр и Константин.

В Кремле государь остановился на несколько минут для того только, чтобы приложиться к святым мощам и иконам, после чего, сев опять на лошадь, продолжал шествие своё до Слободского дворца. Уже начинало смеркаться, когда прибыл он к этому дворцу и здесь, остановясь перед крыльцом, пропустил мимо себя церемониальным маршем все войска, участвовавшие в параде. Несчастные камергеры и гражданские чины должны были всё это время оставаться верхом и до такой степени замёрзли, что некоторых из них принуждены были снимать с сёдел почти в бесчувственном состоянии.

День своего коронования назначил император на 5 апреля, в самое светлое Христово воскресенье.

На страстной неделе вся императорская фамилия говела и в великий четверг приобрелась святым тайнам (кроме императора) в церкви Спаса за золотой решёткой. Обедня совершаема была митрополитом Платоном. Императрица Мария Фёдоровна, в полном блеске и цвете лет, великие княгини Елизавета Алексеевна и Анна Фёдоровна, великие княжны Александра, Елена, Мария и Екатерина Павловны, все одетые в белые платья, поражали взоры своей красотой и скромным величием. Платон сумел выразить впечатление, производимое ими в ту минуту, как они предстали пред алтарём, в ожидании святого причащения. Когда торжественно растворились царские двери, то прежде нежели дьякон вынес сосуд с дарами, митрополит Платон вышел из алтаря и, как будто поражённый блеском августейших красавиц, отступил назад, а потом, обратясь к императору, сказал:

— Всемиловитивейший государь! воззри на вертоград[52] сей!

И повёл рукой, показывая на предстоявших.

У императора приметны были на глазах слёзы.

Священный обряд коронавания происходил, как обыкновенно, в Успенском соборе. Зрелище было исполнено величия в ту минуту, когда государь, самолично возложивший на себя императорскую корону, подал знак своей супруге приблизиться и короновал императрицу, преклонившую пред ним колени. Но замечательнее всего в этом обряде был момент, когда, при возглашении «со страхом Божиим и верою приступите», Павел I вошёл в алтарь через царские двери, взял с престола чашу и, как глава церкви, сам причастился Святых Таинств. Это зрелище представлялось для присутствовавших в особенности редким, потому что с самого 1728 года в России не было коронавания государя. Причастясь в алтаре, император, в короне и порфире, снова взошёл на возвышенное тронное место и с высоты его сам прочитал во всеуслышание составленный им «Фамильный акт о порядке престолонаследия» и повелел акт сей на вечные времена хранить в алтаре Успенского собора, в нарочно устроенном для того серебряном

ковчеге[53].

Из Успенского собора коронованная чета, в царских облачениях, шествовала, под золотисто-глазетовыми балдахинами, вокруг деревянного Кремля, в древний дворец российских государей. Гром пушек, колокольный звон с Ивана Великого и со всех сорока сороков колоколен Москвы, звуки военной музыки и несмолкаемый гул восклицаний войска и бесчисленного народа сопровождали это торжественное шествие. Император милостиво и приветливо кланялся своему народу.

В этот день государь щедрой рукой осыпал многих наградами и отличиями. Все штаб — и обер-офицеры, служившие в гатчинских войсках, получили земли и деревни, смотря по чинам, от ста до двухсот пятидесяти душ, а некоторые, как Аракчеев, Кологривов, Донауров, Кушелев, по две тысячи душ. Кроме того, Аракчееву дано баронское достоинство. Аркадий Иванович Нелидов — родной брат фрейлины Екатерины Ивановны Нелидовой, который при восшествии Павла Петровича на престол только что был выпущен из камер-пажей в поручики гвардии, а в марте

1797 года произведён в генерал-майоры и назначен генерал-адъютантом, получил теперь Анненскую ленту и тысячу душ, через пять месяцев своей действительной службы. Из прежних екатерининских деятелей пожалованы: генерал-фельдмаршал граф Салтыков 1-й — крестом и звездой ордена св. Андрея Первозванного с алмазами, генерал-фельдмаршал князь Репнин — шестью тысячами душ крестьян; граф Безбородко — вотчиной, поступившей в казну после умершего бригадира князя Кантемира, и тридцатью тысячами десятин земли в Воронежской губернии; сверх того возведён в княжеское Всероссийской империи достоинство, с титулом светлости, и предоставлено ему на выбор шесть тысяч душ где угодно; вице-канцлеру Куракину — 4300 душ в Псковской и Петербургской губерниях; Ростопчину — орден св. Александра Невского и 473 души в Орловской губернии; гардеробмейстер Кутайсов произведён в обер-гардеробмейстеры 4-го класса, граф Илия получил орден св. Александра Невского. Много было и других наград; но при этом всеми замечено, что государственные деятели екате-

рининского времени, сравнительно с новыми, личными любимцами государя, награждены гораздо щедрее. Впрочем, эти последние не роптали: для них впереди было ещё будущее.

На другой день утром в Кремлёвском дворце происходило торжественное «без-мен» (*baise-main*). Император и императрица на троне в Грановитой палате принимали поздравления от духовенства, высших сановников государства, сенаторов, придворных, военных, представителей дворянства и городских сословий. Рука императрицы покоилась на бархатной пунцовой подушке, и все мужчины, за исключением духовных особ, отдав поклон царственной чете, подходили к руке Марии Фёдоровны; дамы же ограничивались одним глубоким реверансом. Между духовенством всеобщее внимание обращали на себя несколько высших сановников церкви, украшенных орденскими лентами и знаками, что для москвичей составляло совершенную новость. Митрополит Платон, бывший некогда законоучителем Павла, присутствовал здесь в своём белом клобуке и в фиолетовой бархат-

ной рясе, поверх которой красовалась орденская цепь Андрея Первозванного. После «безмена» был читан список вчерашних наград и пожалований. Всех крестьян роздано было более ста тысяч, с наделом земли по пятидесяти тысяч на каждую душу. Не забыты были и сами крестьяне: высочайший манифест, данный в самый день коронавания, возвещал, что, удостоившись принять священное миропомазание и венчание на прародительском престоле, император Павел почитает долгом своим перед Творцом повелеть, чтобы «никто и ни под каким видом не дерзал в воскресные дни принуждать крестьян к работам» и чтобы оные только три дня в неделю работали на помещика, а остальное время на себя, потому что «для сельских изделий остающиеся на неделе шесть дней по ровному счёту вообще разделяемы, при добром распоряжении, достаточны на удовлетворение всяким хозяйственным надобностям».

Этот манифест по всем церквам был читан народу, и когда по окончании «безмена» государь выехал верхом прогуляться по городу в сопровождении дежурного генерал-адъ-

ютанта и московского главнокомандующего, графа Салтыкова, то громадное большинство простого народа со всех сторон окружило Павла, оглашая воздух криками «ура!». Тысячи шапок полетели вверх. Император с улыбкой милости и благоволения медленно двигался среди этого живого моря обнажённых голов. Какой-то мужичонка долго шёл подле его стремени, всё любуясь на своего царя. И вдруг он обтёр пыль с сапога его величества, перекрестился и поцеловал его в ногу. Это было как бы сигналом для толпы, которая таким же образом принялась с обеих сторон целовать ноги императора.

— Спасибо тебе, батюшка, ваше величество, за милости к нам, к серочи твоей! — раздавались голоса в ближайшей толпе народа. — Спасибо за то, что хлебушко нам удешевил! войну пошабашил! Спасибо, что рекрутков наших по домам вернул, воскресный праздничек подарил нам, три дня барщины прочь скостил! За всё спасибо, милостивец! Ты нам как что легче сделал!.. Чувствуем!

Государь отвечал, что прямо из Москвы намерен сам поехать по России, чтобы собствен-

ными глазами видеть обыкновенный, повседневный быт своего народа, его нужды и потребности, и для того воспретил начальникам какие бы то ни было особые приготовления к его встрече.

Эта весть ещё более усилила восторг простого народа.

Вечером был большой бал в залах Кремлёвского дворца. Дамы съезжались в чёрных бархатных робах русского фасона, которые при блеске брильянтовых коле и брошей на белых куафюрах были необычайно эффектны. Мужчины — и военные, и статские — все были в самых простых форменных мундирах нового образца, в чёрных чулках и башмаках, в пудрёной причёске с тупеем[54], с треугольниками под мышкой и при шпагах.

Между всем этим отборным обществом делал сильную «сенсацию» слух, передаваемый шёпотом, что трём дамам из высшего московского света было отказано в приезде ко двору, несмотря на то, что по положению мужей своих они имели к тому полное право.

— Как? что?! почему? — шёпотом перелетали вопросы, обращённые друг к другу хоро-

шими знакомыми из москвичей.

— А это надо понимать так, что сей акцией он торжественно обнаружил нетерпимость свою к вольной жизни.

— Которая весьма уже, и до самого высокого градуса у нас усилилась, — подхватывали при этом в пояснение те, которые имели причины быть особенно довольными этим распоряжением.

— Положим, и так; но... кому какое дело, что кума с кумом сидела! — возражали им защитники «фривольных» нравов.

— Ну нет; монарх должен держать камертон всем нравам и порядкам своего государства, — оспаривали защитники нового павловского «режима».

— Положим, и так, — продолжали оппоненты, — но это можно было бы выразить иным способом, не столь компрометантным для особ знатных фамилий.

— Э, нет! — настаивали защитники. — Не говорите! Напротив! Он потому-то так и учинил, чтобы доказать самым делом свою антипатию к фривольству. Будь это незнатные госпожи, ославившиеся слишком своевольной

жизнью, мера не имела бы своего предостерегательного значения. То не была бы мера наказующая. А потому-то она и мера, что он учинил так, не уважив нимало, что эти три госпожи суть именитых фамилий.

— Совершенно истинно! — утверждали другие защитники новых порядков и взглядов. — Совершенно так и надлежало, потому что молва о сём наверное разнесётся повсюду, и для того многие наши барыни в тот же час начнут воздерживаться и привыкать к жизни порядочной.

— Тсс... Смотрите, смотрите!.. Кто такова?.. Чья?.. Какая прелесть!.. Видите? видите? — пробежал по зале гул замечаний и вопросов, — и все глаза с любопытством и вниманием устремились в одну сторону.

По зале проходил граф Илия Харитонов-Трофимьев под руку со своей дочерью.

Она была действительно прекрасна. Роскошь естественных волос, красиво подобранных и взбитых в высокую причёску искусной рукой лучшего парикмахера; чудная белизна роскошных плеч, выделяющаяся ещё рельефнее из-под чёрного бархата; ясность и сила

искристого взгляда выразительных глаз; радостная усмешка, в которой так ясно выражалось всё удовольствие, вся чистая полудетская радость, всё бессмертное счастье, ощущаемое в эту минуту молодой девушкой, вывозимой ещё впервые в большой свет и на такой бал, — всё это в совокупности придавало графине Елизавете такую восхитительную прелесть, такую детскую наивную чистоту, не умеющую маскировать своих внутренних ощущений, что на неё невольно устремились внимательные взгляды старых и молодых ловеласов, давно уже отвыкших, в своей придворной и светской жизни, среди любовных интриг и походов, от созерцания подобной нравственной чистоты, свежести и, так сказать, девически-детского величия. Такая неспорченная прелесть — и физически, и нравственно — только и могла создаться в уединённой, почти глухой деревне, при помощи всех тех средств, которые были в распоряжении умного и честного опального вельможи. И этот контраст нравственной чистоты и обаятельной прелести молодой девушки с этими великосветскими искушёнными «мод-

ницами» и «кокетками» петербургского и московского света — невольно, сам собой с первого взгляда бросился в глаза всем и каждому.

— Какая дивная особа! — глядя сквозь лорнет на графиню Елизавету, сказал Безбородко, стоявший рядом с престарелым Херасковым, которого перед этим он только что «удостоил» своего особого внимания и разговора как старейшего представителя нашей литературы и поэзии.

— Российская Цирцея! — с видом старческого восторга сказал Херасков, отправив в нос добрую понюшку французского «рапе» из тяжеловесной золотой «жалованной» табакерки.

— Нет, ваше превосходительство! Нет, не Цирцея! — с живостью перебил его Безбородко. — Цирцея — это слишком низменно, слишком плотски для неё!.. По-моему, скорей уж Мадонна, если нам нужны боготворения.

— Ваша светлость, позвольте согласить моё определение с вашим, — с почтительно-любезным видом, сквозь который, однако, проглядывала внутренняя независимость,

сказал Херасков. — Цирцея в образе Мадонны или Мадонна в образе Цирцеи. Не так ли? В ней есть и то и другое.

Безбородко, любуясь на графиню Елизавету и в то же время как бы соглашаясь с Херасковым, молча кивнул головой.

В это время Екатерина Ивановна Нелидова, завидя графа Илию с дочерью, прервала, извиняясь, какой-то разговор с одной из самых почтенных и взыскательных московских старушек и с доброй, милой улыбкой пошла навстречу графине Елизавете.

— Как я рада, что наконец-то вас встретила! — приветливо заговорила она по-французски, протягивая Лизе обе свои замечательно маленькие и изящные ручки. — Мой брат не даёт мне покою: он давно уже слышал о вас от меня, но сегодня видел вас здесь впервые, ранее меня, и теперь просто сгорает от нетерпения быть вам представленным. Он очень добрый мальчик. Позвольте мне вас познакомиться с ним.

Лиза, не зная, что отвечать, полусмущённо взглянула на отца и потом на Нелидову.

— Я очень рад, Екатерина Ивановна; наде-

юсь, и она тоже, — поспешил ответить старик, заметив взгляд дочери, выражавший её затруднительное положение.

Нелидова подала графу свою руку, и они втроём направились к почтенной московской старушке, за креслом которой стоял безбородый и девически-свежий юноша, Аркадий Иванович Нелидов, в своём генерал-адъютантском мундире, с Анненской лентой через плечо и с необыкновенно счастливым, самодовольным выражением во взоре и улыбке.

Ярко-радостные лучи посыпались из его глаз, когда он увидел сестру, подходившую к нему вместе с графом и Лизой.

Фрейлина Нелидова представила их друг другу.

Но не успел ещё разговориться молодой генерал-адъютант с пленившей его девушкой, как к ней уже подошёл личный адъютант одного из высоких германских гостей и почтиительно передал, что его высочество просит оказать ему честь — протанцевать с ним следующий контрданс.

— Передайте его высочеству, что я благода-

рю за честь и буду ожидать его, — совсем просто проговорила Лиза.

— Ах, ma chere! — с видом лёгкой дружеской укоризны деликатно заметила ей Нелидова, обмахиваясь блестящим веером. — Надо было отвечать не иначе как приняв на себя вид почтительной благодарности и с глубоким реверансом, по этикету: ведь принц наверное смотрел на вас в эту минуту... Ведь это большая честь!.. Я бесконечно рада за вас!

— Учите, учите, Екатерина Ивановна, мою добрую дурушку, — заметил граф, ласково хлопывая слегка по руке дочку, чтобы ободрить её от невольного смущения, которое почувствовала она при словах Нелидовой:

— Граф, позвольте представить вам и графине, вашей дочери, моего доброго друга, — заговорил вдруг, со своей лукаво-добродушной улыбкой, Лев Александрович Нарышкин, подводя какого-то немощного, расслабленного субъекта, на лице которого было написано и старческое сластолюбие, и старческая жажда бодриться и молодиться во что бы то ни стало.

Харитонов с лёгкой вопросительной улыб-

кой окинул взглядом того и другого.

— Мой друг и достойный ментор моей молодости, граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий, — продолжал Нарышкин, рекомендуя расслабленного субъекта, — камергер прежнего двора и генерал-поручик российской армии.

Харитонов протянул руку.

— Смотри-ка, брат, пожалуй, и этот хрен туда же! Каков? — чуть не прыская со смеху, заметил командир Конногвардейского полка, толкая под руку одного из своих старших офицеров, окружавших его целой группой.

— Что ж, ваше превосходительство? Это означает, что мы вскорости будем пировать на его свадьбе, — шутя заметил тот.

— Куда ему! — махнул кто-то из конногвардейцев.

— Как куда, помилуйте! Он ещё не токмо сносен, но и бодр. Смотрите, смотрите, как увивается! — кивнул молодой офицер, граф Уваров.

— А вы знаете, ваше превосходительство, анекдот, который произошёл с ним некое время назад? — обратился он к полковому ко-

мандиру.

— Что за анекдот? Не знаю. Расскажите, пожалуйста.

— Как же-с, — начал офицер, — покойная императрица Екатерина узнала как-то случайно, что этот чиновный, с отличными достоинствами и уже преклонных лет человек взял к себе в метрессы некую танцовщицу. Обстоятельство, так сказать, экстраординарное, и всем оно стало, к вящему скандалу, досконально известно. Но что же делает её величество? Посудите сами: велела выучить заморского попугая сему упрёку в его поступке и прислала ему ту болтливую птицу в день его именин вместо поздравления. Съехались этта гости, а он и хвастается, вот-де какой милостью изволила почтить меня её величество. Ещё никто-де из вас, господа, не удостоился получать таковой! Ну, те и возжелали видеть заморскую птицу. Приказал Лопачицкий принести клетку и поставить её пред гостями. Горд и доволен своим преимуществом необычайно. Но вдруг глупая птица попугай как брякнет ему на чистейшем русском языке: «Стыдно, брат, на старости влюбляться, да

ещё в танцовщиц!» Можете заключить об эффекте, который произвело это на присутствующих.

Офицеры, глядя на не лишённую комизма фигуру расслабленного старца, так и покатались со смеху.

— А ведь, гляди, чего доброго, женится! Предложение сделает! — воскликнул командир.

— Ну нет, едва ли! Соперник есть, и могущественный соперник! — сомнительно покачивая головой, сказал весёлый рассказчик.

— Соперник?.. Кто таков? — спросили некоторые из товарищей.

— А вот, извольте взглянуть: его превосходительство генерал-адъютант Нелидов. Этот посильнее будет!

Подполковник Черепов, как офицер Конногвардейского полка, стоял в этой же кучке. Услышав имя Нелидова, в соединении с которым было произнесено слово «соперник», и метнув глаза в сторону, он одновременно почувствовал в груди прилив негодования, ревности, досады, опасения и боязни потерять свою надежду на возможность счастья с лю-

бимой девушкой. Анекдот о попугае не произвёл на него ни малейшего впечатления, хотя в то же время он чувствовал себя в состоянии задушить собственными руками этого Лопачицкого вместе с Нелидовым, который вдруг сделался ему ненавистным. Он видел, что графиня Елизавета весьма благосклонно и приветливо отвечает на его любезности и что старый граф вовсе не смотрит на это неприязненным взглядом; напротив, разговаривая с влиятельной московской старушкой и с фрейлиной Нелидовой, он этим самым как будто давал своей дочери возможность большего сближения с молодым блестящим генерал-адъютантом, который, по-видимому, стремился вполне воспользоваться предоставленным ему преимуществом. Так, по крайней мере, казалось Черепову.

Ревность, злость и досада с каждой минутой всё более и более овладевали его сердцем. Он чувствовал себя в состоянии сейчас же подойти к этому ненавистному Нелидову и наделать ему всяческих неприятностей и дерзостей, вызвать его на дуэль, но... присутствие около него графини Елизаветы, во всей её чи-

стоте и прелести, невольно воздержало молодого человека от всяких чрезвычайных и сильных проявлений своего взволнованного чувства.

Скрепив сердце и, по странному чувству, во весь вечер не решаясь подойти и заговорить с нею, он видел, какое лестное внимание оказывал ей во время контрданса блестящий германский принц и как на эту прекрасную пару с живым любопытством устремлялись внимательные взоры всех присутствовавших; видел потом, как танцевал с графиней Лизой молодой Нелидов и какой благоклонной улыбкой, по-видимому, отвечала она на его беспрерывные любезности и внимание; видел, как потом подошёл к ней расслабленный генерал Лопачицкий и пригласил с собою на менюэт, который император Павел нарочно заставил всех екатерининских стариков протанцевать в этот день в Грановитой палате. Все присутствующие закусили губы и строили серьёзные мины, чтобы не прыснуть от невольного смеха, глядя, как все эти развалины в паре с молодыми красавицами выделывают грациозные антра-

ша, пируэты и поклоны по старой танцмейстерской школе. Сам император, судя по его улыбке, казалось, нарочно устроил всю эту потеху.

За ужином Черепову пришлось очень далеко сидеть от графини Елизаветы, но он видел, и не столько даже видел, сколько чувствовал инстинктом каким-то, что она совершенно счастлива и довольна, встречая с одной стороны такое внимание к себе молодого принца, а с другой — будучи окружена Нелидовым и графом Лопачицким, которые наперерыв друг перед другом всячески стремились своею любезностью предупредить её малейшее желание.

XVI

«Звезда московска небосвода»

Траур по императрице далеко ещё не кончился, и потому блестящие собрания в «дворянском доме», у главнокомандующего и у других «первейших» вельмож и сановников обходились без танцев. Единственное исключение было допущено только на бале во дворце, в самый день коронации. Дамы являлись на этих вечерах, собраниях и придворных «куртагах» не иначе как в чёрных робах, стараясь избежать роскоши в отделке и убранстве, потому что роскошь была неприятна государю. На самых больших из этих вечеров всё дело ограничивалось одним полонезом, звуками которого встречали появление императорской фамилии. Государь с супругою, в предшествовании двух церемониймейстеров с жезлами и в сопровождении лиц своего семейства, шествовавших за ним попарно — кавалер с дамой, — обходил, под звуки полонеза, вокруг залы, даря всё собрание поклонами и улыбкой, а затем — танцы совершенно

устранялись. Общество, рассыпавшееся по смежным залам и гостиным, составляло во круг небольших столов партии в лото, бостон и дофин; молодые люди и девицы играли в фанты, в колечко, в вопросы и ответы, в угадывание желаний и тому подобные игры.

Граф Харитонов-Трофимьев ещё заблаговременно, до коронации, отделал заново свой московский дом и задавал в нём теперь вечера и банкеты. Один из этих вечеров был почтён присутствием императорской фамилии, и государь, всегда блиставший в обществе своим остроумием и очаровывающею любезностью, был весьма ласков к хозяину и внимателен к его дочери.

Графиня Елизавета ещё с первого выезда в большой свет на всю Москву сделала положительное впечатление. В ней единогласно признала Москва звезду первой величины, её все замечали, о ней все говорили, некоторые ей завидовали, но все восхищались её наружностью, о ней даже злословили, и это последнее обстоятельство могло даже служить ручательством верного и полного успеха. Толпа поклонников, и молодых, и старых, и высоко-

поставленных, и «ординарных», приветствовала её появление в обществе, и всякий из них наперерыв старался обратить на себя её благосклонное внимание. Граф Ксаверий Балтазарович Лопачицкий старался в этом отношении более всех и, пользуясь привилегией своей почтенной старости, иногда получал от Лизы на свою долю больше снисходительной, полушутливой благосклонности, чем молодые и блестящие искатели. По этому поводу Лев Нарышкин частенько напоминал ему в шутку знаменитую фразу его попугая, но старый граф Лопачицкий не смущался этим ничем. Молодой Нелидов, казалось, тоже был весьма заинтересован графиней Елизаветой Ильинишной; Нелединский-Мелецкий посвятил и написал ей в альбом одно небольшое стихотворение, которое все находили прелестным и чувствительным; даже сам «патриарх российских пиитов», старец Херасков, на склоне дней своих спустился с высот «пиндарической оды» и нетвёрдою старческою рукою начертал в этот альбом четверостишный мадригал в честь «звезды московска небосвода».

Встречая теперь графиню Елизавету в обществе, Черепов не раз вспоминал себе ту минуту, когда эта прелестная девушка ещё в Петербурге, возвратясь домой после первого представления своего императрице, неожиданно пожалованная во фрейлины её величества и упоённая блеском и счастьем своих впечатлений, восторженно рассказывала ему о приёме, которого была удостоена, о необычайном внимании, оказанном ей придворной знатью... Черепов тогда уже видел, насколько это всё льстит её молодому, чуткому самолюбию, насколько всё это начинает ей кружить пылкую голову. Он тогда ещё, радуясь вместе с нею её счастью, смутно и тревожно почувствовал в душе, что эта вольная пташка закружится в вихре большого света, что эта гордость первого успеха впоследствии, быть может, послужит помехою его сближения с нею, которое начиналось так тихо, так просто, хорошо... Теперь, с болью в душе, он видел, что эти смутные предчувствия начинают сбываться.

Лиза действительно закружилась в этой упоительной атмосфере придворного блеска,

светских успехов, похвал, поклонений и обо- жания. Тут всё и повсюду льстило её самолю- бию, приятно щекотало гордость, будило дре- мавшее чувство сознания своей красоты, сво- его положения, своего превосходства... Чере- пову казалось, что это была уже не та «графи- нюшка Лизутка», какую ещё так недавно знал он её в глухой опальной деревне... Не то что- бы она мелочно погрузилась в радужную су- етность окружавшей её жизни, не то чтобы для её души не существовало уже ничего вне её светских успехов, — нет, душа-то у неё всё- таки была хорошая, чистая, высокая и, в суц- ности, оставалась такою же, как и прежде, но... одурманенная на первое время фимиа- мом всех этих похвал и поклонений, она, не думая, не анализируя и даже как бы не пони- мая вовсе, зачем это надо — думать и анали- зировать, когда всё так хорошо, отдалась охватившему её потоку, отдалась радостно и доверчиво, полная жизни, свежей и благоуха- ющей молодости и жажды новых, светлых впечатлений. Она доверчиво и любопытно, как бабочка на огонь, вспорхнула в этот оча- ровательный блестящий свет из тёмной без-

вестности своей деревенской жизни. «О чём тут думать! Здесь так хорошо, так светло, тепло и радостно, здесь все так меня любят, так хвалят... и все они, право же, такие прекрасные, чудесные люди — и мужчины, и женщины — все, без исключения, и мне так хорошо с ними, и я сама так люблю их... Пусть всем будет хорошо и весело жить на свете!» — так думала Лиза и беззаветно отдавалась уносившему её потоку. Она искренно и глубоко была убеждена, что и всем так же хорошо, как и ей, что и все так же думают, как она, и так же чувствуют.

В отношении Черепова она не то чтобы переменилась, но стала как-то рассеянее. Мысль её, постоянно отвлекаемая всё новыми и новыми заманчивыми сторонами ещё незнакомой и неизведанной ею жизни, менее сосредоточивалась, менее имела теперь случаев и поводов останавливаться на Черепове, чем прежде, в первое время в Петербурге, когда Лиза никого ещё почти не знала и не видала вокруг себя, когда подле неё был один только он, да отец, да старая нянька. Теперь же в Москве какими-то судьбами вдруг отыс-

кались и родственники, и друзья, и знакомые; пять кузин наперебой заискивали в её дружбе, две двоюродные тётки — почтенные московские барыни, что называется барыни с весом и с голосом, — соперничали между собою в нежных родственных чувствах к племяннице, стремились взять её под своё авторитетное покровительство и поговаривали о «достойной партии». Но о последнем Лиза пока ещё вовсе не думала.

Между тем Василий Черепов страдал и мучился втайне. Он ревновал её ко всем светским успехам и испытывал порой нечто очень похожее на чувство совершенно беспричинной ненависти ко всем её поклонникам. «Странное дело! — размышлял он иногда сам с собой. — И что это вдруг со мной сталося! Ведь надеялся же я не плошать, ведь хотел же брать её с бою! С чего же это теперь опускаются руки!.. Малый, кажись, не робкого десятка, и повели только она, так хоть на чёрта ради неё полезу, всё сделаю, всё превозмогу... И ведь было время, одно бы только слово сказать, признанье сделать прямо и просто и... почём знать, быть может, о сю пору была бы

уже моей... Одно лишь слово... одно!.. Но почему же оно, это слово заветное, почему не выговаривается?.. Ведь был же я доселе не только смел, но иногда и предерзок даже с иными женщинами; и удавалось, всё удавалось... Почему же пред этой чувствую, что и ум мутится невольно, и язык немеет, и руки опускаются... Одни лишь глаза говорят, но она в глазах прочесть того не умеет или не может... а как знать? быть может, и не хочет прочесть... Отчего это так со мной? Уж не оттого ли, что тех, иных женщин, я только обхаживал, махался, волочился за ними, а эту люблю... люблю впервые истинной и большой любовью...»

Но от всех этих мучительных вопросов, дум и размышлений ему всё же было не легче, и дело его ни на шаг не подвигалось ближе к желанной цели! Напротив, теперь он стал гораздо далее от Лизы, чем в Петербурге. С тех пор как император внезапно осчастливил его в несколько чинов разом до подполковника включительно, он, в силу своего штаб-офицерского ранга, не мог уже оставаться личным адъютантом при графе Харитонов-

ве-Трофимьеве и на другой же день был отчислен парольным приказанием государя в свой лейб-гвардии Конный полк. Хотя по новым штатам в старой гвардии этого чина и не полагалось, но — на сей раз такова была воля императора. С отчислением в полк уже не было причины по-прежнему бывать ежедневно в доме графа и проводить там почти всё время; пришлось поневоле сделать свои посещения более редкими и менее продолжительными, да и случаи к разговорам с графиней Елизаветой выдавались теперь гораздо реже, и все эти препятствия служили только к тому, чтобы всё больше беречь сердце влюблённого Черепова.

XVII

«В Английском клубе»

Двор готовился к отъезду в Петербург, а император к путешествию по России, в сопровождении Безбородко, Аракчеева и некоторых других лиц из ближайшей своей свиты. Его величество прежде всего намеревался посетить литовские губернии и вообще западную окраину своего государства. Гвардия тоже приготавливалась к походу в Петербург, на свои постоянные квартиры, и на днях уже должна была выступить.

Идучи однажды по Тверской, Черепов вдруг услышал, что кто-то сзади окликнул его по имени, он обернулся и увидел Прохора Поплюева, который в это время спрыгивал с дрожек, запряжённых красивым рысаком собственного поплюевского завода.

— Ба! вот оно кто! — удивлённо воскликнул Черепов. — Эге, да что я вижу!.. Вы в офицерском мундире!.. Поздравляю! Давно ли это?

— А помните, в тот раз, как вы с его вели-

чеством в Чекуши приезжали, — сюсюкал Прохор самодовольным тоном. — Я было думал, что он меня тогда в гарнизон куда-нибудь, в Сибирь, а он, батюшка, на-ко! За изрядное знание службы в обер-офицерский чин пожаловал. Справку самолично обо мне навёл в полку, ну, великий князь[55], спасибо ему, отзыв дал, что я ништо себе, не гнусен, и вскорости за то самое вдруг читаю в приказе... Так-то-с!.. только — не в гвардию! — вздохнул Поплюев. — Написать изволил чином подпоручика в армию... Это, конечно, лучше чем ничего, но... при матушке-императрице мы, гвардии сержанты, армии капитанами себя полагали, а ныне... Ну, да и то слава Богу!.. Куда шествовать изволите?

— Да вот думаю в какой-нибудь трактир зайти пообедать, — сказал Черепов.

— Самое настоящее дело! И я за тем же! — подхватил Прохор. — Я в Английский клуб еду, и буде вам то не в противность и всё равно, где ни обедать, то поедемте вместе. Я ведь старый член, запишу вас гостем, а ныне там новому повару вторительная проба делается. Преотменный повар, я вам скажу! Поедемте!

Черепов согласился, и поплюевский рысак помчал обоих знакомцев к Английскому клубу.

Повар действительно был «преотменный» и показал себя на славу, так что Прохор с чувством самоуслаждения отдал всю достодожную дань справедливости его искусству и объедался до отвала. Здесь была вся московская знать, заштатные деятели Семилетней войны и вообще елизаветинской эпохи, пред которыми люди «времен очаковских и покоренья Крыма» почитались в некотором роде как бы молокососами. Тут были и сенаторы, и генералы не у дел, и дипломаты Бестужевской школы, и экс-губернаторы, и вообще всё то, что давало Москве особый тон и цвет несколько брюзгливой и недовольной, но благодушной и патриархальной оппозиции новым людям и новым порядкам. Мнения здесь высказывались громко и независимо. Тут же присутствовало, в качестве гостей, и несколько петербургских стариков, некогда сослуживцев и старых приятелей московским старцам.

И те, и другие встретились здесь за обедом

радостно, как родные после долгой разлуки, и от удовольствия, казалось, помолодели. Застольная беседа оживлялась воспоминаниями: кто рассказывал про службу в Оренбургском крае ещё при Татищеве, кто про Пугача и Шамхала Тарханского, и про Остермана, и про Миниха, кто о переформировании берг-коллегии и московского архива что-то доказывал, кто про панинскую ревизию, а кто и кенигсбергскую фрейлен Летхен вспоминал, и варшавскую панну Цецилию... Ко взаимной общей потехе каждый прилагал своё, не стесняясь; анекдот шёл за анекдотом. Доставка, кстати, и современным порядкам, и нововведениям... Старички «будировали»[56] и высказывали вместе с тем своё старинное, отменно тонкое умение «вести в обществе умные и вместе приятнейшие беседы». А седовласые, откормленные лакеи меж тем разносили по разным концам столов то изумительную кулебяку, то чудовищных стерлядей на серебряных блюдах, и старший клубный метрдотель, с гордым сознанием собственного достоинства, предлагал состольникам «майзанеллы, каркавеллы или франконско-

го» и иные самые тонкие вина. Встав от стола с раскрасневшимися щеками и взвеселившимся от воспоминаний сердцем и проходя мимо бюста Екатерины, старики вдруг словно опомнились, остановились, молча посмотрели на неё, как на живую, молча взглянули друг на друга, отёрли глаза и отошли со вздохом.

Черепов, окончив обед, прошёл покурить и отдохнуть в «диванную». В мягком полусвете этой уютной комнаты как-то особенно хорошо дремалось под тихий говорок клубных старожил, которые искони удалялись сюда для послеобеденной дрёмы и послеобеденной беседы.

Вдруг ему показалось, что кто-то произнёс имя графини Елизаветы Ильинишны. Очнувшись тотчас же от лёгкого полузабытья, Черепов кинул взгляд в ту сторону, откуда послышалось это имя, и увидел в углу на диване графа Ксаверия Балтазаровича, подле которого сидел Нарышкин.

— Сколь она прелестна! — старчески-восторжённо восклицал Лопачицкий. — Сколь прелестна! в особенности на последнем кур-

таге...

— Стыдно, брат, на старости влюбляться! — слегка похлопывая его по колену, подтрунивал Нарышкин.

— Ба!.. Но разве я столь стар, чёрт возьми!

— Однако.

— Однако я желал бы иметь потомка — вот что!

— Зачем это, милый ментор моей юности?

— Затем... затем... ну хоть затем, дабы род не угас, имя передать и состояние.

— Поздно хватился, брат.

— Для чего так? Для чего же поздно?

— Да для того, что потомка у тебя не будет.

— На каком основании не будет?

— Фу, Боже мой! Да тебе сколько лет?

— Мне... мне всего только семьдесят два года.

— А! ну, это дело иного рода! — согласился Нарышкин. — Коли так, то женись смело: в семьдесят два года дети всегда бывают, и непременно!

— Ты таково думаешь?

— Уверен в том, ибо таков закон природы. Вот видишь ли, — продолжал он, — в пятьде-

сят они ещё иногда могут быть, но с трудом; в шестьдесят их совсем не бывает, но в семьдесят два — наверное и непременно! надлежит только взять за себя молоденькую!

— Вот, вот!.. Я так и думаю, так и намерен! — подхватил плешивый селадон[57], потирая руки.

— Только гляди, брат, опасайся знатного риваля[58]! — шутя предостерёг Нарышкин.

— Кого это?.. Кто таков риваль мой? — прищурясь на собеседника, пренебрежительно двинул губой Лопачицкий.

— А Нелидов-то? Ты что себе думаешь?

— Oh, mon cher! Ce n'est qu'un damoiseau! [59] — самоуверенно махнул рукой граф Ксаверий Балтазарович. — Какой это риваль мне! Помилуй!

— Однако, говорят, что не ныне-завтра он сделает формальное предложение, и это мною из наивернейших источников почерпнуто.

— Пуф! Ему откажут!

— Едва ли. За него ратуют пять кузин и две тётки. Да и самой-то ей, кажись, он вовсе не претит.

— Н-ну, mon cher, то мне лучше знать!

— Твоё дело, конечно... А всё-таки повтoряю вслед за твоим попугаем: «Стыдно, брат, на старости влюбляться!»

— Allons done, farceur![60] — с некоторой досадой мотнул головой влюблённый селадон и поднялся с места.

Этот разговор сделал на Черепова неприятное впечатление. Ему больно было слушать, что к той, кого он чтит столь высоко, люди относятся так легко, так шутливо, что этому поеденному молью облезлому старцу может же вдруг прийти оскорбительная мысль сделать ей предложение. Но больнее всего кольнуло его в сердце известие о намерениях юного генерал-адъютанта. Нарышкин, по-видимому, говорил совершенно серьёзно и столь положительно, что с этой стороны Черепов почувствовал серьёзную опасность. Нелидов молод, красив, умён, образован; один из первейших любимцев государя; пред ним впереди ещё более блистательная карьера — при таких условиях что препятствует ей отдать ему руку и сердце?

С пылающей головой и щемящим, тоскли-

вым чувством в душе вышел Черепов из Английского клуба и быстрыми шагами бесцельно пошёл по тускло освещённым московским улицам. Он шёл, не глядя, куда идёт, и ничего не замечая ни пред собой, ни около себя. В голове его вертелась в каких-то туманных обрывках всё одна назойливая мысль, центром которой была графиня Елизавета и рядом с нею этот ненавистный, но прелестный Нелидов; в сердце подымалась то злоба, то горечь и слёзы, и казалось ему порой, будто земля ускользает из-под его ног, и вместе с нею ускользало всё его счастье и дымом разлетались мечты и надежды.

XVIII

Масонская ложа

Двор и гвардия вернулись в Петербург, где Обыденная жизнь того и другой вошла в свои колеи, резко и твёрдо обозначенные для них императором ещё с первых дней его воцарения. Черепов надеялся, что после московских торжеств и праздников графиня Елизавета Ильинишна, почувствовав себя опять среди своей мирной и тихой домашней обстановки, захочет несколько отдохнуть от светского рассеяния, более сосредоточиться в самой себе и тогда — «авось-либо и про нас, грешных, вспомнит, авось-либо станет по-старому уделять долю своей дружелюбной внимательности и — как знать! — быть может, теперь-то и заметит, что она весьма не чужая моим сердечным чувствованиям». Так думал и надеялся Черепов, но — увы! — мечты его пока ещё не оправдывались на деле: графиня Елизавета при встречах была с ним и приветлива, и любезна, но под этой любезностью как-то не чувствовалось той простоты и заду-

шевности, какая была в ней прежде. Ему казалось, будто она в отношении его всё ещё находится в тумане той рассеянности, в которой находилась всё время московских празднеств, и он с болью в душе признавал себе, что эта рассеянность чуть ли не выражает собой полнейшего равнодушия к нему. Так казалось Черепову, и потому состояние внутренней затаённой тоски почти не покидало его. Все товарищи и приятели не без сожаления замечали промеж себя, что он положительно изменился.

Однажды как-то после «вахтпарада» заехал к нему по дороге один из его добрых знакомцев, некто гвардии капитан Гвоздеев, человек пожилой и солидный.

Черепов приказал подать закуску, после которой приятели разговорились, и беседа их незаметно приняла характер задушевности.

— Скажите, сударь мой, — говорил Гвоздеев, прохаживаясь с ним по комнате, — все мы, наши друзья-приятели, примечаем, что вы досконально преобразовались как-то, стали вовсе не тот что прежде, словно у вас докука некая в сердце... Ежели то с моей стороны

не назойливо и вам не претит скажите, как другу... быть может, у нас явится возможность помочь, облегчить или, по крайности, хотя посоветоваться вместе.

— Да как вам сказать!.. Просто скверно живётся на свете, — пожал плечами Черепов.

— Вам ли то молвить!.. Вы, который лично известны государю, и он до вас столь милостив, служебная карьера вам улыбается, состояньишка, слава Богу, хватает, из себя молодец и добрый малый, любим и уважаем товарищами, — чего вам более?..

— Всё это так, да здесь-то вот беспокойно, — сказал Черепов, указав на сердце.

— Аль зазнобушка?.. Ну что ж!.. Это в натуре вещей: годы ваши такие, и коли любите, то эта беспокойность тем паче на благо вам, сударь.

— Да, хорошо любить, коли и вас взаимно любят... Но не в том сила... Отчасти, коли хотите, есть и это, а отчасти и другое нечто... сумненья, и мало ли что...

— Сумненья? — серьёзно повёл бровью Гвоздеев, — в чём же сумненья-то? В себе ли, в жизни или в верованиях?

— Всего бывает порой, — проговорил Черепов, как бы вдумываясь и вглядываясь внутрь самого себя. — Но опять-таки не в этом главная сила, — продолжал он, — а в том, что просто скука давит, пустота вокруг какая-то, неудовлетворённость моральная... Чувствую, что не хватает чего-то, и живо чувствую, а чего — и сам не знаю, уяснить не могу себе. Но порой такие минуты находят, что, кажись, на всякую отчаянность, на всякое сумасбродство пошёл бы со всей охотой, очертя голову, лишь бы забыться!

— На эту болезнь есть лекарство, — серьёзно и с чувством внутреннего убеждения сказал Гвоздеев. — Лекарство сие — самоуглубление, размышление; надо познать себя в испытаниях естества своего и своей внутренней природы, и тогда вы обряцете в жизни духа такие утешения и сладости, каковых никогда не даст вам вся эта юдольная суетность со всем её блеском, со всеми её благами и почестями.

Гвоздеев замолк на минуту и продолжал раздумчиво ходить по комнате.

— Известно ли вам, сударь, что-либо о «Ве-

ликом Востоке»? — остановился он вдруг перед Череповым. — Слыхали ли вы нечто о братстве «вольных каменщиков»?

— Случалось, — отвечал тот, — и не раз, и от людей весьма досточтимых, которые к нему относились со всем почитанием.

— Мудрый и не может отнестись иначе, — заметил собеседник.

— Да, но правительство наше, кажись, не совсем-то...

— То есть покойная императрица, сказать вы желаете? — перебил Гвоздеев. — Да, это так; но не нынешнее правительство. Ныне, напротив, — продолжал он, — сам император весьма сочувственен ко франкмасонству и всегда таковым оставался. Ныне в здешней ложе можно встретить людей и знатных, и высокопоставленных. Стремление ко всеобщему благу не есть и не может быть преступно.

— Вы франкмасон? — открыто и прямо спросил Черепов.

Гвоздеев потупился, в лёгком смущении, и ответил не сразу.

— Хотя уставы братства, — сказал он, — и

воспрещают открываться профанам, но вы человек честный и мой приятель, и я вам откроюсь. Да, я франкмасон и счастлив тем внутренно, ибо только с тех пор, как оным соделался, мои горизонты расширились, и я уразумел, что в жизни, помимо суетного себялюбства, есть ещё жизнь духа, есть иные, более высокие задачи и мечты... Вот где, сударь мой, можно обрести целительный бальзам от тех духовных недугов, которые вас снедают! — с жаром глубокого убеждения заключил Гвоздеев.

Черепов с любопытством стал было спрашивать о сущности общества, о его задачах и стремлениях, но собеседник объявил наотрез, что не имеет права открывать их непосвящённому, что в этом отношении его связывает добровольно данная клятва, что идея и задачи братства имеют несколько степеней и даже посвящённым открываются не сразу, а постепенно, по мере убеждения высших членов в их духовном совершенствовании.

— Но если дух ваш точно жаждет новых сфер и достойного поприща, — сказал Гвозде-

ев, — то я могу предложить вас в члены и ввести в ложу; тогда, по мере удостоения вашего, вам всё откроется, всё станет ясно, и вы познаете на земле истинное благополучие.

То состояние духа, какое за всё это время испытывал Черепов, как нельзя более располагало его в пользу сделанного ему предложения. Тоска любви, исключительно наполнявшая его душу, неудовлетворённые стремления к счастью, не дававшимся в руки, внутреннее одиночество среди товарищей — всё это делало в его глазах пустой и непривлекательной ту жизнь, которая повседневно его окружала. Он смутно, но верно почувствовал в душе, что ему необходим какой-нибудь исход, какое-нибудь отвлечение в иную сторону, во что либо новое, ещё неизведанное им в жизни, и потому-то с радостным и благодарным чувством ухватился он за предложение Гвоздеева.

— Углубитесь в себя, — сказал ему тот на прощанье, — подумайте хорошенько над самим собою, поразмыслите наперёд, и если убедитесь, что хотение ваше не есть минутный порыв, а истинная воля души, жажду-

щей просветления, тогда решайтесь. Через два дня я заеду к вам, и коль скоро решимость ваша не ослабнет, а ещё тем паче укрепится, — я буду к вашим услугам, сударь, и мы поедем тогда.

В назначенный срок Гвоздеев явился к Черепову.

— Ну что, не раздумали? — спросил он.

— Везите! — было ему решительным ответом.

— Коли так, то ожидайте меня завтра в шесть часов вечера.

На другой день в условленное время они сели в карету и поехали. Экипаж остановился вскоре на набережной Фонтанки, перед одним каменным домом, солидной, барской постройки, наружные окна которого были замазаны белилами, что как бы указывало на отсутствие хозяев, а в сущности, быть может, служило к тому, чтобы не привлекать праздное любопытство прохожих или внимание уличных соглядатаев. Вообще всё внешнее устройство этого дома показывало, что он никак не предназначался для отдачи внаймы разным жильцам. В нём не помещалось ни

лавок, ни ремесленных заведений, и видно было, что весь он составляет одну квартиру, одно широкое помещение, как бы нарочно приноровленное для барского богатого семейства. Двор был чист и безлюден.

Оба приятеля, отпустив наёмный экипаж, вошли в широкие, полутёмные сени с колоннами и лепным потолком и поднялись по широкой лестнице в приёмную комнату.

Здесь Гвоздеев оставил Черепова и, предварив, что ему придётся несколько обождать, скрылся за внутреннюю дверь, которая за ним наглухо захлопнулась.

Минут через десять из этой самой двери вышел какой-то неизвестный человек, одетый в чёрный фрак, и приблизился к Черепову.

— Если желаете последовать за мною, вы должны позволить мне завязать вам глаза, — сказал он тихо и вежливо, приподняв к лицу его белую повязку.

— Это необходимо? — спросил Черепов.

— Это необходимо, — утвердил неизвестный самым решительным тоном.

Черепов, в знак согласия, подставил ему

свою голову. Плотно завязав глаза, незнакомец взял его за руку и повёл чрез большой и длинный ряд покоев. Вдруг остановился, и Черепов услышал гром тяжёлых железных запоров, вслед за которым заскрипели массивные двери.

Оба переступили высокий порог и вышли в комнату, где провожатый посадил Черепова на стул.

— Когда я удалюсь отсюда, — сказал он всё тем же тоном и вежливым голосом, — вы скиньте повязку и углубитесь в книгу, которая разверста перед вами.

Новый скрип двери и гром запоров возвестил о его удалении.

Черепов снял повязку и в недоумении огляделся вокруг. Его окружали совершенно чёрные стены какой-то мрачной пещеры. При слабом свете лампы, которая, тихо покачиваясь, висела над его головой, глаза его встретили человеческий череп и близ него разверстую Библию на бархатной голубой подушке, обшитой золотым галуном. Всё это помещалось на небольшом квадратном столе, который был покрыт тяжёлой чёрной пеленой, со

всех сторон падавшей до самого пола. Этот пол был тоже чёрный, затянутый сукном или войлоком.

Вся эта мрачная обстановка делала впечатление могилы, которое усилилось ещё более, когда Черепов заметил вверху сводчатого потолка, как раз над своей головой, какое-то тёмное мерцание. Вглядевшись пристальнее, он увидел, что это было круглое матовое стекло, на котором нарисовано красками изображение мёртвой головы со скрещёнными костями и с надписью вокруг — «memento mori» [61].

Черепов придвинул к себе Библию и внимательно стал читать глазами.

Через несколько времени в глубине пещеры беззвучно раскрылась совершенно незаметная потайная дверь и в комнату вошёл новый незнакомец, одетый в чёрное. Голубая лента обвивалась вокруг его шеи, и на ней, опускаясь на грудь, висел золотой треугольник. Тот же эмблематический знак, но только гораздо меньших размеров, на ленте алого цвета с серебряными каймами, украшал левую сторону его груди. В правой руке незна-

комца сверкал тёмным стальным блеском обнажённый меч.

Неизвестный человек медленными шагами приблизился к столу и с важным видом спросил:

— Какое намерение ваше, вступая в собрание «вольных каменщиков»?

— Открыть вернейший путь к познанию истины, — отвечал Черепов.

— Что есть истина?

— Свойство той первоначальной причины, которая сообщает движение всей Вселенной.

— По силе возможности даётся вам понятие о тех путях. Но теперь, — продолжал незнакомец, — следует вам знать, что послушание, терпение и скромность суть главные качества, коих требует от вас вначале общество, в которое вы вступить намереваетесь. Чувствуете ли себя способным облечься сими первоначальными добродетелями?

— Употреблю к тому все свои силы. Но знайте также, — поспешил прибавить Черепов, — что меня привлекает не любопытство к наружным обрядам общества; я хочу увериться в том, что жаждет, но не достигает дух

мой; хочу иметь средства утвердиться в добродетели и знать, бессмертна ли душа моя?

— Лъзя ли сумневаться в том! Ничто не исчезает в мире. — Но, будучи часть предвечной души мира сего, каким образом душа, осквернённая пороками, соединится с чистейшим источником своим?

— Ищите и обряцете, толцъте и отверзетсѧ; но начните повинованием, — отвечал незнакомец с несколько торжественною строгостию и, позвав вслед за тем брата прислужника, приказал ему снять с Черепова все вещи, какие были при нём: шпагу, часы, кошелёк, форменный кафтан, камзол и один сапог — именно с левой ноги. Исполнив, что требовалось, брат прислужник накрепко и в узел перетянул ему разутую ногу платком выше колена, снова наложил на его глаза тугую повязку и обнажил грудь, спустив с левого плеча сорочку. Вслед за тем Черепов почувствовал, что к обнажённой груди его, как раз против самого сердца, приставлен меч, остриё которого непосредственно касалось его тела.

— Следуйте за мною, — всё с той же важно-

стью приказал незнакомец и, взяв Черепова за руку, повёл его из пещеры.

Долго в таком положении делал он с ним различные круги и обороты по комнатам, не отводя стального острия от его груди, но наконец остановился и наложил его руку на какое-то массивное кольцо.

— Ударьте сим кольцом три раза в вертикальную плоскость, — приказал он. И Черепов исполнил его веление.

Через минуту за дверями послышался голос: «Кто нарушает спокойствие беседы братской?»

— Профан, — отвечал путеводитель, — он желает вступить в члены священного братства.

«Не тщетное ли любопытство влечёт его к тому?» — продолжал голос за дверями.

— Нет! он жаждет озариться светом истины.

«Какое имя его? звание? лета? место рождения? занятий? род?»

Черепов чрез путеводителя должен был с точностью ответить на все эти вопросы, после чего дверь отворилась — и его ввели в

большую залу и поставили, как казалось ему, должно быть, посередине её. Повязка всё ещё оставалась на глазах его и холодное остриё касалось груди.

Через минуту, среди глубокой тишины, услышал он издали важный и тихий голос, который его спрашивал:

«Профан! Настоятельно ли желаешь ты вступить в священное сословие?»

— Да! — отвечал Черепов.

«Имеешь ли довольно твёрдости, чтобы перенести испытания, тебе предлагаемые?»

— Да, — повторил он с внутренним убеждением.

«Брат учредитель порядка! — торжественно воззвал тот же голос. — Начни испытания и сверши с профаном путь продолжительный и трудный!»

Тогда подошёл к Черепову брат учредитель порядка и, снова приставя ему меч к груди, а другой рукой взяв его за руку, начал с ним путь от востока на запад и, тихо, малыми шагами продолжая водить его таким образом, громко и внятно говорил на философическую тему о жизни и смерти; потом остановился,

потрепал его по плечу и воскликнул:

— Venerable![62] Профан свершил первое испытание; твёрдость его подаёт надежду к перенесению дальнейших.

Вслед за сим эти же самые слова были повторены ещё двумя какими-то голосами, и тогда голос повелевающий воззвал:

«Брат учредитель порядка! Начни второй путь!»

И снова повторилось круговое хождение от востока на запад, и снова продолжалась ясная и твёрдая речь о материи и духе, о бесконечном и бессмертии; и таким образом был пройден второй путь испытаний и за вторым — третий, который уже был последним. Когда же брат учредитель порядка поставил Черепова на место и, потрепав опять по плечу, отдал венераблю отчёт, его речь слово в слово была повторена теми же двумя голосами, и тогда уже третий голос, тихий и сострадательный, произнёс:

«Возлюбленнейшие братия! Профан окончил с похвалою испытания свои. Он достоин вступить в общество наше. Позволите ли ему приобщиться к лику вашему?»

Раздалось глухое рукоплескание многочисленных лиц, из чего Черепов догадался, что этим знаком братья изъявили своё согласие.

«Итак, да приблизится!» — повелел издали голос.

Новопринятого брата повели прямо вперёд, направляя его ноги так, чтобы он ступал на известные места, взвели на ступени, поставили одним коленом на подушку и возложили правую руку на Библию и меч. Кто-то наложил на эту руку свою длань и повелел клясться в сохранении тайны.

По произнесении клятвы, слова которой Черепов повторял вслед за незнакомым ему голосом того, кто держал под своей ладонью его руку, его отвели задом на прежнее место, и здесь некто возле него сказал ему:

«Выстави язык!» — и приложил к нему какое-то железо.

В то же самое время раздался повелевающий голос:

«Да спадёт повязка с глаз его. Да удостоится увидеть свет лучезарный!» — и она упала.

Мгновенно перед глазами Черепова вспыхнуло большое яркое пламя и столь же мгновенно

венно исчезло. Тут он увидел пред собой, в освещённой круглой зале, до сорока человек, сблизившихся к нему в полукружие, с устремлёнными прямо против него мечами. За этими людьми, на возвышении, где помещался престол, под зелёным балдахином, усеянным звёздами, стоял великий магистр с повелительно простёртою вперёд рукою. По мановению его сонм братьев занял места свои.

Приглядываясь к этим людям, Черепов заметил, что все они сидели в чёрных шляпах и на каждом надет был белый лайковый передник; но у одних передники были просто белые, у других же — обшитые розовыми и голубыми лентами, что означало разные степени достоинств. Точно так же по степеням распределялись и те символические знаки, которыми украшались груди братии. Золотые и серебряные треугольники у одних висели на голубых, у других на алых лентах, и при этом на шее или же в петлицах. Великий магистр тоже был покрыт шляпою, только вместо треугольника на нём красовался золотой угольник, подвешенный на голубой широкой ленте. Пред ним стоял стол, покрытый до самого

пола зелёным бархатом. По трём углам этого стола возвышались три массивных шандала, а посредине лежали на подушках: Библия, меч, белый молоток, циркуль и треугольник.

Когда все расселись по местам, великий магистр приказал подвести новопринятого члена к своему столу.

Теперь, подходя к нему с уже открытыми глазами, заметил Черепов, что посреди залы лежал на полу большой план Соломонова храма. Он догадался, что при первом приближении к престолу ноги его последовательно были переставляемы нарочно затем, чтобы ступать на известные изображения, и именно на те места, которые по плану ведут постепенно во Святая Святых.

Взойдя на ступени и приблизясь к престолу, Черепов преклонил колена. Великий магистр взял циркуль, поставил его на обнажённую грудь неопита и троекратно ударил по ним молотком. Кровь брызнула из раны, к которой брат учредитель поспешил подставить серебряную чашу. Каждое действие сопровождалось здесь особенными словами и изречениями, по установленному обряду. Когда

чаша уже достаточно оросилась кровью, великий магистр предложил Черепову одеться, для чего он и был введён в смежную горницу, где ему уняли кровь с помощью какой-то вяжущей жидкости и помогли облечься в его платье, и когда после этого он опять был введён в круглую залу и поставлен пред престолом, венерабль обратился к нему с особенной речью.

— Возлюбленный брат! — начал он торжественным голосом. — Всё, что ты ощутил и видел, суть гиероглифы таинственной сущности: повязка на очах, тёмная хранина, умственные углубления, ударение кольцом, пути с востока на запад, шествие по изображению храма Соломонова — всё это есть не иное что, как разительные черты того, что может возбудить в душе твоей мысли о ничтожности мира и желание к отысканию истины: ищите и обрящете, толцйте и отверзетя. Мы уверены, что довольно было бы единого слова твоего к сохранению тайны; но мы ведаем также и слабость сердца человеческого и потому, над священной сею книгою религии, наполняющей ревностью сердца

всех нас, приемлем, для обеспечения себя, клятву твою, снижающую тебя с нами посредством сей священной книги. Для того требуем мы клятвы к сохранению тайны, дабы профаны, не понимающие цели братства сего, не могли издеваться над оною и употреблять во зло. Свобода и равенство царствуют между нами. Под именем «вольных каменщиков» мы будем стараться вкупе о восстановлении здания, основанного на краеугольных камнях, изображённых в сей изящной книге.

При этом венерабль указал на Библию. Затем, подавая Черепову лайковый передник и маленькую кирку:

— Любезный брат! — продолжал он. — Для того-то облакаем тебя, подобно каменщику, запоном и вручаем кирку. Прими также и сию безделку — знак братского союза на шего — и носи на груди твоей всякий раз, когда посетишь общество.

И он вручил Черепову прорезной золотой треугольник, на сторонах которого было изображено: «Les amis reunis»[63], а в середине — две соединённые руки. Этот орденский знак висел на алой с серебряными каймами ленте.

— Прими сии перчатки, — продолжал оратор, подавая Черепову пару, сделанную из батиста, — и да будут они тебе в знак сохранения чистоты твоих деяний; прими также и эти две женские перчатки — для подруги жизни твоей, если таковую изберёшь себе. Прекрасный пол не входит в состав нашего общества, но мы не нарушаем устава Творца и природы. Прими, наконец, сей меч, которым должен отсекать врасти твои, и ведай, что общество соединённых братьев, в которое ныне вступил ты, есть ничто само по себе, если не устремишь воли своей к отысканию истины; но это общество служит преддверием пути, который жаждет открыть пробуждённая совесть падшей души.

По окончании этой речи великий магистр обратился к брату учредителю порядка и повелел ему облечь Черепова в символические знаки «вольных каменщиков» и научить предварительным гиероглифам. Тогда брат учредитель принялся объяснять неопиту, что так как он, неопит, принадлежит пока ещё к «Les Apprentis», т. е. к ученикам, которые составляют первую степень масонства, то знак

этой категории есть как бы хватающее прикосновение правой руки к шее, потом относ этой руки на правое плечо, слагая большой палец с указательным, и, наконец, опущение её вдоль по бедру. Знак же «для познания брата» заключается в пожатии рук таким образом, чтобы большой палец одного подавил руку другого вдруг два раза, с малой остановкой, а в третий гораздо сильнее и продолжительнее.

— Слово для узнавания масона есть «Saquin», — продолжал брат учредитель, — и говорится оно после пожатия руки так: «Скажи мне первое слово, я тебе скажу второе». Тогда вопрошаемый, буде он масон, произносит: «s», а вопросивший вслед за ним: «a», первый «q», второй «u», и так далее. Слово священное есть «Tudalcain», и все эти слова и гиероглифы имеют своё значение, но первой степени оные не открываются.

Этим последним объяснением закончилось посвящение Черепова в масоны. Прозакламеновав его тут же относительно правильного усвоения им гиероглифических знаков и найдя, что он усвоил их верно, ему подвязали

лайковый передник, повесили на пуговицу кирку, а в петлицы треугольник, дали в руки обнажённый меч, велели надеть шляпу подобно всем братьям и указали то место, которое должно принадлежать ему во время братских собраний. После этого все члены поднялись со своих мест и чинно отправились в особую столовую, где ожидало их братское пиршество.

XIX

Общественная жизнь в Петербурге при императоре Павле

Первая ученическая степень масонства, в которую был посвящён Черепов, не открыла пред ним, его нравственно-духовными очами никаких особенных тайн и откровений, которые двинули бы жизнь его на новую дорогу, указали бы ему иные, высшие цели и задачи. А он так надеялся, так желал именно этого!.. Гвоздеев утешал его тем, что не всё-де может быть открыто сразу, что наперёд нужна основательная подготовка и строгая последовательность в степенях, а затем, со време-

нем, всё само собою станет ясно и «маэстозно» для его ищущего и пытающего духа. Но пока — всё это сулилось ещё впереди, а в настоящую минуту, при всех своих усердных и аккуратных посещениях ложи, Черепов видел одну только внешнюю сторону масонства, одни лишь обряды, часто вовсе не постигая их смысла и ни во что не успевая проникнуть далее и глубже этих чисто внешних формальностей. Такое положение вскоре намного охладило его рвение, и он стал уже гораздо реже посещать «собратство». Разочарование последовало ещё и оттого, что многие из масонов, не только низшей, но и более высоких степеней, не стеснялись в обществе относиться легко и даже иронически как о братьях, так и о своём собственном масонстве. «Что ж это! одна мистическая забава, игра взрослых детей в страшную игру» — с горечью думалось ему в иные минуты. Но положительный результат, приобретённый Череповым в масонской ложе, заключался в новых знакомствах с некоторыми из тогдашних профессоров Академии наук. Императрица Мария Фёдоровна оказывала особое внима-

ние и покровительство этому учёному учреждению, и даже несколько профессоров русского происхождения пользовались от её величества особыми субсидиями за чтение публичных лекций в залах Академии и в кунсткамере. Профессор Гурьев читал там высшую математику, Захаров — химию, Севергин — минералогию, а Озерецковский — зоологию и ботанику. Публика в особенности любила последнего; хотя он говорил и грубо, не разбирая выражений, но всегда умно, ясно и увлекательно. В числе слушателей его были многие морские и горные офицеры; посещали иногда аудитории и молодые гвардейцы, между которыми Черепов был не из последних. Эти лекции доставляли им случай к развитию многих понятий и к приобретению основательных сведений о некоторых научных предметах. Гвоздеев тоже был в числе наиболее ревностных слушателей и, подбодряя Черепова, говорил ему, между прочим, что это есть один из существеннейших путей к усвоению масонских стремлений и «абсолютной истины».

Академия того времени хотя и не отлича-

лась особенным блеском, но приносила обществу несомненную пользу. Подле знаменитых иностранцев: Эйлера, Эпинуса, Палласа, Шуберта и Ловица — стояли рядом русские имена: Румовского, Лепёхина, Озерецковского, Севергина, Иноходцева, Захарова, Котельникова, Протасова, Зуева, Кононова и Севастьянова.

Правда, не все из этих русских были люди великие и гениальные, притом многие же из них придерживались чарочки, но все они трудились и честно действовали «на пользу и преуспеяние» России. Первое место в числе их занимал Озерецковский, человек умный, основательно учёный, но вздорный, сквернослов и большой руки кутила. Гвоздееву удалось как-то ввести Черепова в профессорскую компанию, и хотя он был плохой учёный собеседник, но профессора уважали его за добрый, открытый нрав, за полную и беззаветную готовность, во всякое время дня и ночи, на всякую лихую отчаянную штуку, за умение хорошо выпить, ещё лучше угостить, да, наконец, и блестящий конногвардейский мундир в глазах многих учёных того времени то-

же что-нибудь значил. Словом, не один из них находил, что быть с Череповым в знакомстве «и лестно, и приятно». Обо всей этой компании ходило тогда много анекдотов. Рассказывали, например, что однажды летом все члены Академии были на свадьбе у одного из своих товарищей на Васильевском острове. Часу в шестом утра шли они домой, гурьбою, в шитых мундирах, в орденах, и присели на помост канавки, чтобы отдохнуть и перевести дух. В это время лавочник отворял свою мелочную лавку. Озерецковский предложил зайти и выпить огуречного рассола, что протменно действует после попойки, и крикнул лавочнику подать им ковш «сего нектару». Напились и отыкались учёные. «Эх, да и хорош же у тебя рассол, собака! Что же мы тебе должны? Сколько с нас следует?» — «Ничего-с, ваши превосходительствы и сиятельства!» — отвечает купец с поясным поклоном. «Как ничего?!» — «Да так, ваши превосходительствы, потому ведь и с нашим братом это случается».

Чтобы размыкать свою внутреннюю тоску. Черепов в это время отдался разным течени-

ям, кидался в разные сферы общества, жизни и занятий, нимало даже не заботясь, «пристойно ли сие гвардейскому мундиру». Ему просто хотелось как бы то ни было и где бы то ни было забыться, заглушить, потопить эту назойливую и ревнивую кручину, которая по временам, и особенно после встреч в большом свете с графиней Елизаветой, глубоко забиралась в его сердце.

Но ни масонство, ни наука, ни даже профессорские кутежи не помогали. Вне графини Елизаветы — всё казалось ему скучным, бесцветным, мертвенным, ничто не привлекало, ни в чём не почерпалось забвения.

Да и самые условия жизни тогдашнего общества всё более и более становились тесными и печальными. Время было тяжёлое, и вообще, и в частности, и сделалось оно таковым вскоре по возвращении государя из путешествия по России; но в особенности казалось оно тяжким по сравнению с привычками и жизнью екатерининского времени. Всё переменялось разом так резко и круто, и общество остановилось в полном недоумении перед явлениями новой жизни. Государь на

многих из придворных и сановников имел подозрения, и сколько из них, чуть ли не ежедневно, были отставляемы от службы и ссылаемы на житьё в деревни! Тайная канцелярия была завалена делами, преимущественно раскольничьими; Обольянинов разбирал основания разных сект; многих из сектантов брали в «Тайную», брили бороды и ссылали на поселение. По отзывам современников, то настала «эпоха ужасов». Один из них[64] говорил, что «сердце болело, слушая шёпоты, и рад бы не знать того, что рассказывают»; а другой[65] свидетельствует, что в то время «надлежало остерегаться не преступления, не нарушения законов, не ошибки какой-либо, а только несчастья, слепого случая»; и все жили тогда с таким точно чувством, как во время какой-нибудь повальной болезни: прожили день — и слава Богу. Если в каком-либо доме занимал квартиру квартальный надзиратель, то он свободно мог являться тираном и страшилищем всего дома — была бы лишь охота; его слушались со страхом и трепетом, от него прятались и убегали на улицах. Донос полицейского агента нередко мог иметь са-

мые гибельные последствия. Даже самые невинные удовольствия не всегда проходили без приправы страха и горечи. Многие были до того напуганы, что если, бывало, слышат курьерский колокольчик, то так и затрясутся, так и побледнеют; всё чудилось, будто фельдъегерь или даже сам полицмейстер Эртель едет брать их в «Тайную». Брали иногда Бог весть почему, даже по такого рода доносам прислуги, что господа говорили-де о курносых. Это было уже усердие паче меры и разума, и государь большей частью даже вовсе и не знал о нём.

А в то же время трудно и представить себе то бешеное веселье, которое в эти самые дни царило в петербургском обществе. В десять часов, по распоряжению полиции, все огни в домах должны быть погашены, но обыватели выдумали шторы на двойной подкладке, которые, будучи спущены в урочный час, препятствовали видеть комнатное освещение с улицы, и хозяева, простившись со слишком строгими блюстителями законных формальностей, оставались в кругу людей, не заботившихся о том, что ожидает их завтра, — весе-

лились напропалую, танцевали до упаду, вели речи самые безбоязненные, произносили суждения самые резкие. Но часто, с наступлением грозного завтра, гости при возвращении домой находили ожидавшую их тройку, которая отвозила «по назначению». Случалось, что и хозяева были отправляемы туда же так скоро, что созванные ими с утра гости не находили их. Но эти внезапные исчезновения не удивляли и не смущали никого: всякий мог ожидать на всякий час подобной же участи, а до того с русской беззаботностью старались запастись весельем. Но ещё более может показаться невероятным, что в стране, подчинённой таким грозным порядкам, могли люди пользоваться замечательной свободой порицания. В том ящике, который был выставлен в одном из нижних окон дворца для кидания просьб и жалоб, государь нередко встречал карикатуры и пасквили на свою особу, и — замечательная черта характера! — иногда он смеялся, если находил их остроумными, и всегда оставлял их, все без исключения, без всяких последствий для авторов. Известен, между прочим, факт об одном камер-

гере, который постоянно позволял себе говорить о Павле Петровиче, ещё в бытность его наследником, самые резкие вещи, что, конечно, было небезызвестно его величеству. Сделавшись государем, Павел однажды во дворце увидел своего давнего недруга, который старался теперь всячески удаляться и прятаться за других, чтобы не попасться ему на глаза. Подойдя к нему самым милостивым образом и взяв его за руку, государь сказал: «Что вы так прячетесь все от меня! Поверьте, милостивый государь, всё то, что *великий князь* знал и слышал, он не скажет о том *императору*». Таково же точно было его отношение и к пасквилям. Пламя камина обыкновенно тотчас же поглощало эти произведения подпольных авторов.

Придворные балы, торжества и празднества не поражали теперь таким ослепительным блеском и баснословной пышностью, как в предшествовавшее царствование, но всегда были оживлённы и нередко весьма оригинальны. В последнем отношении особенно выделялось торжество накануне Иванова дня, 23 июня. Оно учредилось с тех пор,

как государь, в январе 1797 года, заключил конвенцию с «державным орденом мальтийским» об установлении этого ордена в России.

Святой Иоанн, как известно, был почитаем в качестве патрона мальтийских рыцарей. Накануне дня этого праздника всё «великое приорство российское» собиралось в одном из загородных дворцов, преимущественно в Павловском, и составляло орденскую думу, вело «протокол всем своим советованиям» и «делало о том в Мальту потребные сообщения». Впоследствии, когда император Павел принимал права и титул гроссмейстера этого ордена, он назначил на остров Мальту русский гарнизон и особого коменданта, а город Мальту повелел внести в академический календарь, «наравне с губернскими Российской империи городами». Накануне мальтийского празднества, обыкновенно вечером, все наличные войска были собираемы парадом вокруг дворцовой площадки, а самый дворец занимали кавалергарды и лейб-эскадрон конногвардейцев, которые размещались по покоям на проходе его величества. К назначенному часу все находившиеся в Петербурге кавале-

ры и командоры ордена святого Иоанна Иерусалимского собирались во дворец и открывали процессионное шествие по два в ряд. На них тогда красовалось особое одеяние: алый орденский супервест[66] с вышитым на груди изображением белого мальтийского креста. В замке этой процессии шёл император в сопровождении орденского оруженосца, Павла Ивановича Кутайсова, и командира «кавалергардского корпуса» с палашом наголо. Вся процессия троекратно обходила около девяти костров, разложенных на площадке, обрамлённой войсками, после чего император и один из высших сановников ордена бросали на костры пылающий факел и зажигали их, а затем шествие тем же порядком, между горящими кострами, возвращалось во внутренние дворцовые покои. Императрица с женской половиной царской фамилии, дамы высшего круга и весь двор обыкновенно любовались на этот древний рыцарский обряд из-под намета особой палатки, разбиравшейся поблизости.

Но более всего бывало оживлённо в Гатчине во время осенних манёвров. Здесь, в этой

колыбели павловской армии и флота, в этом питомнике их организации, учреждений, выправки и дисциплины — было любимейшее местопребывание императора во время осени. Петергоф он ещё любил и живал там, среди освежающих фонтанов, в самую жаркую летнюю пору, но Царского Села терпеть не мог и почти никогда в него не заглядывал. В Гатчине, ещё при жизни императрицы Екатерины, благодаря постоянному пребыванию там наследника, образовалась как бы совсем иная атмосфера, где все приезжающие во дворец были принимаемы с любезностью и радушием; но вместо непринуждённости и лёгкой, весёлой свободы, господствовавшей при большом дворе, здесь всё было чинно, скромно, семейно и бесшумно.

Всё здесь было устроено несколько на прусский лад, и именно по старинным образцам прусским: повсюду трёхцветные шлагбаумы на въездах и выездах из городка, повсюду часовые, которые, бывало, на прусский манер окликают проезжающих и стоят в старинной форме времён Фридриха-Вильгельма I. Там был выстроен «форштадт» — совер-

шенное подобие маленького немецкого, очень чистенького городка; казармы, конюшни, гауптвахты и вообще все казённые строения — точь-в-точь такие, как в Пруссии, что так нравилось Павлу Петровичу ещё со времени его путешествия по Европе.

Здесь, в уединении, он мог свободно предаваться своим любимым занятиям: воинским экзерцициям, составлению военных проектов, реформ, уставов, верховой езде и чтению научных книг. Известно, что он был одним из лучших ездоков и наездников своего времени и ещё с раннего возраста отличался в каруселях; он знал в совершенстве языки: русский, славянский, французский и немецкий, владел достаточно хорошо итальянским и латинским, был хорошо знаком с историей, географией и математикой, говорил и писал весьма легко и свободно и всегда отличал особым вниманием людей остроумных.

Гатчина уже и в это время была прекрасным уголком среди петербургских окрестностей. Лучшим её украшением служил дворец или, точнее, замок, с башнями и подземными ходами, построенный просторно и прочно из

тёсаного местного плитняка и окружённый каменной стенкой, рвами и земляными валами, на которых и доселе ещё стоят орудия того времени. Парк и тогда уже был тенист и очень обширен и изобиловал превосходными старыми дубами. Прозрачный поток и теперь, как тогда, вьётся по парку и по садам, во многих местах расширяясь в обширные пруды, которые почти можно назвать озёрами и на которых красовались в полном боевом снаряжении две прекрасные яхты. Вода в этих прудах до того чиста и прозрачна, что можно считать камешки на глубине двенадцати или пятнадцати футов, где плавают большие форели и стерляди. Этот замок вполне удовлетворял романтическим, рыцарственным наклонностям императора Павла.

Во время осенних смотров, парадов и манёвров здесь происходили большие увеселения: концерты, балы, маскарады, фейерверки и спектакли, преимущественно французские, непрерывно следовали одни за другими. Казалось, что на эти немногие, ясные осенние дни все удовольствия, все развлечения Версаля и Сансуси сосредоточивались в Гатчине.

Но эти празднества часто помрачались строгостями всякого рода, как, например, арестом офицеров или мгновенною ссылкой их в отдалённые полки. Государь часто бывает сердит и особенно вспыльчив; но замечательно, что из уст его никогда, ни при каком случае, не вырывалась грубая или обидная брань. Он и в гневе умел сохранять свои врождённые свойства присущей ему рыцарской вежливости. Случались также и несчастья, какие нередко бывают на больших и горячих кавалерийских манёврах, и эти случаи весьма раздражали императора; но он постоянно выказывал много человеколюбия и сердечной теплоты, если кто-либо из солдат или офицеров серьёзно был ранен.

XX

«Справа повзводно, в Сибирь на поселение»

Осенние манёвры 1798 года отличались особенным оживлением. Весь двор и высший петербургский свет переселялись на это время в Гатчину. Все обывательские дома этого маленького городка были заняты временными постояльцами, которые за какую-нибудь комнату платили «неслыханно дорого» — от пяти и даже до десяти рублей в две недели. Войска, собранные под Гатчиной, разделялись на два отряда: одним командовал граф Пален, другим — Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. Великий князь Константин Павлович временно исполнял должность военного губернатора Гатчины. Утро обыкновенно проходило в поле, воинственные клики, звуки барабанов и гром выстрелов оглашали мирные гатчинские окрестности, а по вечерам всё общество собиралось в залах обширного дворца наслаждаться звуками прекрасной музыки и изящной игрой француз-

ских актёров. И воинские экзерциции, и придворные увеселения — всё это шло прекрасно, стройно, удачно, и потому государь все дни находился в отличнейшем расположении духа. Рассказывали несколько происшедших за это время случаев, которые получили даже анекдотическое значение. Так, например, говорили, что однажды утром дежурный адъютант, в чине поручика, рапортует государю о состоянии одной воинской части, подав ему предварительно написанную «рапортичку», где было проставлено число людей, наряженных в караул, на дежурство; больных и арестованных не было никого. Государь по этой записке следил за словесным рапортом адъютанта, а тот, рапортуя: «дежурных столько-то, больных столько-то», — по рассеянности или по невольной привычке произносит: «под арестом», да вдруг спохватился, что под арестом-то нет никого, и замолк, совершенно осёкшись.

— Кто под арестом? — спросил император. Адъютант смутился ещё более и молчит.

— Кто под арестом? — строго повысив голос, повторил его величество.

— Я, государь! — промолвил адъютант, преклоняя колена.

— Встань, капитан! — весело сказал император, довольный находчивостью этого ответа.

В другой раз, во время самого манёвра, его величество посылает ординарца своего Рибопьера, только что произведённого в корнеты конной гвардии, с какими-то приказаниями к генералу Кологривову, который командовал кавалерией. Рибопьер, не вразумясь или не вслушавшись хорошенько, отъехал в сторону и остановился в крайне критическом положении, не зная, как ему теперь быть и что делать. И вдруг он видит, что к нему скачет сам государь с вопросом:

— Исполнил ли повеление?

— Ваше величество, я убит с батареи по моей неосторожности, — почтительно доложил ординарец.

— Ступай за фронт! Вперёд наука! — довершил император.

Эти анекдоты, бывшие новостью дня, передавались из уст в уста и служили как бы мерилом того прекрасного расположения духа, в

котором находился император.

В один из воскресных дней, на разводе, данном от Преображенского полка, его величество, по званию батальонного командира, в штиблетах и пешком парадировал во главе батальона пред императрицей и ловко, искусно и легко салютовал эспонтоном.

По окончании развода, окружённый всем генералитетом, начальниками разных частей и полковыми командирами, государь выразил им и велел передать войскам своё особое благоволение и удовольствие по поводу образцового хода манёвров и всех вообще воинских занятий.

— Я знал, господа, — прибавил он при этом, — я знал, что образование войск по уставу было не всем приятно: я ожидал осени, чтобы сами увидели, к чему всё клонилось; теперь вы видите плоды общих наших трудов во славу и честь оружия российского.

Одним словом, всё предвещало милости и награды, начальство было необычайно довольно, как вдруг одно обстоятельство помрачило общее настроение духа.

На следующее утро после этого счастливо-

го развода лейб-гвардии Конному полку назначено было линейное учение. Надо заметить, что государь отчасти имел предубеждение против этого полка за его прежний дух и иногда полушутя, полусерьёзно называл конногвардейцев якобинцами.

— Vous etes jacobins, — говаривал он полковнику Саблукову, — pas vous, mais le regiment[67], — и таково было его постоянное убеждение. Но на сей раз его величество, будучи весьма доволен полком, пожелал оказать ему особую честь и объявил, что завтра он сам будет учить конногвардейцев.

Наутро погода стояла хотя и ясная, сухая, но с ночи ещё дул сильный и порывистый ветер, который ни на минуту не унимался.

Конногвардейцы вышли на учебный плац в самом блистательном виде, облачённые в свою полную парадную форму.

Они рассчитывали показаться государю истинными молодцами и поддержать относительно себя его благоволение. Ряды открытых экипажей, придворные линейки, наполненные нарядными дамами и кавалерами, и множество публики наполняли окраины плаца —

всё это стекло сюда любоваться на учение самого блестящего полка русской кавалерии. Графиня Елизавета и Нелидова тоже присутствовали между фрейлинами. Окончив обычный развод, государь около девяти часов утра прибыл на плац-парадное место и принял полк в своё командование. Чтобы показать полку особое его внимание, он нарочно оделся в конногвардейскую форму.

Встреченный трубными звуками и салютом преклонившихся штандартов, его величество, в сопровождении блестящей свиты, поскакал вдоль фронта, приветливо здороваясь с эскадронами. Затем свита отъехала далеко в сторону, и государь, оставшись один перед полком, начал учение. Сначала всё шло прекрасно. Началось с «перемены фронта назад». Для этого была подана команда: *«Перемена фронта и флангов. Весь полк по четыре, направо рысью марш!»*

Эскадроны отчётливо заехали отделениями направо. Предстояла одна из самых эффектных и красивых кавалерийских эволюции того времени, но зато же она была и самой трудной, самой головоломной и опасной.

— *Стой, равняйся!* — скомандовано было тотчас же после заезда. — *Укроти поводья! С места, марш-марш!*

И вслед за этим словом первое отделение первого эскадрона сразу и круто поворотило «левое плечо вперёд кругом» и во весь карьер помчалось почти по той же линии фронта, которую занимал полк до команды. Все остальные отделения полка тем же аллюром следовали на хвосте за первым. Таким образом, одна половина полка мчалась в глубокой колонне навстречу другой почти локоть к локтю встречного всадника. Лошади в нашей кавалерии того времени вообще были недостаточно выезжены, и на таких-то лошадях приходилось проделывать подобную молодецкую штуку! При этом нередко случалось, что они заносили, и всадники не всегда могли с ними справиться: кони сталкивались, люди сшибались друг с другом, отчего выходили и несчастные случаи. Но на сей раз Бог помиловал: эволюция была исполнена не только вполне благополучно, но и блистательно по своей эффектной стройности. Вся вереница громадных всадников мчалась до

той минуты, пока не поменялись флангами, т. е. пока правый фланг не очутился на месте левого, а левый на месте правого.

Тогда раздалась команда: *«Стой!.. Во фронт, марш! Стой, равняйся»*, — и мчащаяся вереница на месте осадилась коней и по отделениям сделала заезд во фронт, т. е. задом к прежней линии фронта.

— Хорошо, ребята! — слышался довольный голос государя.

Весь полк, как один человек, отгрянул молодецки: *«Рады стараться!»*

Но затем учение пошло уже менее удачно. Неистовые и шумные порывы ветра относили порой не только слова команды, но даже и трубный звук сигнала делали неясными, особенно если он подавался издали. Дивизионным и эскадронным командирам из-за этого ветра приходилось иногда командовать и делать построения чисто наугад, по вдохновению или по соображению с каким-нибудь одним словом, которое случайно долетало к ним из целой командной фразы. Понятно, что при этом нередко исполнялось вовсе не то, что командовалось, а порой происходила да-

же и путаница во фронте. Император, видимо, начинал досадовать и сердиться.

Новый устав, выработанный под сильным и непосредственным влиянием Аракчеева, вносил во фронт буквальную и строгую точность, каждый приём исполнялся не иначе как по темпам; каждому движению, да и вообще всему была положена строго и определённо очерченная рамка, выходить из пределов которой не осмелились даже генерал-фельдмаршалы. Устав предписывал всем, начиная от фельдмаршала и кончая рядовым, «всё то, что должно им делать», и не допускал ни малейших отклонений от своих формул, подчиня своей букве всех и каждого и требуя только безусловно точного, так сказать, автоматического выполнения.

Конногвардейцам приходилось жутко; они видят, что путают, чувствуют, что государь, глядя на них, должен быть гневен, ветер меж тем так и свистит, так и бьёт на просторе.

— Господа офицеры, к атаке! — командует император. — Весь полк рысью вперёд — марш!

И вслед за этим повернулся и поехал ры-

сью. Отъехав шагов на шестьдесят, он крикнул: «Марш-марш!» — дал шпоры и пустил коня полным карьером.

— Стой, равняйся! — раздалась его команда, в виду всей публики, почти на самом краю плаца. Осадив коня, он повернулся назад — и что же?.. Развёрнутый полк виднеется вдали — и ни с места! Как стоял, так и стоит, словно вкопанный.

Государь сильно натянул повод, закусил губы, плашмя и свободно опустил вниз палаш и сдержанным троттом отъехал на ближайшую дистанцию к полку, на то место, с которого обыкновенно пропускал полки мимо себя церемониальным маршем. Свита, предполагая, что линейное учение кончено и сейчас начнётся церемониал, спешно приблизилась к государю и стала позади его красиво-пёстрой свободной группой.

— Полк, слушай-ай! — отчётливо, размеренно и громко раздалась его команда. — По церемониальному маршу!.. Справа повзводно... в Сибирь... на поселение... шагом... марш! Господа офицеры!

И вот лейб-гвардии Конный полк по знаку

его палаша плавно тронулся с места. Впереди всех на рослом пегом коне красиво и горячо выступал полковой адъютант, за ним ехал залитый в золото литаврщик со своими богато изукрашенными инструментами, далее два трубача, за ним полковой командир, потом командир лейб-эскадрона, имея позади себя двух младших корнетов, а затем, уже по порядку своих номеров, красиво следовали стройные взводы. Пред каждым на ретивом коне в лансандах ехал взводный офицер и салютовал палашом, парадируй мимо императора. Трубачи протрубили «поход», или, как называлось тогда, «фанфар», и вслед за ними полковой хор грянул «марш лейб-гвардии Конного полка» на своих валторнах, тромбонах, флейтах и гобоях.

Это была минута необычайного эффекта. В ответ на салют каждого взводного командира император прикладывался к полю своей треугольной шляпы. Бледные лица безмолвной свиты выражали испуг, беспокойство, недоумение... Все свитские очень ясно слышали роковую команду императора; у многих из них в строю этого самого полка были внуки,

сыновья, братья, племянники, друзья и приятели... Надо отдать справедливость конногвардейцам: они прекрасно, спокойно, с великолепным эффектом уходили церемониальным маршем в свою неожиданную сибирскую ссылку.

Публика на окраинах плаца ещё не знала, в чём дело, и с удовольствием любовалась на красивый шаг конногвардейцев.

Пропустив мимо себя последний взвод и не проронив ни единого слова, император угрюмо съехал с плаца в одну из аллей и направился домой. Свита, поражённая чуть ли не паническим страхом, в глубочайшей тишине следовала за ним шагом.

Дежурный фельдъегерь, гремя в пыли своей взмыленной тройкой, нагнал на дороге Конногвардейский полк и подал пакет командиру, тот, не останавливая церемониального марша, вскрыл конверт, между страхом и радостью надеясь, что эта бумага несёт прощение с приказанием возвратиться в казармы, но вместо того затуманившимся взором прочёл он маршрут, которым определялось следование до Новгорода, с пояснением, что

дальнейший маршрут до Сибири будет ему выслан своевременно. «Идите весь путь неукоснительно церемониальным маршем», — прибавляла инструкция в заключение.

— Будет исполнено в самой точности, — промолвил командир, приложив руку к шляпе, и фельдъегерь тою же дорогой помчался обратно.

Первый ночлег полку назначен был в Тосне — ямской слободе на большой Московской дороге.

XXI

«Налево кругом»

На другой день после этого происшествия, в предобеденное время, графиня Елизавета Ильининша сидела в комнате Екатерины Ивановны Нелидовой, обсуждая с нею, в каком наряде следует быть на нынешнем интимном вечере, который предполагался в гатчинском дворце, на половине императрицы, для небольшого, самого отборного общества.

В это время вошёл ливрейный камер-ла-

кей и подал Лизе письмо на серебряном подносе. Сургуч на конверте был самого скверного достоинства и вместо печати притиснут медной копейкой.

— Прислано с нарочным, — пояснил лакей, откланиваясь.

Недоумевая, откуда бы могло быть это послание, Лиза сломала печать и равнодушно принялась за чтение. Но чем более она углублялась в письмо, тем всё тревожнее и взволнованнее становилось выражение её красивого личика.

«Пишу к вам ночью, с яма Тосны, — читала она, — с самого первого нашего этапа в отдалённое сибирское странствие. Мог ли я ещё ныне утром считать на такой исход дня, прекрасно начавшегося!.. Вам, конечно, уже известно о той злополучной судьбине, коя постигла наш полк, а в том числе и меня, на ученье сего утра. Всё дело в одном великом недоразумении. Мог ли кто-нибудь, не токмо уже целый полк, дерзнуть и в помышлении, чтобы сознательно учинить что-либо супротивное воле его величества! Тем не менее мы все несём кару за послушание команды, кото-

рой вовсе не расслышали. Противный несносный ветер совершенно относил в иную сторону слова команды. Мы видели, как его величество поехал рысью с пункта, достаточно от нас отдалённого, видели, как помчался он карьером, но не дерзнули учинить того же вслед за ним, опасаясь преступить наистрожайшее требование устава, не допускающее ни малейшего движения во фронте, помимо команды ближайших начальников. Ни я, ни кто-либо из нас не осмелились взять сего движения вперёд на свой риск, хотя и чаятельно было, что означает оное вероятную атаку. Но так как мы и без того достаточно в сие учение погрешили, то и не желали новою погрешностью отягчать свои невольные вины, а потому и остались на месте в неподвижности. Но как бы то ни было, теперь уже дело это конченное и непоправимое. Мы идём в Сибирь, чтобы в её хладных степях скончать всю нашу дальнейшую служебную карьеру. О выходе в отставку не может быть и помышления, так как идём мы не своей охотой, а впоследствии грозовой опалы его величества, и потому должны служить, где укажет его величай-

шая воля, доколе сам он не предложит гнев свой на милость. Мы, однако, пока и в самом мечтании не считаем на пощаду. Знаем только одно, что, куда бы ни кинула нас суровая судьба, мы все до единого пребудем до конца в неколебимой верности и преданности государю и отечеству. Таково наше всеобщее убеждение. Но довольно о сей материи. Простите великодушно, что дерзаю утомлять внимание ваше столь длинным посланием, но смотрите на меня теперь как на человека не от мира сего и как бы умершего. Уповательно, что в сей жизни мы с вами никогда более не встретимся, а потому примите снисходительно и благосклонно сию первую и последнюю мою исповедь. Среди светских утех и рассеяний, среди блистательных поклонников ваших вы, графиня, едва ли примечали то глубокое, нежное чувство, которое молча питал я к вашей особе. Теперь, отходя на вечную разлуку, можно сказать по чести и прямо о том, чего никогда не дерзал я выразить вам в лицо. Причиной сему опять же сие самое моё чувство, которое я чтил и лелеял слишком свято в своей душе, чтобы осмелиться вы-

сказать его наружу... Меня удерживало сумнение, как вы его примете. Теперь — дело иное, и, кончая сии строки, я прошу вас верить, что там, где-то в глубине снегов сибирских, всегда будет биться для вас преданное сердце, которое до последнего своего содрогания не престанет благоговейно чтить ваш образ. Прощайте навсегда. *Василий Черепов*».

Когда Лиза читала последние строки, лицо её сделалось бледно и на глазах показались крупные слёзы. В словах Черепова заключалось для неё открытие такой тайны, о которой она и не подозревала доселе, и это открытие было ей приятно, сладко, утешительно. Почему? Она и сама не могла бы дать себе в том отчёта; но перечитав ещё раз эти строки, почувствовала на сердце какую-то удовлетворённость, нечто тёплое, и хорошее, и благодарное. Это чувство казалось ей похожим на то, как будто она, среди роскошного, но чужестранного города, в котором всё так шумно, пёстро и весело, где ей самой тоже весело, но где она никого не знает и среди чуждой толпы сознаёт себя совершенно одинокой, вдруг неожиданно и нежданно повстречалась с

добрым старым знакомым, с которым вот именно теперь, в эту самую минуту, и нужно было встретиться, с которым именно в эту-то минуту и влечёт поделиться всей своей душой... Но уввы! — этот «старый знакомый» в действительности уходит теперь далече, на тёмную, безвестную и суровую жизнь, и уже никогда, никогда больше не доведётся с ним встретиться.

Вот какое смешанное чувство вызвало эти невольные слёзы.

Нелидова всё время, пока Лиза читала письмо, внимательно взглядывала на неё из-за своего тамбурного вышиванья и, с чисто женским любопытством уловляя все изменчивые оттенки в выражении её лица, старалась по ним разгадать, как содержание письма, так и чувства, волновавшие Лизу.

— Друг мой! Что это?.. Никак вы плачете? — с полуиспугом и участием воскликнула она, заметя Лизины слёзы. — Зачем? Отчего?.. скажите, Бога ради! Неужели это письмо причиной?.. Если так, то какое же оно противное!

— Да, это письмо причиной, — подтвердила Лиза, — но оно не противное, — нет! Оно

славное, доброе, хорошее письмо!.. Господи! Как бы помочь этому горю!

— Но, моя милая... в чём дело, если это не нескромно?

— Читайте сами.

И Лиза подала ей письмо, которое Екатерина Ивановна стала читать с полным и серьёзным вниманием...

— Бедные! Несчастные! — воскликнула она со свойственной ей живостью и восприимчивостью, окончив чтение и, словно ртуть, вскакивая с места и принимаясь быстро ходить по комнате. — За что это они так терпят!.. Надо сегодня же сказать государю!.. Я беру это на себя... Ведь вы, конечно, не будете против?

— О! нет... Спасите, если возможно!.. — кинулась в объятия к ней Лиза.

— Милая!.. А вы любите?.. Да?.. да? Любите его? — говорила Нелидова, целуя её голову.

— Я? — в некотором замешательстве подняла на неё Лиза свои взоры. — Я... право, не знаю... мне доселе как-то ни разу не думалось об этом... Но он такой добрый, славный, честный... Я только теперь это поняла. Спасите

его, дорогая моя!.. Спасите!.. Вы одна только это можете!

В эту самую минуту в смежной комнате слышались быстрые и твёрдые, хорошо знакомые им обеим шаги. Нелидова вздрогнула, закусив губу и, как бы остерегая Лизу, быстро и крепко схватила её за руку.

В этот миг распахнулась тяжёлая портьера и на пороге в появился император. Он мгновенно захватил обеих девушек в их обнявшейся позе, с их одушевлённым выражением лиц и с этими слезами Лизы. Письмо было ещё в руке Екатерины Ивановны.

— Само небо посылает вас! — воскликнула она, бросаясь к нему навстречу.

— Что такое? В чём дело? — весело спросил государь, вздёргнув несколько кверху свою голову, что было его привычным движением, в котором выражалось так много царственного, повелительного и великодушного.

— Дело, государь, несложно. Читайте, и вы всё узнаете.

И с этим словом она подала императору письмо Черепова.

— Это письмо к вам? — спросил её Павел

Петрович.

— К ней, ваше величество, — указала Нелидова на смущённую Лизу, у которой на ресницах ещё сверкали красивые слёзы.

— Что вижу?.. Вы плачете? — обратился к ней император.

— Читайте, государь, читайте! — затеребила Нелидова.

— Вы позволяете? — спросил он графиню Елизавету.

— Прошу о том ваше величество, — ответила та с глубоким почтительным поклоном.

Император стал читать и с первых же строк сосредоточенно отдал письму всё своё внимание.

При всей изменчивости своего нрава в первую половину царствования он охотно подчинялся нравственному влиянию Нелидовой. Лица, занимавшие в это время главные места, принадлежали по большей части к прежним гатчинским собеседникам государя: это были друзья или родственники Екатерины Ивановны. Двое братьев Куракиных, граф Буксгевден, Нелидов, Плещеев находились между собой в тесной связи и составляли при

дворе особый тесный кружок, центром которого была Нелидова. Все её уважали за её образованный, своеобразный, симпатично-весёлый и колкий ум и не могли не пленяться её беседою, когда она чувствовала себя в добром расположении духа. Правда, подчас капризный характер её становился несносен, выражаясь в ворчливости и в требовательности по отношению к близким ей людям; но всё это легко прощалось и забывалось ей за её тёплое сердце, чуткое и отзывчивое ко всему доброму и хорошему. Влияние её простиралось далеко, и справедливость требует заметить, что она пользовалась им во благо императора и не раз спасала невинных людей от его гнева, причём её никогда не удерживало эгоистическое опасение прогневить своего царственно-го друга. Ей нередко удавалось отклонять некоторые резкие меры и распоряжения государя и, между прочим, если святой орден св. Георгия Победоносца не был уничтожен, то этим обязаны Нелидовой, которая настойчиво и горячо убедила императора не исполнять задуманного им решения. Словом, в первую половину царствования Павла она

была предметом его рыцарского почитания и первым лицом при дворе. Все восхищались её умением танцевать, прелестью и миловидною грациею всех её движений, блеском и живостью её остроумия. Она любила зелёный цвет — и в угоду ей придворные певчие получили новые зелёные кафтаны. Она одна говорила императору что ей вздумается, а иногда даже и отказывалась говорить с ним. Всецело принадлежа двору, Екатерина Ивановна находилась в самой тесной близости ко всему императорскому семейству. Она всю свою жизнь была лучшим другом императрицы Марии Фёдоровны. От неё, конечно, зависело бы воспользоваться своим положением, извлечь для себя и для своих близких всякие прибыли, как и делали многие до неё и после неё; но она отличалась образцовым бескорыстием, и ей случалось многократно отвергать или умалять щедрые милости, которыми стремился награждать её император.

Окончив чтение, государь поднял светлое лицо на Нелидову.

— Я был неправ, — сказал он, — и от всего сердца благодарствую вам, что подали мне

возможность узнать истину и не допустили совершиться несправедливости. Если простому смертному не довлеет быть несправедливым, то кольми паче государю.

И, взяв со стола бронзовый колокольчик, он позвонил громко и нетерпеливо.

Тотчас же вошёл дежурный флигель-адъютант, дожидавшийся в коридоре.

— В сию же минуту дать с фельдъегерем приказание Конному полку «налево кругом!». Возвратиться обратно! — сказал государь — и адъютант исчез, полетев исполнять высочайшее повеление.

— А молодой-то человек, как видно, любит вас не на шутку, сударыня? — весело заметил император, возвращая Лизе письмо Черепова.

— Я только что узнала про то, — смущённо пролепетала девушка.

— Будто ли так?.. И можно ли тому стать-ся?!

— Уверяю вас, государь...

— Хм... Так не знали?.. Ну, а я знал... Вот, видите ли, раньше вас знал и давно уже знаю об этом.

Лиза с выражением вопроса и удивления

подняла было него взоры, но государь, круто повернувшись на каблуке, выходил уже из комнаты.

XXII

Из-за тупея

Первая встреча графини Елизаветы с Череповым после его письма произошла как-то вовсе не так, как предполагал и мечтал о ней каждый из них заранее. Оба они были не то что сконфужены, но им вдруг стало несколько неловко, и они ушли вглубь себя и далеко не высказали друг другу того, что хотелось бы высказать. Вместо пламенного, сильного слова разговор между ними вообще не клеился, вертелся около самых обыкновенных и вовсе для них посторонних тем, и оба они, как бы боясь вывести его на настоящую и столь желаемую каждому дорогу, усиленно старались поддерживать его именно на этих посторонних темах. Всё, что заранее было так стройно и хорошо обдуманно, вдруг улетучилось, испарилось из мысли и памяти, показалось вовсе некстати, вовсе ненужным,

неуместным; о письме ни с той, ни с другой стороны не было сказано ни слова, ни намёка, как будто за эти дни вовсе не произошло ничего особенного ни в судьбе Черепова, ни в их взаимных отношениях, и таким образом эта первая встреча прошла самым обыкновенным образом и, сравнительно с их прежними встречами, даже суше, чем обыкновенно. Но не то было в душе: графиня Елизавета чувствовала, что Черепов стал не чужой её сердцу, и почувствовала это ещё живее и как бы осязательнее именно в ту минуту, когда он удалился после этой первой встречи и когда не сказалось ему того, что хотелось и задумано было высказать. Они продолжали встречаться в свете, но оба боялись и скорее избегали, чем искали встреч между собою. В их взаимных отношениях оставалось что-то незавершённое, недосказанное, и оба они чувствовали, что стоит только сделать первый приступ, сказать всего лишь одно заветное слово, именно то слово, которое *нужно сказать*, — и всё выскажется, всё довершится, всё станет ясно и хорошо между ними, но это слово и не выговаривалось...

Так прошла осень, и зима, и наступил март месяц 1799 года.

Блестящие победы молодого генерала Бонапарте на полях Италии в 1796 году и Кампоформийский мир, заключённый в октябре следующего года[68], сделали Францию грозой для её соседей и дали ей решительный перевес на западе Европы. Французское правительство, увлечённое успехами своей армии, перестало полагать всякие пределы своим политическим притязаниям, и потому-то насильственные меры, принятые Директорией, побудили несколько держав образовать вторичную коалицию против Французской республики. В этой коалиции приняли участие: Англия, постоянно враждовавшая с Францией; Россия, ручавшаяся по Тешинскому трактату за самостоятельность Германии [69]; Австрия, вполне убеждённая в безуспешности Раштадтских переговоров[70]; Турция, оскорблённая самовольным захватом Египта [71]; короли Неаполитанский и Сардинский, опасавшиеся угрозы нападения на свои владения со стороны Франции, и, наконец, неко-

торые из германских владетельных князей, сопредельных Французской республике. В 1799 году со стороны союзных государств предположено было напрячь все усилия против господства беспокойной Директории. Значительные армии направлены были в Германию и Италию, и в то же время Австрия вместе с Англией обратились к императору Павлу с просьбой о вручении командования союзными войсками в Италии полководцу, никогда ещё не бывшему побеждённым, — Суворову.

Гениальный старик по смерти императрицы Екатерины почувствовал перемену в началах армейского военного быта, не сошёлся с нововведениями во взглядах на требования нового воинского устава и, подвергнутый опале, удалился в своё село Кончанское. Здесь, играя с деревенскими мальчишками в бабки, звоня на колокольне и читая в церкви Апостол, он в то же время внимательно следил за ходом войны, бывшей следствием Французской революции; составлял, для собственного удовольствия, планы кампаний против французов и, бодрый духом, хотя убе-

лённый сединами, томился в бездействии. Император вызвал его в Петербург и принял с особенным почётом и милостию. Во всей столице только и разговора было о Суворове. Имя его перелетало из уст в уста, повторялось и в богатых гостиных, и в убогих подвалах, и на всех перекрёстках; что ни день, то новый анекдот распространялся о Суворове; им восторгались, его лелеяли, на него возлагали все надежды, — это был герой дня, на которого с гордостью смотрела вся Россия. Одушевление в обществе сделалось необычайное: молодые силы бурлили, искали исхода и порывались к войне с врагами целой Европы. Хотя нам, собственно, мало было дела до Франции и нас она ни в чём не касалась непосредственно, но в тогдашнем русском обществе были ещё сильны и живучи некоторые принципы и основы, и потрясение их в Европе отзывалось негодованием в русских городах и усадьбах. Притом же общество это не утратило ещё живых воспоминаний о грозном блеске и громкой славе русского имени при Екатерине. Долг, честь, слава и доблесть не были для него пустыми звуками, и меркантильные ин-

тересы личного эгоизма не смели беззастенчиво возвышать свой мещански-либеральный голос там, где дело шло об общем государственном величии. В этом обществе, при всех его грубых недостатках, была ещё та особенная закваска, которая порой исполняла его бескорыстными порывами широкого великодушия и готовности на многие жертвы. Наши деды вообще были сильные люди.

На площадке пред дворцом выстроился развёрнутым фронтом гвардейский батальон со знаменем и несколько взводов иных частей войск, назначенных к заступлению караулов. В ожидании развода генералитет и офицерство, не участвующие в строю, толпились большими пёстрыми группами около главного подъезда. Война, французы и Суворов были почти исключительной темой всех разговоров, расспросов и сообщений между офицерством.

— Господину подполковнику имею честь кланяться! — подошёл к Черепову Поплюев.

— Ба! господин прапорщик!..

— Подпоручик-с, — поправил Прохор.

— Как? уже?! Простите на моей оплошности, не заметил сразу.

— Н-да-с, уже! Иные сверстники, гляди, в капитаны метнули, а мы своим ходом только до сего ранга подвинулись.

— Что же так медленно?

— Линия-с... Ну, и притом же, признаться сказать, по несправедливости однажды обойдён был представлением к чину. Незадача мне...

— Давно ли в Питере?

— Только четвёртого дня в двадцативосьмидневный отпуск прибыл, с высочайшего разрешения; да вот всё до сего утра со своими старыми измайловцами путался, а то бы непременно к вам заехал респект отдать.

К Черепову подошли и поздоровались ещё два-три знакомых измайловца.

— А наш-то Прошка каков? а? — кивнул один из них на Поплюева. — Как вы думаете, зачем в столицу изволил пожаловать?

— Пожуировать, конечно.

— Какое! Ищет перевода в действующую армию.

— Вот как! — слегка удивился Черепов.

— А почему ж бы нет? — вступился за себя Прохор. — Я уж давно в себе мечтание питал такое, а время теперь самое подходящее. Чин на мне скромнѣхонький, обиды мною ничьейшее быть не может, ну а война авось-либо и вывезет... Я уж думал было абшид брать вчистую, да мундира по офицерскому рангу покаещѣ не выслужил, а без мундира что за абшид!.. Это уж не токмо что пред своим братом дворянином, но и пред подлого класса людьми довольно в стыд мне будет.

— А куда ваш знаменитый майор девался? — спросил Черепов, невольно как-то вспомнив при этом поплюевскую «Усладушку» и инспекторский смотр отца архимандрита.

— Майор-то? — переспросил Прохор. — Да куда же ему деваться! Всѣ у меня на хлебах живѣт, при вверенной ему команде.

— А вы не распустили её?

— Помилуйте, зачем распускать! Аль хлеба у меня не хватает? Пусть живут себе с Богом!

— А знаешь, брат, что? — шутя обратился к Поплюеву один из его измайловских друзей. — Ты бы вместо себя-то майора на войну

послал.

— Зачем так?

— Да понадёжнее будет.

— То есть в каком разуме надлежит понимать сие?

— Да весьма просто. Во-первых, для чего тебе твой благородный лоб под пули подставлять, а во-вторых, ведь и струсил-то, пожалуй, француза...

— Кто?.. Я?!.. — подпрыгнул Поплюев.

— Ты, сударь.

— Я?.. Француза?.. Государь мой, вы меня плохо разумеете! Не токмо что француза, я, коли захочу, то и самого чёрта не струшу.

— Зачем чёрта! До чёрта далеко, — продолжал подтрунивать приятель, — а вот и сего почтенного старца, — кивнул он на стоявшего впереди пузатенького генералика, — стоит лишь оглянуться ему на тебя, так и того-то струсил.

— На каких резонах изволишь полагать обо мне такое? — всё более и более подфыркивал Прохор. — Я, коли захочу, то и доказать могу, что не струшу.

— Ну и докажи.

— И докажу!

— Поди и дёрни его за тупей, тогда поверю.

— За косицу-то?.. его?.. Вот ещё! Стоит труда! Нашёл доказательство!

— Да уж каково ни есть, а не дёрнешь.

— Ан дёрну!

— Ан врёшь!

— Я?! Не дразни, брат, лучше! Эй, не дразни!.. Меня стоит только раздражить, так я бедовый!

— Бедовый-то бедовый, а за косицу всё-таки не дёрнешь.

— Да не токмо что старца, а... понимаешь ли, кого? И то дёрну!

— Ну, брат Прошка, никак ты во хмелю!.. — засмеялись приятели. — Много ли чефрасу хватил сегодня? С утра уж благословился. Закуси-ка лучше гвоздичкой, а то дух будет.

— Гвоздичкой-то я закушу, а дёрнуть всё-таки дёрну, коли мне такое расположение блеснёт.

— Пари, что не дёрнешь! — продолжал потешавшийся приятель.

— Идёт! — расхорохорился Поплюев. — Идёт, коли на то пошло! На что угодно?

— Да что тебя много разорять-то! На десяток устеров у Юге, с аглицким пивом. Вот я на твой счёт и позавтракаю. Господа, будьте свидетелями — разнимите!

— Смирно-о-о! — раздался вдруг громкий голос штаб-офицера, командовавшего разводом.

Мгновенно всё смолкло; генералы вытянулись в одну шеренгу против фронта, за ними во вторую шеренгу стали все штаб — и обер-офицеры, а третья образовалась из юнкеров и унтер-офицеров, не участвовавших в строю.

Пять минут спустя раздалась новая команда: фронт взял «на краул», барабаны грянули встречу, эспонтоны и знамя отдали салют, и всё живое на площадке замерло в напряжённом ожидании.

С крыльца сходил император.

Начался вахтпарад. Штаб-офицер сначала заставил фронт проделать все ружейные приёмы по флигельману, потом скомандовал «*батальон, шаржируй*», то есть стреляй, — и фронт, не производя огня, проделал примерное зарядание, прицеливание и вновь зарядание. Затем была подана команда барабан-

щикам: *«Бей сбор»*. Те вышли и стали боком ко фронту — и вновь грянули барабаны, после чего на середину вышел плац-майор искомандовал: *«Слушай, на плечо! Подвысь! Гауптвахт направо, гренадеры налево!»*. Во время исполнения данного движения фронтовые офицеры, взяв эспонтоны вверх, в правую руку, и выйдя вперёд, стали по старшинству чинов пред середину парада, а за ними в две шеренги вытянулись унтер-офицеры. Здесь плац-адъютант разделил их всех по постам, и тогда по команде: *«Господа обер — и унтер-офицеры, на свои места! Марш!»* — все разом разошлись по рядам направо и налево. Затем: *«Повзводно направо заходи! Марш!»* — и весь парад под звуки флейт и барабанов шёл церемониалом мимо императора.

Государь остался вообще доволен парадом и по окончании развода, собрав вокруг себя тесную толпу офицеров, стал передавать начальствующим лицам парольный приказ и разные замечания. Черепову случайно довелось стоять как раз за спиною государя. Вдруг видит он, что рядом с его локтем протягивается вперёд чья-то рука — и хватить за чёрную

ленту косицы!

У Черепова захолонуло сердце и на мгновение в глазах помутилось. Он понял, что это такое и чем может грозить подобная проделка. Государь в то же мгновение обернулся, и вопросительно-строгий взгляд его в упор остановился прямо на Черепове.

«Погиб!» — как молния мелькнуло в уме последнего. Надо было выручать уже не Плюева, а самого себя, и как можно скорее.

— Простите, ваше величество! — почти-тихо и тихо проговорил он, стараясь казаться как можно спокойнее. — Тупей лежал не по форме... Чтобы молодые офицеры не заметили...

Государь молча продолжал смотреть ему прямо в лицо тем же сурово блестящим взглядом, и Черепову показалось вдруг, будто он тоже понимает, в чём дело, и даёт ему чувствовать это. С полминуты, по крайней мере, продолжал государь держать его под этим магнетически действующим взглядом, и какое-то смутное чувство говорило Черепову, что если он оробеет и смутится, то пропал безвозвратно и навеки. Но он чувствовал себя

правым, совесть его была спокойна.

— Благодарю, полковник! — громко сказал государь и отвернулся, продолжая прерванную речь с генералом[72].

Черепов оглянулся назад — за ним, ни жив ни мёртв и весь бледный как полотно, стоял и трясся, как в лихорадке, Прохор Поплюев.

После развода Черепов по пути заехал к Юге позавтракать. Несколько минут спустя появился там и Поплюев со своей компанией.

— Благодетель мой!.. Спаситель! — плаксиво, смущённо и вместе с тем радостно кинулся к нему Прошка. — Сколь виноват я пред вами!.. Нет слов и меры моей вине и моей благодарности!..

— Зато вы пари выиграли, — равнодушно улыбнулся Черепов.

— Что пари!.. В Сибири места мало мне за это... Я растерялся, но я думал... Клянусь вам, думал, что если на вас обрушится беда, то — была не была! — выступлю вперёд и брякну: так и так, мол, я это сделал!

— Напрасно не вышел — полковником был бы, — подтрунил измайловский приятель.

— Эх, братец ты мой! пустой ты, как вижу я, человек! Что полковник!.. Не полковник, а ум нужен, находчивость, смётка — вот что нужно! А Прошка — дурак, и ничего больше!.. Но нет, — продолжал Поплюев, с чувством обращаясь к Черепову, — вы великодушны... вы доказали то... Ну, и, значит, вы меня простите!.. А я вам за сие всю жизнь, как собака... понимаете ли, как собака буду вам предан! Издыхать у ног ваших стану!.. Выпьем!

— Так-то, брат Пронька! — хлопнул его по плечу приятель. — Хоть пари я и проиграл тебе, а всё же ты не в барышах! Уж чего бы, кажется, вернее награды, как нынче, ан глядишь — и тут тебя обошли-таки чином!

— Что делать, братец мой! — пожал плечами Поплюев. — Незадача мне!.. Выпьем!

В тот же день вечером к Черепову явился вестовой и объявил, что граф Харитонов-Трофимьев просит его немедленно же пожаловать к себе по высочайшему повелению.

Черепов оделся по форме и поехал.

Он застал графа одного в его обширном, слабо освещённом кабинете. Старик сумрач-

но ходил по комнате и казался чем-то озабоченным.

— Государь император, — сказал он Черепову, — поручил мне, как бывшему вашему шефу, передать вам, чтобы вы отправлялись в действующую армию к графу Суворову. Вот вам пакет: в оном найдёте вы маршрут, подорожную, прогоны и приказ о своём назначении. Вы отправляетесь в распоряжение фельдмаршала, и государь надеется, что на поле чести потщитесь вы найти более достойное применение избытку ваших сил и смелости.

— Как скоро должен я выехать? — почти-тельно спросил Черепов.

— Немедленно же. Чтобы к утру вас уже не было в городе.

— Воля его величества будет исполнена, — проговорил Черепов и уже хотел было откланяться, как граф с участием взял его за руку.

— Пожалуй, дружок, скажи на милость, — заговорил старик, меняя свой официальный тон на дружескую и душевную ноту, — что это за несчастная блажь пришла тебе в голову дёргать за тупей?

— Граф! Неужели вы думаете, что я мог дерзнуть на что-либо подобное? — открыто и с чувством достоинства поднял Черепов голову.

— Как так?! — изумился Харитонов. — Стало быть, дёрнул не ты?

— Не я, клянусь на том честью!

— Так кто же?

— Я знаю кто; но прошу вас, не невольте меня называть его имени. Он уже достаточно наказан своей совестью, и я ни в коем случае не назову его.

Старик задумчиво прошёлся по комнате.

— Молодой человек, — с чувством заговорил он, снова взяв за руку Черепова, — это с вашей стороны благородно!.. Не сомневаюсь, что вы говорите мне правду; и верь, друг мой, при случае я доведу о сём похвальном поступке до государя, а теперь прощай, Господь с тобой!.. Поезжай с Богом и постарайся возвратиться, как подобает храброму!

И с этими словами он поцеловал Черепова и отпустил его из кабинета.

Миновав смежную комнату и проходя через большую неосвещённую залу, Черепов

вдруг заметил, что мимо него мелькнуло женское платье.

— Это вы, графиня? — тихо спросил он голосом, упавшим вдруг от неожиданного волнения. Сердце его дрогнуло и забилось тревожно и сладко.

— Я... постойте на минуту, — шёпотом лепетала Лиза, — я знаю всё... давеча отец мне сказывал... Вы едете?

— Сею же ночью... Прощайте, быть может, не увидимся.

— Нет, нет, не говорите так... не надо! — порывисто и как-то жутко заговорила она, схватив его руку. — Не надо... не надо так говорить! Вы вернётесь... Вы должны вернуться... Я верю... я буду молиться... Постойте... Вот вам.

И, быстро сняв с себя золотой крестик на золотой цепочке, она поцеловала его, перекрестила им Черепова и надела на шею.

— Он сохранит вас... молитесь и... не забывайте меня... вашу... Лизу.

И с этим словом в голосе девушки прорвались сдержанные слёзы.

Схватив её дрожащую руку, Черепов с бла-

гоговейным чувством восторженно покрыв её своими влюблёнными поцелуями, и вдруг в душе его стало так ясно, тепло, светло и от-радно, и вся будущность озарилась чудным, радужным блеском.

Заветное, желанное слово, которое не выговаривалось так долго, наконец-то было ска-зано.

XXIII

В Италии

Черепов нагнал Суворова уже около Вены и тотчас представился фельдмаршалу, вручив ему высочайший приказ о своём назначении в его распоряжение.

— Крестика, чай, хочешь? Затем и поехал? — с некоторым неудовольствием спросил Суворов, прочтя бумагу.

— Совсем напротив тому, ваше сиятельство! — с чувством внутреннего достоинства возразил Черепов. — Я здесь совсем случайно и даже самому себе неожиданно.

И он, зная, что старик не любит терять много времени на лишние разговоры, вкрат-

це, но с толком рассказал ему причины своего внезапного отправления в действующую армию.

— Помилуй Бог! Какой молодец! — весело вскричал фельдмаршал. — Из-за тупея!.. Ха-ха!.. И товарища не выдал! Похвально!.. Ну, будем служить с Божьей помощью! При мне оставайся.

И он милостиво отпустил от себя Черепова.

Суворов прибыл в Вену 15 марта и был встречен приветливыми кликами всего населения. Император Франц II принял его ласково и с почётом. В Шенбрунне старик впервые после долгой разлуки увидел русские войска и радостно приветствовал их.

— Здравствуйте, чудо-богатыри, любезнейшие друзья мои! Опять я с вами! Здравствуйте!

И на восторженных лицах героев Кинбурна, Фокшан, Рымника, Измаила и Праги[73] показались слёзы...

Вкратце и на словах объяснив императору Францу все свои стратегические предположе-

ния, Суворов спешил уехать в Италию, где с нетерпением ожидал его русский вспомогательный корпус генерала Розенберга.

Но барон Тугут, первый министр австрийского кабинета, мелкая личность, взобравшаяся на высоту из ничтожества, всячески домогался, чтобы русский фельдмаршал, представил венскому гофкригсрату[74] точный и подробный план будущих военных действий и, не видя этого плана, под разными предложениями задерживал Суворова в Вене. Эти домогательства не повели, однако, ни к чему. Суворов очень хорошо понимал, что такое гофкригсрат, знал за ним «неискоренимую привычку битым быть», называл членов его *унтеркунфтами*, *бештимтзагерами*, *мерсенерами*[75] и вообще не располагал доверять своих планов Тугуту, секретарь которого служил некогда секретарём при Мирабо и поэтому самому казался Суворову подозрительным и продажным. Да и сам Тугут далеко не был симпатичной личностью. Эгоистически и ревниво заботясь только о своём собственном влиянии при дворе, он не допускал никого действовать самостоятельно, вмешивался во

всё и, вовсе не будучи военным человеком, связывал по рукам австрийских генералов, не смевших шагу ступить без категорического предписания из Вены. Подобная система, конечно, не могла нравиться Суворову, который хотел сражаться независимо от методических соображений гофкригсрата. Старик не согласился даже запросто побывать у Тугута для объяснений хотя бы словесных, на что не раз намекал ему граф Разумовский, русский посланник в Вене.

— Андрей Кириллович! — отвечал обыкновенно на эти намёки Суворов, — ведь я не дипломат, а солдат... русский... Куда мне с ним говорить? Да и зачем? Он моего дела не знает, а я его дела не ведаю!.. Знаете ли вы, Андрей Кириллович, первый псалом? «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых»!

Кончилось тем, что на все приставания Тугута Суворов вручил ему кипу белой бумаги и показал чистый лист с бланком императора Павла со словами: «Вот мои планы!»

Эта суворовская шутка окончательно взбесила Тугута и была зерном той затаённой неприязни австрийских властей к русскому

главнокомандующему, следствием которой были и бесплодность лавров, обильно пожалтых Суворовым в Италии и, ещё более, бесплодность невероятных подвигов, им же совершённых в Швейцарии.

2 (14) апреля он прибыл в Верону. Жители со свойственной им итальянской живостью и пылкостью сделали ему много шумных оваций: они выпрягли из кареты лошадей и повезли её сами до дворца, отведённого фельд-маршалу.

Здесь Суворов принял под своё начало австрийских и русских генералов. Представление последних происходило отдельно и как бы домашним образом, сопровождаясь разными оригинальностями. Пока Розенберг называл чин и фамилию представляемого, Суворов стоял навытяжку, с закрытыми веками, и при каждой неизвестной ему фамилии быстро открывал глаза, говоря с поклоном:

— Помилуй Бог!.. Не слышал! Не слышал!..
Познакомимся.

Дошла очередь до генерала Милорадовича.
— А! это Миша?! Михайло?! — вскричал Суворов.

— Я, ваше сиятельство! — поклонился статный двадцативосьмилетний красавец в генеральском мундире.

— Я знавал вас вот таким! — продолжал старик, показывая рукою на аршин от полу. — Я едал у вашего батюшки Андрея пироги. О! да какие были сладкие! Как теперь помню... Помню и вас, Михайло Андреевич! Вы хорошо тогда ездили верхом на палочке! О, да и как же вы тогда рубили деревянной саблей! Поцелуемся, Михайло Андреевич! Ты будешь герой! Ура!

Милорадович, растроганный до слёз, говорил, что постарается оправдать мнение о нём фельдмаршала.

Наконец Розенберг назвал генерал-майора князя Багратиона.

При этом имени Суворов встрепенулся, открыл глаза, вытянувшись, откинулся назад и спросил:

— Князь Пётр? Это ты, Пётр?.. Помнишь ли ты... под Очаковым! с турками! в Польше! — И, подвинувшись к Багратиону, он его обнял и стал целовать в глаза, в лоб, в губы, приговаривая:

— Господь Бог с тобою, князь Пётр!.. Помнишь ли?.. А?.. помнишь ли походы?

— Нельзя не помнить, ваше сиятельство, — отвечал Багратион со слезами на глазах, — не забыл и не забуду...

По окончании представления Суворов быстро повернулся, заходил широкими шагами, потом, вдруг остановясь, вытянулся и с закрытыми глазами начал произносить скороговоркою, не относясь ни к кому именно:

— Субординация! Экзерциция! военный шаг — аршин; в захождении — полтора. Голова хвоста не ожидает. Внезапно, как снег на голову! Пуля бьёт полчеловека; стреляй редко, да метко; штыком коли крепко. Трое наскочат: одного заколи, другого застрели, а третьему карачун! Пуля дура, а штык молодец! Пуля обмишкулится, а штык не обмишкулится! Береги пулю на три дня, а иногда и на целую кампанию. Мы пришли бить безбожных, ветреных, сумасбродных французишек; они воюют колоннами — и мы их будем бить колоннами!.. Жителей не обижай! Просящего пощады милуй!

Проговорив эту инструкцию, Суворов

умолк и, как бы утомясь, склонил голову, наморщил брови, углубился в себя... Но через несколько секунд вдруг встрепенулся, приподнялся на носки, живо повернулся к Розенбергу и сказал:

— Ваше высокопревосходительство! Пожалуйста мне два полчка пехоты и два полчка казачков.

И следствием этого «пожалуйста» было немедленное выступление авангарда под начальством князя Багратиона.

В Вероне издано было воззвание Суворова к итальянцам: «Из далёких стран севера пришли мы защищать веру, восстановить престолы, избавить вас от притеснителей. Наказание непокорным; свобода, мир и защита тем, кто не забудет долга своего — сражаться со злодеями!»

Русский корпус в Италии состоял из верных сподвижников Суворова в войнах турецкой и польской. Каждый солдат знал своего «батюшку». Утомлённые продолжительным и быстрым походом, войска авангарда немедленно начали ряд славных подвигов.

Первое дело русских с французами произо-

шло при Палаццоло. Когда Суворову были представлены пленные французы, взятые в этом сражении, он отпустил их немедленно во Францию со словами: «Идите домой и скажите землякам вашим, что Суворов здесь». 9 апреля Багратион и Край[76] взяли укреплённую Бресчио; 14 — Моро, разбитый при Лекко и Треццо, бежал за реку Адду, а Серрюрье, настигнутый при Вердерио, положил оружие. Возвращая шпагу пленному Серрюрье, Суворов произнёс стихи Ломоносова:

*Великодушный лев злодея низвергает,
Но хищный волк его лежащего терзает, —*

велел перевести эти стихи французскому генералу и вышел из комнаты.

«*Quel homme!*»[77] — воскликнул удивлённый Серрюрье.

Император Павел, получив известие об этих победах, велел дьякону возгласить в конце благодарственного молебна: «Высокоповелительному фельдмаршалу графу Суворову-Рымникскому многия лета» — и, посылая победителю портрет свой в перстне, осыпан-

ном брильянтами, писал в рескрипте: «Примите его в свидетели знаменитых дел ваших и носите на руке, поражающей врага благоденствия всемирного». Сын Суворова тогда же был сделан из камер-юнкеров генерал-адъютантом и отправлен к отцу, причём государь сказал ему: «Поезжай и учись у него; лучше примера тебе дать и в лучшие руки отдать не могу».

Стояли дни Страстной недели. На бивуаках разбивалась палатка походной церкви, и кто хотел, тот шёл молиться. Суворов вместе со всем штабом, питавшийся в эти дни исключительно постной пищей, несмотря ни на какую усталость, постоянно присутствовал при богослужении и всё время службы был в величайших хлопотах: пел на клиросе с дьячками и досадовал на них, когда несогласно с ним пели, читал Апостол «с великим напряжением голоса», беспрестанно перебегал с клироса на клирос, то в алтарь, то молился перед местными образами и клал положенное число земных поклонов, наблюдая в это время из-под руки, все ли усердно молятся. «Религии предан, но пустосвятов не люб-

лю», — говорил он и уподоблял их вазам, которые звенят, потому что внутри пусты. Когда были присланы первые австрийские и русские ордена для его подчинённых, он приказал священнику окропить эти знаки отличия святой водой в алтаре, а после молебна, при выносе их на блюде, каждый удостоенный монаршей милости становился на колени; тогда Суворов, с поцелуем и приличным приветствием, возлагал на него орден. И сам престарелый австрийский генерал Мелас, которого он называл «*папой Меласом*», должен был с коленопреклонением принять от него крест Марии-Терезии 2-й степени.

Изумив всю Италию и Европу быстрым переходом от Вероны до столицы Ломбардии, Суворов в страстную субботу остановился в виду Милана.

— *Demain j'aurai mille-ans!*[78] — сказал он каламбур при этом, и действительно, на следующий день, 16 (28) апреля, в самый светлый праздник, русские полки торжественно вступили в этот город. Народ с восторгом приветствовал своих избавителей, хотя и сильно-таки побаивался этих «северных варва-

ров». Суворов ехал позади своего секретаря Е. Фукса и генерал-лейтенанта Ферстера, приказав им вместо него раскланиваться с публикой. Когда же русские полки, пройдя церемониальным маршем, в пустых и тесных колоннах построились в каре на городской площади, Суворов посреди них, сняв шляпу, запел: «Христос воскресе из мёртвых».

— Смертию смерть поправ, И сущим во гробех живот даровав! — разом, как один человек, подхватило за ним 18 000 голосов русского войска. Всё это действительно «соделалось стадом одного пастыря», замечает очевидец[79]. Троекратно повторился гром этой торжественной священной песни, и эффект хора был поразителен. Миланцы дрожали в исступлённом восторге и своими приветственными криками покрыли окончание православного гимна.

— Христос воскресе, ребята! — когда всё смолкло, крикнул Суворов солдатам.

— Воистину воскресе, отец! — оттрянуло ему войско.

Это был могучий отклик на православное приветствие, какого никогда ещё не раздава-

лось в Милане.

Суворов слез с коня и стал христосоваться с окружающими. Его обступили массы офицеров и солдат. По замечанию очевидца, «не оставалось ни одного фурлейта, которого бы он не обнял и троекратно не поцеловал»[80]. Даже сам пленный Серрюрье не избегнул его лобызания, и Суворов заставил его отвечать по-русски: «*Воистину воскресе*». Но когда общий восторг достиг до полного энтузиазма, старик вдруг прослезился. Он вспомнил любимых своих фанагорийцев[81].

— С ними, чудо-богатырями, взял я Измаил, — говорил фельдмаршал, — с ними разбил при Рымнике визиря... Где они?.. Как я бы желал теперь с ними похристосоваться.

Черепов присутствовал при всей этой грандиозной сцене и живо ощущал в груди своей трепет какого-то священного восторга. Сердце его замирало от радости, и в то же время хотелось плакать, и он не замечал даже, как из глаз его одна за другой падают крупные слёзы, и так он был горд сознанием, что и он тоже душою и телом принадлежит к этой доброй, честной, православной семье,

которая с дальнего севера явилась в этот роскошный южный город и здесь, среди чуждой страны и природы, сознаёт себя всё той же извечной и неизменной силой, которая зовётся русским народом. Вспомнился также ему и образ Лизы...

Она далеко; но он чувствует её близко, совсем близко, как бы тоже здесь, рядом с собою, и шепчет ей своё приветствие: «Христос воскрес, моя милая!»

И под влиянием этого чувства достал он из-за пазухи крестик, надетый Лизой на его шею в минуту прощанья, и благоговейно приник к нему губами.

Он мысленно христосовался с нею.

Солдаты рассыпались по улицам и отведённым для них квартирам — и Милан как-то вдруг превратился совсем в русский старинный город. Солдатики наши на улицах, в домах, в лавках — крестятся, целуются, обнимают друг друга, меняются красными яйцами, которые они какими-то судьбами успели тотчас же раздобыть и накрапать в сандале, угощают друг друга пасхою в итальянских булочных, славят Христа; везде по отведённым

квартирам теплятся восковые свечи пред походными медными складенцами, которые русские люди сейчас же повесили на гвоздиках, рядом с католическими изображениями. Толпы празднующейся городской черни, не понимая ничего, с любопытством бегали повсюду за солдатами, рассматривали их, как нечто диковинное, дотрагивались до них и ощупывали руками мундиры, оружие, разевали рты, корчили рожи, жестикулировали, добродушно смеялись и горлопанили между собою. Наши сейчас же обгляделись и обошлись с ними по-свойски.

— Ну, брат-пардон, Христос воскрес! — говорили они иному итальянцу — Хоша ты и басурман, и глуп, а всё же человек, значит. Поцелуемся!

И какой-нибудь Беппо от души лобызался с каким-нибудь Мосеем Черешковым из Вологодской губернии, и Черешков понимал Беппо, и Беппо понимал Черешкова. Между ними сейчас же отличнейшим манером устанавливалось взаимное понимание и своеобразные разговоры, которыми и те, и другие были очень довольны.

— Вступление сюда, — говорил в этот день Суворов всем окружающим его, — вступление именно в день торжества торжеств и праздника праздников есть предзнаменование на врага церкви победы и одоления.

Отслушав нарочно для него отслуженную заутреню и обедню в домашней греко-российской церкви, он отправился на литургию и в городской католический собор. Жители были в восхищении от его ласкового приёма и обращения. Итальянские поэты, импровизаторы и композиторы слагали в честь его блистательные оды, писали торжественные кантаты, марши и гимны. Когда же вечером посетил он городской театр, то был принят с иступлением дикого восторга.

— Помилуй Бог! — вскричал при этом старик, — боюсь, чтоб не затуманил меня фимиама! Теперь пора рабочая!

В этот же вечер занялся он планом дальнейшей кампании.

— Когда вы успели всё это обдумать! — воскликнул изумлённый маркиз Шателер, когда Суворов открыл ему свои предначертания.

— В деревне, — отвечал фельдмаршал, — здесь было бы поздно обдумывать: здесь мы уже на сцене.

— И вас, — сказал Шателер, — и вас называют генералом без диспозиции.

Черепов, в качестве русского полковника, принадлежащего к свите фельдмаршала, пользовался большим почётом со стороны городской знати и зажиточной буржуазии. В первый же вечер в фойе и партере театра перезнакомился он почти со всеми представителями местной аристократии и золотой молодёжи. Двери лучших домов были ему раскрыты с полным радушием. Но увы! — в этих богатых салонах нашёл он невежество, которое казалось ему невероятным. О России, которую здесь знали только по слухам, ему приходилось выслушивать нелепейшие вопросы; относительно Германии здесь были убеждены, что вся она вмещается только в одной Австрии; о Швеции, Норвегии, Дании почти и не слыхивали. В высшем миланском обществе Черепов не встретил ни одного человека, который бы побывал где-нибудь за границей. «К чему нам, — говорили они, — выезжать из

своего сада Европы!» Многие из первых вельмож и знатнейших дам просили его сказать им откровенно, под величайшим секретом: правда ли, что *gli sarussini russi*, т. е. казаки — русские капуцины (так их чествовали за их бороды) — зажаривают и едят детей? На следующий день, когда довелось ему быть с визитом у Милорадовича и он стал рассказывать про эти вопросы, в комнату врывается вдруг какой-то аббат и в исступлении бешенства ревет с отчаянным видом:

— Генерал! Если в вас есть Бог, то спасайте! Но спасайте скорее!

Все стремглав побежали за ним вниз.

— *Escolo!* — кричит итальянец. — Вот он! Спасайте!

— Что такое?! В чём дело?! — Все в смятении, в испуге смотрят, ищут глазами, и что же?.. Казак-ординарец, сидя на ступеньке каменного крыльца, как нежная нянька, держит на руках младенца и смотрит на него умильно, со слезами.

— Ты что тут делаешь? — строго спросил его Милорадович.

— Извините, ваше превосходительство! —

говорил тот, поспешно поднявшись с места, — это дитё так смахивает на мово Федьку-пострела... на Дону... что я расцеловал его, да вот... виноват... и расплакался малость.

Милорадович не мог скрыть своего гнева на итальянского патера и выругал его достойным образом.

Австрийские генералы просили Суворова дать войскам в Милане более продолжительный отдых, но он отвечал им одним коротким: «Вперёд!» — и вот 26 апреля пред ним спускает свой флаг Пескьера, этот ключ Пьемонта, а через два дня после неё то же следует с крепостями Пиччигетоне и Тортоною. В самый день сдачи Пескьеры прибыл в главную квартиру Суворова великий князь Константин Павлович в сопровождении генерала-от-кавалерии Дерфельдена. Моро, атакованный 1 и 2 мая, опять вынужден был отступить к Асти и Кони. 12 мая союзники овладели Феррарою, 13-го — миланскою цитаделью, 14-го — феррарскою, а 27 мая Суворов вступил в Турин — столицу Пьемонта и обложил тамошнюю цитадель. Рассматривая на карте движения Моро, он сказал с удовольствием:

«Моро понимает меня, старика, а я радуюсь, что имею дело с умным полководцем. Но не тот умён, о коем все говорят, что он умён, а тот, кого другие дураком считают».

И здесь он оправдал слова свои, ибо поняв-ши хитрые манёвры французского полководца, сумел *заставить его думать*, будто даётся в обман, и перехитрил его гениальнейшим образом. Имея в виду не допустить Макдональда, двигавшегося от Неаполя, до соединения с Моро и разбить его отдельно, Суворов начал такие странные движения войск, что они решительно спутали все расчёты Моро и Макдональда. Между тем император Павел, узнав, что в один месяц времени вся Верхняя Италия уже очищена и остатки разбитой армии Моро отброшены в Ривьеру Генуэзскую, писал Суворову:

«В первый раз уведомили вы нас об одной победе, в другой о трёх, а теперь прислали реестр взятым городам и крепостям. Победа предшествует вам повсеместно, и слава сооружает из самой Италии памятник вечный подвигам вашим».

Обеспеченный уже со стороны Моро, т. е. с

фронта, Суворов смело обратился на нового противника, свежие силы которого угрожали союзникам с тыла. Этот новый противник был Макдональд, уже спустившийся с Апеннин и начинавший дебушировать в долину реки По.

Суворов, не любивший ожидать нападения, оставил один австрийский корпус наблюдать за Моро, а сам устремился с главными силами против Макдональда, которого и оттеснил первоначально до реки Требии.

Здесь, на том самом месте, где за две тысячи лет до того Аннибал сокрушил римлян, повторилась великая битва Требийская. *Папа Мелас*, пред началом сражения читая краткую и ясную диспозицию, остался очень изумлён, что в ней ничего не было предписано на случай отступления, и прислал адъютанта спросить, куда надлежит отступить?

— Куда? — спросил Суворов. — За Требию, в Пьяченцу.

Это значило, что отступления нет, а надо гнать неприятеля и двигаться вперёд или умирать. Других исходов не признавал и не понимал Суворов. В этом сражении, между

прочим, великий князь Константин Павлович вёл в атаку кавалерийский полк, а Багратион, несмотря на отчаянное сопротивление, решил дело штыками, подтвердив ещё раз на кровавом опыте превосходство русской «штыковой работы» пред изобретателями этого страшного оружия. Начавшись в десять часов утра, сражение окончилось только в десять часов вечера, завершившись полным отступлением французов за Требию. Наутро началась новая битва. Макдональд дрался с Суворовым три дня подряд (7, 8 и 9 июня) и наконец, потерпев окончательное поражение, бросился в беспорядочном бегстве обратно за Апеннины, чтобы хотя бы берегом моря успеть как-нибудь соединиться с Моро, начинавшим в отсутствие русских одерживать некоторые успехи над австрийцами. Эти успехи, однако же, прекратились с появлением Суворова, который снова заставил Моро уйти в горы. Союзники перешли Требию и овладели Пьяченцею, где было взято 7000 человек, четыре генерала, столько же полковников и 350 офицеров. Жара всё это время стояла нестерпимая, убийственная до такой степени,

что, разбирая тела на поле сражения, находили умерших без всякой видимой причины: очевидно, что они были поражены солнечным ударом или же задохались, падая от бессилия и будучи завалены мёртвыми и ранеными. Суворов поспевал всюду и носился по полю битвы на своём поджаром горбоносом дончаке в одной полотняной сорочке и подштанниках, обутый в ботфорты и покрытый лёгким колпаком вместо шляпы или каски. Закусывал он в это время только солдатским сухариком да сухим донским балычком, который, составляя его любимую закуску после водки, во всех походах имелся у него в запасе. Потери Макдональда были громадны: за время трёхдневной битвы он лишился девяти генералов ранеными, 6000 человек убитыми, свыше 12 000 пленными, в том числе 510 офицеров, да кроме того у французов отнято было семь знамён и шесть орудий. Но и союзникам далась победа недёшево: у них насчитано до 1000 убитых и около 4000 раненых, между которыми был Багратион и ещё два генерала.

Известие о Требийской битве шумно полетело по всей Европе: в Вену, в Петербург, в

Лондон... Император Павел прислал Суворову свой портрет, осыпанный брильянтами. «Портрет мой на груди вашей, — писал государь старику, — да изъявит всем и каждому признательность государя к великим делам своего подданного, ими же прославляется царствование наше».

Вслед за Требийской битвой, к крайнему негодованию Суворова, последовало более чем месячное бездействие австрийцев. Это был подвох мстительного Тугута, приковавшего всё внимание венского двора к продолжавшейся осаде Мантуи, стойкость которой служила для бездарного гофкригсрата уважительным предлогом противодействовать дальнейшему развитию наступательной системы русского Суворова. Фельдмаршал жаловался императору Павлу на робость гофкригсрата, на зависть к себе, как чужестранцу, на интриги частных двуличных начальников и безвластие своё в производстве операций прежде доклада о них в Вене. Но наконец сдалась и Мантуя, а за нею пала Александрия. Суворов вздохнул свободнее: он почувствовал теперь возможность оставить ненавистный ему «де-

фенсив» и, перейдя в наступление, проникнуть в Ривьеру Генуэзскую.

Но это предполагаемое наступление не состоялось по той причине, что его предупредил новый главнокомандующий республиканских войск в Италии, молодой генерал Жуберт, которого сам Бонапарт называл «наследником своей славы». Усилив армию Моромногими подкреплениями, Жуберт снова перешёл с нею Апеннины и занял сильную позицию при городе Нови.

— Юный Жуберт пришёл учиться; дадим ему урок! — сказал тогда Суворов и, пылкий не по летам, стремительно атаковал его позицию 4 августа. Битва была отчаянная и стоила жизни самому Жуберту. Трудность овладения новийскими высотами, нестерпимая жара, грозная артиллерия и стойкое мужество неприятеля делали тщетными все усилия русских. До трёх часов дня высоты три раза переходили из рук в руки. Русские начальники, кроме самого Суворова, не знали, куда девался Мелас с его отрядом, и удивлялись, что это старик длит сражение и остаётся спокоен, видя его безуспешность. План фельдмаршала и

верность его взгляда поняли только тогда, когда он вдруг велел учинить усиленное нападение «на центр». Тогда-то начался самый страшный разгар битвы. Багратион был отбит. Суворов сам бросился в ряды солдат. При нём находился великий князь Константин.

— Друзья! Богатыри! Дети! С нами Бог! Ура! — восклицал старик — и вот «в слепоте иступлённой храбрости, под градом смертоносных орудий, не думая о превосходстве неприятельской позиции, презирая неминуемую смерть, бросились русские солдаты. Сугубо восстали на них смерть и бедствие; но, ободряемых примером вождей, их уже невозможно было удержать»[82]. В это время вдруг загремела в тылу неприятеля неожиданная канонада: это Мелас, удачно сделавший обход, громил теперь французов. Нападение на центр было усилено ещё больше. Противник, видя невозможность держаться долее, решил бросить на жертву часть своих войск, чтобы спасти остальные, и спешно начал отступление в горные ущелья, укрываемый мраком наступившей ночи. Французы потеряли убитыми и ранеными более десяти тысяч; рус-

ские и австрийцы восемь тысяч. До пяти тысяч пленных и 36 пушек достались победителям. Когда австрийцы заспорили было о числе этих последних трофеев, причитавшихся на их долю, и требовали себе половину, Суворов порешил вопрос коротко и просто:

— Отдать им всё! — приказал он, — пускай их! Где им взять! Мы ещё возьмём!

И пушки были отданы беспрекословно.

Подвиги Суворова достойно оценивались и монархом России, и освобождённой Италией, и изумлённою Европой, возбуждая в то же время ужас правителей Франции. За освобождение в четыре месяца всей Италии «от безбожных завоевателей» император Павел возвёл Суворова в княжеское Российской империи достоинство с титулом Итальянского, «да сохранится в веках память дел Суворова», и повелел, «в благодарность подвигов этих, гвардии и всем российским войскам, даже и в присутствии государя, отдавать ему все воинские почести, подобно отдаваемым особе императорского величества». «Не знаю, кому приятнее, — писал старику Павел, — вам ли побеждать или мне награждать вас, хотя мы

оба исполняем своё дело. Я как государь, вы как полководец; но я не знаю, что вам давать: вы поставили себя свыше всяких награждений, а потому определили мы вам почесть военную... Дстойному дстойное!» — прибавлял государь в заключение своего рескрипта.

В Англии давно уже на всех праздниках провозглашали тосты за здоровье избавителя Италии, сочиняли ему оды и гимны, выбили в честь его медаль... Но особенное удовольствие доставила императору Павлу награда, пожалованная Суворову королём Сардинским, который возвёл его в сан главнокомандующего фельдмаршала сардинских войск и в гранды Сардинии, с титулом и степенью кузенов королевских (*cousin du roi*) и прислал ему ордена Аннонсиады, Маврикия и Лазаря.

— «Радуюсь, что вы делаетесь мне роднёю, — писал после этого император Павел Суворову, — ибо все владетельные особы между собою роднёю почитаются». — «Славе легко породниться с царями!» — восклицали поэты. «Я разделяю с другими благодеяния ваши, — писал фельдмаршалу король Неаполитанский, — вы открыли мне дорогу в царство

моё, вы утвердите меня на моём царстве».

А между тем, среди всех этих побед и оваций, завистливый и мелочно мстительный Тугут готовил исподтишка Суворову новые козни и ковы.

XXIV

Перед Альпами

Десять больших выигранных сражений, двадцать пять взятых крепостей, восемьдесят тысяч пленных французов, около трёх тысяч французских орудий, двести тысяч ружей и полное очищение от неприятеля всего Пьемонта и Ломбардии — вот что было трофеями и результатом суворовских действий в Италии. В четыре месяца сделано было то, над чем почти четыре года трудился Наполеон Бонапарт. И всё это свершилось при самых невыгодных обстоятельствах, в каких только мог находиться главнокомандующий союзных войск, окружённый тайными шпионами Тугута и явными недоброжелателями — друзьями и холопами того же австрийского премьера. Мы уже говорили, насколько предпри-

сания гофкригсрата связывали Суворова и мешали его военным планам. Беспреданно подтверждали ему из Вены, чтобы он действовал как можно осторожнее, и негодовали, когда он насмешливо доносил, что получил в Милане приказание идти за Адду, в Турине — позволение *действовать на Милан*. Суворов не без основания подозревал во всех действиях наших союзников своекорыстную подкладку. Когда же победы его освободили Италию, своекорыстие это обнаружилось вполне. Добрые австрийцы русскими руками загребали жар в свою пользу. По взятии Турина Суворов в особой прокламации, согласно воле императора Павла, призвал народы Италии к возвращению под власть законных их государей, что как нельзя более совпадало с желаниями самих итальянцев. Но венский двор, вопреки этой прокламации, поторопился сейчас же учредить повсюду свои австрийские управления, доходы и подати велел собирать на Австрию; строго запретил народные восстания, организованные для освобождения страны из-под ига французов; муниципальные стражи были обезоружены и заменены австрий-

цами; чиновники, присланные от сардинского короля, не допущены к отправлению должностей, — и это в то самое время, когда император Павел, действуя честно и по правоте сердца, велел Суворову звать в Турин законного государя и передать ему Пьемонт!..

Горько жаловался Суворов на все оскорбительные и бедственные распоряжения гофкригсрата и австрийских канцелярий, постоянно открывая в то же время всё новые и новые козни Тугута. «Я стою между двумя батареями — военной и дипломатической; первой не боюсь, но не знаю, устою ли против другой, — писал он с досадою. — Или дайте мне полную власть и никто не мешай, или я прошу отзыва мне... Ради Бога, отнимите у них перья, бумагу и крамолу!.. Запретите глупую переписку демосфеновскую: она развращает подчинённых... Не они ли потеряли Нидерланды, Швейцарию, Рейн и преклоняли колени пред Бонапартом? Я начал поправлять — и глупую систему меня вяжут!.. Деликатность здесь неуместна. Где оскорбляется слава русского оружия, там потребны твёрдость духа и настоятельность».

Видя неподатливость Суворова, дипломаты и стратеги австрийского двора решились нанести ему окончательный удар. Победа при Нови поселила в них ложную уверенность, будто в Италии уже нечего более опасаться, да и, кроме того, присутствие русских всё-таки мешало им прибрать Италию как следует к своим рукам и задушить её втихомолку. Готовясь к завоеванию Генуи, с тем чтобы следующей весной вторгнуться во Францию и кончить войну в завоёванном Париже, Суворов вдруг получает из Вены неожиданный приказ — сдать команду над австрийской армией Меласу и идти с русскими войсками в Швейцарию. Венские политики целым рядом происков и хитрых убеждений успели согласить на это распоряжение и императора Павла. «Успехи французов против цесарцев начнутся с отбытием русских в Швейцарию», — утешал он фельдмаршала в ответ на его жалобу. После этого Суворову, конечно, не осталось ничего, как только покориться необходимости и выступить тем скорее, что венский двор требовал выступления безотлагательно.

Новый план военных действий, изобретён-

ный Тугутом, заключался в том, что союзные войска займут операционную линию между Немецким и Средиземным морями, а русские сосредоточатся исключительно в Швейцарии, откуда австрийский эрцгерцог Карл, не дожидаясь даже прибытия Суворова, немедленно выступит к Среднему Рейну, между тем как герцог Йоркский с англичанами двинется туда же из Голландии. Таким образом, два слабосильных русских корпуса, Римского-Корсакова в Швейцарии и Германа в Голландии, одинаково предавались австрийцами на верную жертву: Корсаков — Массены, а Герман — Брюна. Достаточно сказать, что с уходом эрцгерцога Карла 24 тысячи Корсакова очутились против 84 тысяч французов, занимавших Швейцарию.

Это хитросплетение австрийского министерства составляло венец козней Тугута; можно было рассчитывать наверное, что Герман с Корсаковым будут просто задавлены массами французов. Суворов же погибнет в альпийских ледниках и пропастях, в борьбе с непреодолимой природой, и тогда, с уничтожением русских, никто и ничто уже не поме-

шает Австрии проглотить Пьемонт и Ломбардию.

Делать было нечего.

— Иду! — воскликнул Суворов, прочтя настойчивое предписание, — иду! но горе тем, кто посылает меня! Горе Австрии!.. Я бил да не добил французов, и злоумышленники раскаются, но поздно!

Фельдмаршал знал все предстоявшие ему трудности, знал, что его армия встретит на пути своём такие места, где два человека едва могут пройти рядом, где и думать нельзя ни о повозках, ни об артиллерии, где нечего рассчитывать на какие-нибудь средства продовольствия, где, наконец, придётся штыками пролагать себе дорогу сквозь узкие горные теснины, уже заграждённые французскими отрядами; знал он также и то, что Массена не станет дожидаться его прибытия, а, пользуясь уходом эрцгерцога Карла, поспешит разбить Корсакова, что и случилось на самом деле.

Все распоряжения к походу были сделаны с обычной быстротой. Обозы и артиллерия должны были направиться кружным путём, водой, а при армии оставлено только два-

дцать пять горных орудий, которыми навьючили мулов. Австрийское полевое интендантство успокоило Суворова, что ему нечего заботиться о перевязочных средствах, так как для него уже заготовлено в Таверне до полутора тысяч вьючных мулов.

Усиленными маршами пришли русские войска 4 (16) сентября в Таверну. Перед ними высились снежные вершины Альп. Но каковы же были удивление и досада Суворова, когда ни в Таверне, ни в окрестностях не оказалось ни одного мула! Этот новый подвох австрийской политики решительно ставил в тупик русского фельдмаршала, пред самыми глазами которого возвышался хребет Монте-Ченаре, не проходимый ни для каких провиантских повозок и доступный только вьюкам. Суворов видел, что даже при его *суворовском* расчёте на семидневный поход от Таверны до Шпица не было никакой возможности двинуться без мулов. Теперь уже ему самому приходилось остановиться и ждать пять суток, т. е. медлить, разрушая тем свою собственную диспозицию, от своевременного выполнения которой зависело, быть может,

спасение Римского-Корсакова. Но на этой-то остановке, собственно, и строились расчёты наших добрых союзников. Этого-то только им и нужно было.

Суворов горько жаловался в письме императору Павлу на все эти далеко не двусмысленные штуки, но с солдатами поневоле высказался иначе.

— Вот там, — говорил он им, указывая на подымавшиеся с севера утёсы, — там безбожники французы... Их мы будем бить по-русски... Горы велики, есть пропасти, есть водотёки, а мы их перейдём — перелетим! Мы русские! Бог нами водит. Лезши на горы, одни стрелки стреляй по головам врага, — стреляй редко, да метко, а прочие шибко лезь в россыпь. Взлезай, бей, коли, гони, не давай отдыху. Просящим пощада: грех напрасно убивать. Помилуй Бог! Мы русские — Богу молимся. Он нам помощник; царю служим, он на нас и надеется, и нас любит... Чудо-богатыри! Чада Павловы! Кого из нас убьют — царство небесное!.. Церковь Бога молит. Останемся живы — нам честь, слава, слава, слава!

Впрочем, солдаты очень хорошо понима-

ли, чего недоговаривает и даже вовсе не высказывает «отец». Имя Тугута в войсках наших произносилось с проклятием, как чума, и было известно не только офицерам, но и каждому рядовому.

Маленький городишко, пока в нём поневоле оставалась главная квартира русской армии, кипел жизнью и многолюдством. По главной улице беспрестанно тянулись передвигавшиеся части войск, скакали в разные стороны посыльные казаки, кучки обывателей стояли там и сям в своих характерных костюмах и с обычной жестикуляцией оживлённо разговаривали между собой либо с военными; пёстрые юбки кокетливо мелькали в улицах, хорошенькие личики любопытно выглядывали из окошек, из-за калиток, из зелени виноградников... Множество разного офицерства появлялось с бивуаков потолкаться по городу, закупить чего-нибудь в лавках, пообедать в ресторации, поразузнать новости и слухи из главной квартиры, которая, как и всегда в подобных случаях, становилась центром всех интересов и стремлений. Почти все дома заняты были постоем, но для гостей

с бивуаков жители охотно уступали на несколько часов помещение в своих квартирах. Все обыватели превратились на это время в торговцев — кто продавал лепёшки, кто вино, виноград, сыр, фрукты... В двух-трёх трактирах была такая теснота от офицеров, что новые посетители с трудом протискивались в комнату. Повсюду стоял шум и гомон, и было во всём этом нечто таборное, оживлённо-страстное, жгучее и беззаветно весёлое. Здесь раздаются нежные звуки мандолины, там свинью волокут за ноги, и визжит она благим матом; с ближайшего бивуака звуки кавалерийской трубы несутся, в другом конце барабан грохочет «сбор на кашницу»: тут взрывы хохота, там русская ругань или немецкая брань, итальянская песня под аккомпанемент гитары и разухабистая всероссийская «барынька» с «камаринским». В трактирах играли в банк, в фараон и в кости. Кучи золота и серебра мгновенно переходили из рук в руки, и в этой битве на зелёном поле преимущественно отличались австрийские чиновники полевого интендантства. Эти господа жили и одевались роскошно, пили шам-

панское, разъезжали в комфортабельных экипажах, возили за собой любовниц, проигрывали и выигрывали десятки тысяч...

Русские офицеры насчёт шампанского и вообще вина тоже в грязь лицом не ударяли: последняя копейка шла ребром, а вследствие игры между ними и австрийцами нередко происходили ссоры. Вообще наши на «господ австрийцев» смотрели теперь не только косо, но даже враждебно; союзники, конечно, платили нам тем же, однако не мы первые подали к тому повод.

Зайдя как-то раз закусить в один из трактиров, Черепов столкнулся там с Поплюевым и ещё кое с кем из знакомых офицеров: сели за общий стол, заболтались за кружками вина, а потом придвинулись к тому концу, где австрийский шикарный офицер метал банк, окружённый тесной толпой союзного офицерства, и стали следить за игрой. Черепов поставил карту и мало-помалу увлёкся. Вскоре кошелёк его оказался пуст. С досады на проигрыш и с понятным желанием отыграться он расстегнул из-под камзола свой кожаный черес[83], в котором хранились все его

деньги, и положил его на стол перед собой. Но вскоре и из череса исчез последний червонец.

Василий Иванович сел, подпёршись рукой, и задумался.

— Herr Oberst[84], ваша карта? — спросил щеголеватый австриец.

— У меня нет карты... Я не играю больше, — с внутренней досадой и потому отрывисто проговорил Черепов.

— Зачем так? — с тонкой усмешкой прищурился на него банкомёт.

— Затем, что я проиграл всё до копейки и теперь ничего больше не имею.

— Ба! — фатовато возразил австриец, — пока у человека есть мундир на плечах и, наконец, собственная жизнь, он не может сказать, что ничего не имеет.

Черепов внутренне дрогнул, почувствовав кровное оскорбление. Он хмуро повёл глазами на окружающих и в упор остановил свой твёрдый взгляд на блистательном офицере.

— Русские мундиром не торгуют и отнюдь не позволяют себе ставить его на карту, — сказал он веским и спокойным голосом, — а что касается до жизни, то извольте, я готов,

но с тем, что, ежели кто из нас проиграет, тот всадит себе пулю в лоб сейчас же, здесь, на месте.

Опешенный фанфарон смутился и стал было вежливо и мягко объяснять, что он хотел вовсе не то сказать и не так понят...

— Без объяснений! — перебил его Черепов, — чего там не так понят! Я отлично понял, что вы мне сделали вызов, и я его принял. Надеюсь, и все здесь поняли это точно так же?

— Конечно, вызов! — подтвердили несколько русских офицеров.

— Господа австрийцы, ваше мнение? — спросил кто-то.

Те отвечали молчаливым пожатием плеч и в замешательстве только переглядывались между собой.

— Камрад! — обратился меж тем Черепов к какому-то казачьему офицеру, — вы, кстати, при пистолете. Заряжен он у вас?

— Непременно, полковник.

— В таком разе одолжите-ка его сюда на минутку.

И Черепов, внимательно осмотрев кре-

мень и полку, положил врученный ему пистолет на стол между собой и австрийцем.

— Ну-с, милостивый государь, теперь я к вашим услугам. Не угодно ли!

Он вынул наудачу первую попавшуюся карту. Это была трефовая восьмёрка!

Австриец, принуждённо улыбаясь, начал метать.

В комнате водворилась вдруг мёртвая тишина. Все присутствующие тесно столпились вокруг стола и, затаив дыхание, напряжённо следили, как ложатся карты.

— Направо — налево... направо — налево...

— Дана! — сорвался вдруг общий крик, когда наконец выпала роковая восьмёрка.

Австриец побледнел. Черепов не мигнул даже глазом: лицо его оставалось холодно и спокойно.

Бросив карты, смущённый фанфарон опустил руки и молчал, как школьник, пойманный на месте.

Противник выжидательно смотрел на него вопросительным взглядом.

— Herr Oberst, ведь это шутка? без сомнения? да? — тревожно обступили его австрий-

цы, сделавшиеся вдруг очень милыми и любезными, — не правда ли? Вы не потребуете от молодого человека подобной жертвы!

— Я не шутил, господа, ставя мою жизнь на карту, — холодно и твёрдо возразил им Черепов, — и если бы я проиграл жизнь, то не принял бы её в подаяние от противника; а затем, государь мой, — обратился он к банкомёту, — так как пистолет до сих пор не разряжен вами, то оставляю ваш поступок на вашу совесть.

И, сухо раскланявшись с австрийцем, он удалился из трактира.

— Василий Иванович... друг... благодетель! — остановил его вдруг на пороге кинувшийся за ним вдогонку Поплюев. — Вот это так!.. Это по-русски, растак их душу!.. По-русски... хорошо, голубчик!.. хорошо! — растроганно сюсюкал он своим заплетающимся лепетом, горячо и крепко пожимая руку Черепова. — Вы всё проиграли? и «гельд ништу», значит?

— Ни копыа не осталось... Да ну их! Это всё равно! — нетерпеливо махнул рукой Черепов, сходя со ступеней.

— Минутку!.. минутку, сударь, — остано-
вил его Прохор. — У меня до вас преусердная
просьба... Не откажите.

— Что прикажете?

— Будьте столь добры, возьмите у меня
взаймы!

— Убирайтесь, Поплюев.

— Ах, ах, камрад!.. Это уж, извините, не по-
товарищески... Чего нам кичиться! Свои лю-
ди — сочтёмся! у меня тысяча червонцев —
возьмите пятьсот!.. Бога ради!.. Умоляю, не
обидьте меня!.. Если не возьмёте, то сим вы
доказуете только ваше ко мне презрение, а я
дворянин такой же, как и вы... И за что же?..

— Ну, ин быть по-вашему! Давайте! — со-
гласился Черепов.

— Друг!.. Товарищ!.. Вот... вот это так! —
восторженно кинулся к нему на шею Поплюе-
в. — Благодарствую вам, сударь!.. От всей мо-
ей признательной души благодарствую!.. А
тот шельмец, — драматически указал он же-
стом на трактир, подразумевая австрийца, —
пускай в презрении влачит злосчастные
дни!.. Ну, а теперь выпьем!

И растроганный Прошка был совершенно

счастлив. Стоустая молва в тот же день разнесла поступок Черепова по всему русскому стану, и Милорадович, этот «Баярд своего времени», с восторгом рассказал о нём Суворову.

— Поединщик?! — весело встретил Черепова фельдмаршал, когда тот по должности явился к нему на следующее утро. — За мундир жизнь на карту?! Молодец! Помилуй Бог... Павлово чадо!.. Спасибо, что за честь российского мундира постоял и не дался в обиду *нихтбештимтзагеру*[85]!.. А за то, что в запрещённую игру покусился, ступай под арест немедленно.

Таков был неожиданный финал суворовского приветствия. Но арест Черепова продолжался недолго: перед обедом дежурный адъютант принёс ему на гауптвахту его шпагу и от имени фельдмаршала передал, что «Светлейший ожидает его спартанской похлёбки и железной каши кушать».

XXV

Чёртов мост

После долгого недоразумения о том, как быть без мулов, великому князю Константину Павловичу блеснула счастливая мысль — употребить под вьюки казачьих лошадей. Искренно поблагодарив его высочество за добрый совет, Суворов тотчас же приказал спешить полторы тысячи казаков, а их коней навьючить провиантом. Устранив таким образом все помехи, русская армия двумя колоннами двинулась 10 (22) сентября к Сен-Готарду. Авангардами командовали Багратион и Милорадович.

Утро этого дня было пасмурно и ненастно. От Таверны до Сен-Готарда шли трое суток, в течение которых дождь не переставал лить ливнем, а резкий северный ветер с гор пронизывал насквозь. Войска располагались на bivуак под кровом сырых, холодных ночей, дрогли от стужи, мокли от слякоти и до рассвета поднимались в поход. Вся армия тянулась гусем по узеньким тропинкам, то взби-

раясь на высочайшие горы, то спускаясь в пропасти; часто и вовсе не видали тропинок, а так, махали себе наудалую; часто переходили вброд глубокие быстротёки, выше колен в воде, а два раза и по пояс её было. Одна крутизна, выше и длиннее прочих, умучила войска до усталости душевной. Переходы были нескончаемые: с ранней зари до глубоких сумерек всё шли и шли ускоренным шагом, и на узкой торной тропе многие из солдат, оскользнувшись, неслись кубарем вниз и разбивались об острые камни; много вьюков вместе с лошадьми погибло в пропастях. Один офицер, весело разговаривая и перекликаясь с товарищами, вдруг полетел стремглав вместе со своей лошадью с такой отвесной высоты, что дух занимало при одном взгляде вниз. Сверху не видать было даже и места, на которое он упал... Солдаты только перекрестились за упокой его души и, не останавливаясь, двигались далее. Каждый заботился лишь о собственном своём спасении, потому что помощь подать было невозможно. Кто поскользнулся или оступился — мог считать себя мёртвым. И на этих-то вершинах свистали

вихри и ревела осенняя буря, низвергая с вершин страшные камни и глыбы, падение которых раздавалось в горах громовыми раскатами; снежные лавины обрушивались на тропу и хоронили под собой случайно подвернувшихся солдат, тогда как следующие люди должны были перебираться через массу лавины, утопая в рыхлом снеге. Шумные водопады до того заглушали воздух, что в пяти шагах не слышать было иногда голоса человека, кричавшего изо всей мочи. Метель и вьюга порою совершенно заметали след предшествовавшего путника, и делалось это мгновенно, так что все переходили опасное место чисто наудалую. Много и погибло при этом... Иногда в один день русской армии случалось проходить все климаты и испытывать все возможные погоды. Нередко на высоте горы, покрытой вечным льдом и снегом, всё войско начинало костенеть от чрезмерной стужи и резкого ветра. Даже местные проводники трепетали в этом «холодном аду» и наконец разбежались. Горизонт был сжат громадными теснинами, небо было хмуро — ни единого солнечного луча! — и вся природа как будто

злобствовала. Каждый солдат, отягчённый своею ношей и утомлённый до изнеможения, должен был ещё взлезать на каждую гору, как на штурм крутого вала или отвесной стены. Многие из офицеров вовсе не имели ни вьюков, ни верховых лошадей: скатав шинель через плечо, они несли сами в узелке настоящее пропитание и всё своё походное имущество. «Чудесно и непостижимо, как не истощилось мужество и неутомимость войск! — восклицает свидетель и очевидец этих ужасов. — Один, изнемогший под тягостию всех сих изнурений, мог бы остановить ход всей колонны»[86]. Но тут был живой пример перед глазами — сам Суворов. Среди всех этих ужасов верхом на казачьей лошадёнке, едва влачившей ноги, фельдмаршал всё время ехал подле солдат, удивляя всех лёгкостью своей одежды: обыкновенный мундир, белый камзол, такие же панталоны с полуботфортами, круглая большая шляпа с опускными полями, взятая у какого-то капуцина, и ветхий, ничем не подбитый синий плащ, или «епанча», которая досталась ему ещё от отца и всей армии известна была под названием «*роди-*

тельской», — вот и всё, что имел на себе Суворов, забывший, казалось, свои семьдесят лет.

Обок с ним тащился на казачьей же кляче некто Антонио Гамма, старичок из Таверны, у которого в доме фельдмаршал основал свою главную квартиру во время невольной пятидневной остановки. Очарованный до восторга характером и образом русского полководца, Антонио дал ему обещание следовать за ним в горы и, бросив в Таверне жену с детьми и внуками, сдержал своё слово. Он служил отличным проводником для армии и облегчал суворовскому штабу сношения с местными жителями.

Русские войска одновременно приблизились к неприятельской позиции с двух противоположных сторон и ночь на 13 (25) сентября провели неподалёку от Сен-Готарда, вершину которого занимал отряд неприятеля.

Сен-Готард был почти недоступен со стороны Италии: единственная тропинка, едва-едва проходимая для вьюков, извилисто поднималась по крутому свесу горы и, взбегая до самой вершины Сен-Готарда, где на высоте 6800

футов стоял странноприимный дом капуцинских монахов, — несколько раз пересекала два горные потока, глубокие ложбины которых бороздили кручу. Но все эти препятствия не остановили, однако, формальной атаки русских. Три раза штурмовали они недоступные скалы и наконец взяли снежную вершину Сен-Готарда. Французы в поспешном отступлении спустились к деревне Госпиталь. Суворов сейчас же поехал в странноприимный монастырь, у ворот которого его встретили все капуцины и сам семидесятилетний приор, белый как лунь. Он отслужил, по просьбе фельдмаршала, благодарственный молебен, а затем пригласил его и всю свиту в братскую трапезу, где Суворов с большим аппетитом ел монашеский обед из картофеля и гороха и весело разговаривал с приором на разных языках. Образованный приор был в большом удивлении от разнообразных знаний и начитанности русского полководца. Отдохнув несколько времени на снегах Сен-Готарда, русские спустились к деревне Госпиталь, атаковали здесь неприятеля и уже ночью, в совершенной темноте, ворвались в са-

мую деревню, откуда французы бросились бежать. Видя невозможность преследовать их войсками, которые едва держались на ногах от чрезмерного истомления, Суворов отрядил в погоню один только полк генерала Белецкого (Бутырский), а прочие полки оставил на бивуаке в Госпитале, к чему, между прочим, побуждала его и неизвестность о результатах, добытых Розенбергом, который командовал второю колонною, направленною в обход, для овладения деревней Урзерном.

Результаты эти были удачны не менее суворовских. Подойдя к Урзерну, Розенберг начал стягивать и устраивать свои полки на уступе высокой горы, у подошвы которой расположились французы, готовые к бою. Пока весь корпус успел собраться на уступ, густой, непроницаемый туман уже повис над всею окрестностью, и медлить долее было нельзя. Розенберг отдал войскам приказание — как можно тише сойти с горы и разом ударить на французов. Но спуск был так ужасно крут, что солдаты невольно остановились перед ним в недоумении. Видя эту нерешительность, и колебание, Милорадович вышел вперёд и обра-

тился к солдатам:

— Коли вы так, то смотрите же, как возьмут в плен вашего генерала! — крикнул он решительным голосом и с этими словами вдруг покатился с уступа на спине.

Этот отчаянно лихой пример электрически подействовал на людей: вслед за Милорадовичем русские войска *скатились* — в буквальном смысле этого слова — в долину и, дав по неприятелю дружный залп, с криком «ура!» кинулись на него в штыки. Этот натиск, не подозреваемый противником, был столь решителен и быстр, что французы, будучи проникнуты, смяты и охвачены с обоих флангов, бросились бежать левым берегом Рейсы, оставя в руках победителя три орудия. За наступившею темнотою ночи их невозможно было преследовать по незнакомой и крайне опасной горной местности, и потому Розенберг немедленно занял Урзерн, расположась около него лагерем. В Урзерне было нами захвачено 370 000 боевых патронов и дневной запас провианта, в котором мы терпели существенную нужду.

Так кончился наш первый *боевой день* в

Швейцарии. Ночь на 14 сентября оба русских корпуса провели в расстоянии трёх вёрст один от другого, хотя и без прямого сообщения между собою. Генерал Лекурб, наш противник, побросав большую часть своих орудий в Рейсу, успел, однако, в эту же ночь перелезть чрез страшный хребет Бетцберг, высотой до 7000 футов, спуститься к деревне Гешенен, стать по ту сторону Чёртова моста и таким образом всё-таки загородить русским дальнейшую дорогу. Утром 14 сентября Суворов соединился с Розенбергом в Урзерне. В версте от этой деревни, на пути нашей армии, находилась так называемая Урнерская дыра (Urner Loch), т. е. низкое подземное отверстие в восемьдесят шагов длиною, шириною же не более как настолько, чтобы пройти одному человеку и вьючному мулу. Таково было оно в те времена. Самый проход пробит между громадными утёсами, отвесно восстающими из самого русла Рейсы. В трёхстах шагах за Урнерскою дырою, на том же пути, находится знаменитый мост, которому сами местные обыватели дали название «Чёртова» (Teufelsdrucke). Уже по самому названию

можно приблизительно судить, что это такое. Чёртов мост — искусственная арка, как будто нечеловеческими усилиями переброшенная с утёса над бездною Рейсы, на высоте 75 футов. Рейса в этом месте с громовым треском и с быстротою молнии, вздымая огромные тучи водяной пыли и брызг, бешено прыгает с высоты двухсот футов с уступа на уступ, с камня на камень и стремительно низвергается с рёвом и пеною под Чёртов мост в глубокие пропасти. В этих теснинах, казалось, сама природа как будто хотела испытать, действительно ли нет ничего невозможного для русских войск, — и что же! Быстро появился Суворов пред Урнерскою дырою. Но едва головная колонна вступила в самое подземелье, как была встречена ружейными и пушечными выстрелами, тотчас же доказавшими, что пробиться сквозь эту страшную дыру физически невозможно. Тогда Суворов отряжает в обход две колонны — одну по правому, другую по левому берегу Рейсы. Полковник Трубников с тремястами охотников должен был нечеловеческими усилиями взобраться с правой стороны на скалы, висевшие над самою «дырою», а

майор Тревогин, во главе двухсот егерей, тоже охотников, спустился с двухсотсаженной высоты в самую Рейсу и, по пояс в воде перебравшись с невероятными усилиями через бурный стремительный поток, начал карабкаться на горные кручи противоположного (левого) берега. За Тревогиным последовал полковник Свищев с целым батальоном. Кому довелось видеть воочию эти громады отвесных утёсов, тот и теперь с трудом верит, чтобы войска (и в особенности совсем непривычные в горной войне) могли взбираться на такие неприступные крутизны. Трубникову удалось ранее левой колонны взобраться на скалы над Урнерской дырой, и неожиданное появление его здесь, над головой противника, до того изумило и встревожило французов, что передовой их отряд, опасаясь, как бы его не отрезали, немедленно же покинул свою позицию перед выходом из подземелья, а войска, стоявшие позади Чёртова моста, второпях начали ломать каменную мостовую кладку. Таким образом, передовому их отряду уже не было отступления. Батальон Мансурова, пользуясь этой суматохой, прорвался

сквозь дыру и бросился в штыки на французов. Припёртые к краю пропасти, эти герои не сдавались. Они бросили своё орудие в Рейсу и вслед за ним большею частию погибли в её кипучих волнах; остальные же были переколоты на месте.

Несмотря на огонь наших стрелков, французы, стоявшие за мостом, успели разобрать значительную часть мостовой арки. Образовавшийся провал был так широк, что не давал уже возможности перепрыгнуть через него на левый берег, где рассыпалась густая цепь неприятельских стрелков: за каждым камнем, за каждой скалой, и вдоль самой дороги, и внизу у реки, и наверху по горам — везде торчали ружейные дула, отовсюду летели меткие пули...

Русские войска, остановленные провалом, тоже поспешили окаймить свой берег застрельщиками и под защитой их огня прыгали со скал, пробирались к самому руслу Рейсы, карабкались на утёсы, чтобы ловчее поражать неприятеля выстрелами. Живая перестрелка кипела с обеих сторон ущелья, все рёбра гор подёрнулись дымом. Между тем

охотники Тревогина и батальон Свищева уже достигли горных вершин противного берега и спускались оттуда в тыл неприятеля. Вслед за ними генерал-майор Каменский со своим Архангелогородским мушкетёрским полком, ещё близ Урзерна перейдя на левую сторону Рейсы, взобрался на страшный хребет Бетцберг и грозил правому флангу противника. Это наконец заставило французов подумать о своём спасении, и они начали отступать от моста.

Черепов, посланный осмотреть, в каком состоянии находится переправа и есть ли хоть малейшая возможность перейти на ту сторону прямой дорогой, стоял около самого моста и разговаривал с майором Мещерским. Чуть лишь заметили они, что французы на той стороне подаются назад, начиная несомненную ретираду, как бросились с ротою солдат к сараю, случившемуся поблизости, и вмиг выдернули из его стен несколько брёвен.

— Господа офицеры, давайте сюда свои шарфы! Все, сколько есть! больше! несите живее! — кричали они ближайшим товари-

щам, — передавайте дальше, другим, чтобы шарфы сюда!.. Торопитесь!..

И вот через несколько минут перед ними лежала куча офицерских шарфов. Узлами связав их один с другим, скрутили нечто вроде канатов и вплотную соединили несколькими из них три-четыре бревна, затем, закрепив импровизированным длинным канатом верхний конец этих брёвен, стоймя поднесли их к самому краю провала и, уперев нижним концом в землю, осторожно опустили на шарфяном канате другой конец на противоположную сторону моста. По этой-то зыбкой переправе первым перешёл на тот берег майор Мещерский; за ним следовал ординарец-казак, а далее Черепов. Казак посередине потерял равновесие, мгновенно оборвался и стремглав полетел в кипящую бездну. Удержать его не было возможности. За Череповым, помогая друг другу, перешли ещё несколько офицеров, бывших в голове колонны. Храбрый Мещерский едва ступил на противный берег, как тут же был смертельно ранен и только успел сказать товарищам: «Не забудьте меня в реляции», — как уже опроки-

нулся со скалы и расшибся в бездне.

В это время полковник Свищев и майор Тревогин спустились с гор и погнали отступавшего неприятеля, положив вдоль узкой дороги до 280 французов.

Однако для перехода через Чёртов мост главных сил армии бревенчатая перекладина, брошенная через провал, была далеко не достаточна; требовалось что-нибудь более прочное. Эта работа была тут же поручена австрийским пионерам, находившимся при нашей армии. Но немцы до того медленно приступали к поправке повреждённой части моста и так методически измеряли и рассчитывали каждый вершок, что генерал Ребиндер, потеряв всякое терпение, приказал вызвать в наших полках людей, знающих плотничье дело. Таковых явилось до сотни. Им вручили австрийские инструменты, и они в ту же минуту принялись за работу по-своему: натаскали брёвен, хворосту, досок — и в какой-нибудь час времени мост был отличнейшим образом исправлен. Немцы, изумлённые быстротою русской работы, только поглядывали на готовый мост да приговаривали:

— Ja!.. fertig! Das ist gut.[87]

— То-то гут! — отвечал им русский солдатик, распоряжавшийся работой. — Вы бы и до вечера гутели, а делу ходу бы не дали.

Ребиндер представил его Суворову, когда тот подошёл осмотреть только что оконченный мост.

— Русский на всё пригоден! — воскликнул фельдмаршал. — Помилуй Бог! на всё, на всё... и бить врага, и служить Богу и царю. У других этого нет, а у нас всё есть!

И он щедро наградил солдата деньгами.

Вся колонна немедленно же перешла Рейсу и следовала через деревню Гешенен к Вазену. На всём этом протяжении Рейса несётся ещё в виде бурного потока, а в некоторых местах низвергается водопадами. Дорога то и дело перекидывается с одного берега на другой. Несколько животрепещущих мостиков, испорченных неприятелем, чрезвычайно замедляли наступление русских, так что главные их силы уже поздней ночью достигли Вазена, сделав в этот день переход только в двенадцать вёрст. Но зато и переход же!..

XXVI

В царстве ужасов

Утром 15 (27) сентября Суворов выступил далее, на Альторф. Движение это происходило по столь же трудной дороге, представляющей одно непрерывное дефиле. В Альторфе, занятом нами также с бою, Суворов рассчитывал найти австрийскую флотилию, готовую перевезти его войска через Люцернское озеро в Швиц, но флотилии не оказалось: французы, отступившие из Альторфа к Люцерну, успели захватить все средства к переправе. Со Швицем же не было отсюда никаких сухопутных сообщений, кроме двух тропинок, поднимавшихся на ужасающую высь Росшток и ведущих через снежный хребет в долину Муттенскую, по которой открывается путь к Швицу. Но тропинки эти в позднее время года недоступны разве для одних лишь смелых альпийских охотников, привыкших с малолетства, в своих особенных, острым железом подкованных башмаках, карабкаться по громадным утёсам и пустынным ледникам. Только

тут, в Альторфе, увидел с ужасом Суворов, куда завели его австрийские колонновожатые — Вейротер, Рихтер и другие. Малочисленная русская армия была поставлена в безвыходное положение, и затаённая коварная цель Тугута казалась уже достигнутою. К довершению беспокойства Суворова не было ещё никаких известий о Корсакове, для соединения с которым принесено уже столько жертв и совершено столько подвигов. Между жителями носились, впрочем, какие-то смутные слухи, будто бы ещё накануне происходил упорный бой на Линте и союзники чуть ли не потерпели в нём поражение.

Что будет с отрядами Линкена и Готце, остававшимися пока ещё в Швейцарии — до прибытия Суворова! Что будет с Корсаковым, если сам Суворов не достигнет назначенного опорного пункта в Швице! Что будет с ним, если даже опоздает он туда к условленному сроку! Что будет, наконец, и с самой армией Суворова без тех запасов продовольствия, которые рассчитывал он найти в Швице!.. Уже в Альторфе армия эта терпела крайнюю нужду, несмотря на захваченные магазины, из коих

на долю каждого солдата досталось по три пригоршни муки. Весь провиант, какой люди несли на себе, почти вышел, а вьюки не могли поспевать за колонною: бесконечной лентой растянулись они по всему протяжению дороги от самой Таверны до Альторфа. Части неприятельских войск, которые при отступлении бросились из долины Рейсы в боковые ущелья, могли ежеминутно отрезать вьюки и окончательно предать русскую армию голодной смерти. Отступать было некуда: вся дорога, т. е. по большей части едва проходима тропинка, была загромождена вьюками, да и неприятель всё время преследовал бы и с тыла, и с фланга. Сам Лекурб, тоже отличавшийся необыкновенной решимостью, не допускал даже и мысли, что Суворов отважится вести своё войско далее — по тропинкам Росштока, оставив за собой 6000 неприятеля.

И однако ж русский полководец, не колеблясь ни минуты, избрал именно этот путь, и даже самую трудную из этих тропинок, потому что она прямее ведёт к деревне Муттен, а он решился — во что бы то ни стало — добраться до условленного сборного пункта в

Швице. Ни одной армии в мире не случилось ещё проходить по таким страшным стремнинам!

Не потеряв ни одного дня в Альторфе, Суворов на рассвете, 16 числа, двинул на Росшток свой авангард под командой князя Багратиона. Постепенно тропинка делалась всё круче и уже, а местами и вовсе исчезала на скалах. Войска должны были взбираться по одиночке, гуськом, то по голым камням, то по скользкой глине. В иных местах приходилось карабкаться как бы по ступеням, на которых не умещалась и подошва ноги; в других мелкие шиферные камешки осыпались от каждого шага; далее приходилось выше колена вязнуть в рыхлом снегу, которым одета вершина хребта. Тяжело было и пешим взбираться на такую гору: но чего же стоило провести лошадей и мулов, навьюченных орудиями, зарядами и патронами! Бедные животные едва передвигали ноги: нередко они, как и прежде, обрывались с узкой тропинки, летели стремглав с кручи и разбивались о камни, увлекая иногда и людей за собой. Здесь, ещё более чем прежде, каждый неверный шаг

стоил жизни. Часто тёмные облака, проносясь по скатам горы, охватывали колонну густым туманом, обдавали холодной влагой до того, что люди были измочены, как проливным дождём. Погруженные в сырую мглу, они продолжают лезть ощупью, не видя ничего ни сверху, ни снизу; выбившись из сил, на время приостановятся, отдохнут — и снова начинают карабкаться. У всех почти солдат и офицеров избилась и обтрепалась здесь и последняя обувь. Сухарные мешки уже совсем опустели, так что нечем было и подкрепить истощённые силы. Но несмотря на крайнее утомление, полубосые, голодные войска русские всё ещё не теряли духа. На всём этом переходе великий князь Константин Павлович шёл пешком с авангардом князя Багратиона. Было уже далеко за полдень, когда голова авангарда добралась до вершины хребта. Спуск с него был не менее труден, чем подъём: от шедших пред тем дождей грунт сделался до того вязким и скользким, что во многих местах приходилось сползать по крутым скатам, где, при малейшей неосторожности или неверно рассчитанном шаге, ожидала неми-

нуемая смерть в глубоких пропастях. Это поистине были картины из Дантова «Ада», и недаром сам Суворов в донесении своём назвал их «царством ужасов».

Одолев в течение двенадцати часов шестнадцать вёрст таких, на переход которых даже самые привычные охотники употребляют не менее восьми часов времени, Багратион к пяти часам вечера спустился с головой своего авангарда в Муттенскую долину, тотчас же атаковал французский пост пред деревнею Муттен, заставил положить оружие и занял деревню. Несмотря на свою малочисленность, остальные части авангарда до того растянулись по узкой дороге, что собрались у Муттена только поздною ночью, и как ни были они утомлены, однако ж простояли всю ночь на позиции, в полной готовности к бою.

В то время как голова авангарда уже давно достигла Муттена, хвост армии ещё и не трогался из Альторфа. Всё протяжение тропинки от того до этого пункта представляло непрерывную нить людей и вьюков. В таком положении войска встретили ночь. «Счастливы были те, — говорит историк[88], — кото-

рые успели перебраться через вершину горы и расположиться на первой встретившейся площадке. Правда, и там ночлег не слишком был покойный; ночь холодная; ни одного дерева на дрова, но, по крайней мере, войска тут отдохнули. А каково было тем, которых ночь застигла ещё на крутых скатах горы, на краях пропастей, где человеческая ступня не вполне уместалась!.. Много несчастных погибло на этом бедственном пути; одни изнемогали от холода и утомления, другие от голода; многие, прислонясь к выступу скалы на самом краю пропастей, при малейшем движении в забытьи или во сне обрывались и находили на дне их ужасную смерть. Страшный след армии обозначался множеством трупов людей, лошадей и мулов, разбросанных по всему протяжению пути. Зато переход русских чрез эти горы до сих пор ещё живёт в памяти местных жителей, как предание полубаснословное: показывая эту тропинку, едва заметную на скалах и снежных пустынях, швейцарец говорит с благоговейным удивлением: „Здесь проходил Суворов“. На картах Швейцарии тропинка эта обозначается про-

стою надписью: „Путь Суворова в 1799 году“».

Движение в Муттенскую долину продолжалось два дня безостановочно, и это на протяжении всего шестнадцати вёрст! Русский арьергард беспрестанно и геройски отбивал настойчивые атаки неприятеля. По прибытии Суворова в Муттен окрестные жители доставили ему страшные вести. Теперь уже не осталось сомнений, что Корсаков совершенно разбит при Цюрихе и с огромной потерей отступил к Шафгаузену; Готце разбит при Линце и сам пропал без вести; Елачич и Линкен тоже отступают; значительные силы неприятеля заняли Гларис, а сам Массена собирает армию свою к Швицу, чтобы запереть русским выход из Муттенской долины.

Дорого бы дал Суворов за верное доказательство, что слухи эти несправедливы, но — увы! — они не замедлили подтвердиться официальным донесением Линкена. В горестном безмолвии на несколько минут остановился Суворов.

— Готце! — воскликнул он наконец с горечью. — Готце!.. Да они уж привыкли — их всегда били; но Корсаков, Корсаков!..

Прочтя это донесение, фельдмаршал убедился, что во всей Швейцарии нет уже *ни одной* части союзных войск, на содействие которой можно было бы рассчитывать, и что его собственный корпус, заброшенный в Муттенскую долину, окружён со всех сторон превосходящим в числе неприятелем, который стережёт решительно все выходы. Что делать? Где искать спасения?! Добро бы ещё собственные войска были обеспечены всем необходимым, но они находились в отчаянно страшном положении: изнурённые невероятным походом, почти босые, без всякой тёплой одежды и уже несколько дней в крайней нужде по части продовольствия. Взяв из Белинцены запас провианта только на одну неделю, Суворов рассчитывал, что этого количества ему хватит до Швица, а там уже надеялся открыть новые сообщения и в изобилии получить продовольствие от Готце и Корсакова. Теперь все эти расчёты рушились. Из тех же семидневных запасов, которые везлись за его отрядом, много потеряно на пути, погибло в пропастях, потонуло в горных потоках, а сохранившиеся вьюки ещё тянулись чрез снего-

вой хребет. В Муттенской долине у солдат не оставалось уже ни одного сухаря. Счастливыми считали себя те, которым удавалось раздобыться несколькими картофелинами. Офицеры и генералы с радостью платили червонцами за каждый кусок хлеба или сыру. И однако же, несмотря на столь бедственное положение, русские войска не тронули ничего у жителей деревушки Муттен. Великий князь Константин Павлович приказал на собственные деньги скупить всё, что было у них съестного, и раздать солдатам. Эта щедрость великого князя облегчила хоть на один день ужасное положение войска, а жители, приученные республиканцами к насильственным поборам, были крайне удивлены великодушием князя.

Здесь у Суворова впервые сжалось сердце. Гибель его армии казалась неизбежной; очевидная опасность глядела отовсюду. Восемнадцать тысяч русских солдат должны были пропасть ни за грош — и эта мысль убивала фельдмаршала. Он только и был занят ею, не думая уже ни о самом себе, ни даже о принципах австрийской политики, которые тут-то

и выказали себя во всей наготe. И вот, в таком-то отчаянном положении, дорожа каждым часом, собирает он в тот же день, 18 сентября, военный совет, на который приглашает всех генералов и некоторых штаб-офицеров, за исключением австрийца Ауфенберга.

Первым явился к заседанию князь Багратион и застал Суворова в полном фельдмаршальском мундире, со всеми орденами. Старик, не замечая вошедшего Багратиона, продолжал ходить по комнате быстрыми шагами и отрывисто бормотал сам с собой. «Парады... разводы... большое к себе уважение... обернётся — шляпы долой!.. помилуй Господи!.. Да, и это нужно, да вовремя... а нужней-то... это: знать, как вести войну; знать местность; уметь расчесть; уметь не дать себя в обман; уметь бить!.. А битому быть — немудрено!.. Погубить столько тысяч!.. и каких!.. и в один день... Помилуй Господи!» Багратион из приличия тихонько удалился, оставя старика в том же глубоком раздумье.

Несколько времени спустя начали собираться приглашённые на совет; в том числе и Черепов. Пришёл и великий князь. Все вме-

сте вошли они к фельдмаршалу.

Суворов остановился, сделал поклон, зажмурил глаза, как бы собираясь с мыслями, потом, после минутного молчания, окинул всех своим быстрым, огненным взглядом и начал говорить торжественно, с одушевлением.

— Корсаков разбит и прогнан за Рейн! — говорил он. — Готце пропал без вести, и корпус его рассеян! Елачич и Линкен ушли! Весь план наш расстроен!

Тут в сжатых, но резких выражениях исчислил Суворов все происки и козни против него, все гнусные интриги венского кабинета, в доказательство коварной политики Тугута приводил старания его удалить русских из Италии и преждевременное выступление эрцгерцога Карла из Швейцарии, имевшее неизбежным последствием поражение Римского-Корсакова. Наконец, и бедственное положение собственной своей армии фельдмаршал приписывал вине всё тех же австрийцев. «Если бы не потеряны были пять дней в Таверне, — говорил он, — то случившиеся несчастья были бы предупреждены, и Массе-

не не удалось бы одержать побед, подготовленных для него коварной политикой нашего союзника». Чем долее говорил Суворов, тем больше приходил он в одушевление, тем сильнее выражалось взволнованное состояние души его. Поступки австрийского кабинета называл он прямо вероломством и предательством. Далее, сравнивая положение своё в Муттенской долине с положением Петра I на Пруте, он находил одно и другое следствием измены союзников, с той разницей, что «Петру Великому изменил мелкий человек, ничтожный владетель... грек!.. а государю императору Павлу Петровичу... изменил... кто же?! верный союзник России!.. Это не измена... Это — явное предательство, чистое... без глупости... разумное, рассчитанное!..»

Излив таким образом негодование своё на Австрию, фельдмаршал перешёл к очерку настоящего положения своей армии.

— Теперь мы среди гор, — говорил он, — окружены неприятелем, превосходящим в силах. Что предпринять нам? Идти назад — постыдно!.. Никогда ещё не отступал я!.. Идти вперёд к Швицу — невозможно: у Массены

свыше шестидесяти тысяч; у нас же нет и двадцати. К тому же мы без провианта, без патронов, без артиллерии. Помощи нам ждать не от кого... Мы на краю гибели!

Произнося эти тяжкие слова, Суворов едва мог сдерживать порыв своего негодования, горести и волнения. Он был убит, растерзан, скорбь его отзывалась во всех присутствовавших. У каждого сжималось сердце.

— Теперь, — прибавил Суворов, — одна надежда — на всемогущего Бога, другая — на высочайшее самоотвержение войск... Мы русские!.. С нами Бог!..

Словно искра электрическая пробежала при этих словах во всех слушавших. Заметив это действие, старик оживился.

— Спасите честь России и государя! Спасите сына нашего императора! — восторженно воскликнул он и с этими словами упал в слезах к ногам великого князя.

Никто не ожидал этой сцены; все были поражены. Константин Павлович, рыдая сам, бросился поднимать старика, обнимал его, целовал... Все окружавшие чувствовали неизъяснимое волнение. Семидесятилетний

полководец, испытанный в тысяче опасностей, непреклонный до упрямства, всегда изумлявший своей железной силой воли, — теперь плакал от горя... До сей минуты никто ещё никогда и нигде не видал Суворова плачущим.

Когда всё несколько успокоились, генерал Дерфельден заговорил первый, от лица всех русских начальников. Он ручался фельдмаршалу за неизменную храбрость и полное самоотвержение войска, готового идти безропотно, куда бы ни повёл его великий полководец.

Выслушав Дерфельдена, Суворов вдруг поднял поникшую голову, открыл зажмуренные глаза и заговорил с оживлением.

— Надеюсь!.. Рад!.. Помилуй Бог!.. Спасибо!.. Мы русские — с помощью Божией мы всё одолеем! разобьём врага!.. И победа над ним!.. Победа над коварством!.. Будет победа!

Эти слова, произнесённые как бы с пророческой уверенностью, возвратили всем твёрдую бодрость духа. Началось совещание. Вопрос был в том, куда пробиваться: к Швицу или к Гларису? Основательные соображения,

высказанные великим князем, заставили согласиться Суворова и всех присутствующих на движение к сему последнему пункту. Решено было выступить завтра же (19-го), а генералу Ауфенбергу с его австрийским отрядом двинуться немедленно и сбить неприятеля с горы Брагель. Корпус Розенберга Должен был оставаться в Муттенской долине и до тех пор прикрывать её со стороны Швица, пока все вьюки не переберутся за Брагель.

По окончании военного совета все присутствовавшие начальники разошлись к своим войскам и объявили им о предстоящем бое с неприятелем.

— Только, чур, ребята, береги патроны! — предостерегали они людей, — патронов у нас почти уже ничего не осталось.

— И не надо? На что их? — возражали солдаты, — мы, ваши превосходительство, и без патронов-то ещё вольготнее: по крайности, решить скорее станем, на штыках доймём его!.. Это уж без сумления!

Несчастные события с Корсаковым и Готце были уже известны в русском лагере: солдаты знали, в какой опасности находятся все они в

эту минуту, и по-своему толковали об измене союзников, о бароне Тугуте, бранили австрияка и осыпали ауфенберговский отряд своими насмешками.

Но Суворов сумел скрыть пред ними отчаянно тревожное состояние своей души и поддерживал в людях бодрость. Усевшись на барабан около солдатского костра, велел он подать себе шкатулку в которой всегда возил с собой все свои ордена и другие знаки монарших милостей, и медленно стал раскладывать перед собой все эти украшения, любовался ими и приговаривал: «Вот это за Очаков!.. Это за Прагу!» — и так далее. Обступившие его солдаты глядели на ордена, глядели и на своего седовласого «отца» и тихо переговаривались между собой:

— А что, братцы, старик-то не унывает?!

— Чего ему ныть-то!.. Не таковский!.. Ишь ты, разложил их, кавалериев-то этих — эвона сколько!.. Смотри!.. «За Прагу», говорит...

— Есть там всякого, и за Прагу, и за прочее!.. Ничего, батюшка Александра Василич, и за Альпы получишь... Ещё краше... Никто как Бог!.. Бог не выдаст, свинья не съест!..

— Верно, детки!.. Помилуй Бог, верно! — добродушно улыбался в ответ им Суворов.

Согласно диспозиции, выработанной на совете, Багратион рано утром 19-го числа выступил с авангардом из Муттена и, перейдя снежный Брагель, спустился в три часа дня в Клентальскую долину, где нашёл отряд Ауфенберга уже готовым сдаться противнику. Войска Багратиона пришли в негодование от одного известия об этом. Пока он устраивал их к бою под огнём французских пуль и картечи, некоторые из австрийских офицеров генерального штаба сочли нужным предупредить великого князя Константина, что союзные войска поставлены здесь в самое опасное положение, и уговаривали его отъехать куда-нибудь назад, подальше. Великий князь с негодованием отвечал им, что именно в подобных-то обстоятельствах его присутствие и может быть в особенности полезно. Вместе с этими словами дал он шпоры и выехал перед боевую линию.

— Мы со всех сторон окружены, ребята! — громко обратился он к людям. — Но помните, что завтра день рождения нашего государя

и моего родителя! Мы должны прославить этот день победой или умереть со славой!

Восторженные клики раздались в рядах, и вслед за ними гренадеры с барабанным боем, без выстрела и прямо с фронта ринулись в штыки на французов.

Три раза атакуемый Багратионом неприятель отступал всё далее и далее, потеряв уже более четырёхсот человек убитыми и пленными; но, получив подкрепление из Гдариса, занял у Клентальского озера такую сильную позицию, что всякий подступ к ней стоил и нам больших потерь. В этой самой позиции за несколько месяцев пред тем ничтожная горсть швейцарской милиции остановила целую французскую колонну. После нескольких безуспешных подступов, наступившая темнота и крайнее утомление войск заставили Багратиона отложить атаку до следующего утра. Одна только ружейная перестрелка в передовых цепях продолжалась ещё некоторое время.

Стояла уже глубокая ночь, когда русская армия подтянулась к своему авангарду у Клентальского озера. В этот день было прой-

дено ею более двадцати вёрст; но Бетцберг, после Росштока, не казался уже нашим солдатам особенно страшным, хотя и на этом переходе погибло ещё много вьюков. На ночь войска оставлены были в виду неприятельской позиции, и приказано им стоять как можно тише, не разводя огней, а ночь меж тем была холодная: проливной дождь перемежался хлопьями снега, и мгlistый туман до того сгустился, что в двух шагах едва уже было видно товарища. Солдаты, дрожа от холода и сырости, промокшие насквозь, голодные, почти босые, не ложились спать.

Вдруг в темноте обнаружилось какое-то движение на бивуаке.

— Где князь Пётр? где Пётр? — спрашивал кто-то.

Это был сам Суворов, в своей «родительской епанечке», плохо одетый, обмоклый, прозябший... Багратион, завернутый в бурку, поднялся с мокрой земли и встретил фельд-маршала.

— Князь Пётр, я хочу, непременно хочу ночевать в Гларисе... Мне и вот им, — говорил старик, указывая на солдат, — пора отдох-

нуть... Нам холодно и голодно, Пётр... Подумай!.. Непременно хочу ночевать в Гларисе!

— Мы скоро будем там, — отвечал Багратион. — Головой ручаюсь вам, ваша светлость, вы будете ночевать в Гларисе! — уверенным и светлым голосом прибавил он, как бы утешая старика, измученного за этот день и физически, и нравственно.

— Так будем?.. Ну, спасибо, князь Пётр! Спасибо, голубчик!.. Хорошо!.. Помилуй Бог, хорошо! — повторил Суворов, провожаемый Багратионом до какого-то овечьего хлева, предоставленного на сей раз фельдмаршалу, где он и провёл остаток этой ночи вместе с великим князем Константином.

Наутро, 20 числа, бой возобновился ещё впотьмах, вскоре после полуночи. Французы, встревоженные перестрелкой двух столкнувшихся патрулей, разом открыли огонь по всей своей линии. Русские войска, мгновенно встрепенувшись, как будто по установленному сигналу, разом кинулись вперед, «на ура!» и ударили на республиканцев с фронта и правого фланга. Не видя впотьмах местности ни под ногами, ни пред собой, они прямо с яро-

стью стремились на одну цель, которая обозначалась для них вспышками неприятельских выстрелов. Встречая республиканские войска, расположенные по косогору, наши бросались на них в штыки и свергали их с кручи: в жару боя многие и сами, срываясь с утёсов, стремглав летели в пропасть. Узкая дорога между подошвами круч и берегом озера была усеяна истерзанными обезображенными трупами русских и французов, которые часто лежали рядом или один на другом, вцепившись друг в друга. Немногим удалось спастись, хватаясь за камни или деревья. Французы живо были выбиты из своей неприступной позиции. Их опрокинули и гнали до Нетсталя, отсюда до Нефельса, потом до Молиса, где, наконец, прекратилось преследование. Багратион сдержал своё слово: Суворов действительно ночевал в Гларисе, занятом после шестнадцатичасового непрерывного боя, трофеями коего нам достались два неприятельских знамени, три пушки и до шестисот пленных.

В арьергарде, оставленном у Муттена, всё это время тоже дрались и оттеснили против-

ника до самого Швица, заставив его потерять 3000 убитыми! И здесь точно так же бой доставил нам обременительные трофеи: пять пушек и 1200 пленных с одним генералом (Лакуром). Необременителен был только эпolet самого Массены, из литого золота, сорванный с его плеча унтер-офицером Махотиным.

23 сентября арьергард наш присоединился, наконец, к главным силам, и таким образом у Глариса собралось всё, что оставалось ещё от армии Суворова. Но в каком ужасном положении были эти остатки — оборванные, босые, без артиллерии, без патрона в суме!.. И что было делать с людьми, изнурёнными беспримерным походом, постоянным голодом, ежедневным боем!.. Вьюки большею частью погибли: раненых не на чем было везти. А тут ещё лопнула и последняя надежда Суворова на соединение с Линкеном: оказалось, что австрийский генерал без всякой необходимости давно уже отступил совсем за горы, в Граубинден, и даже Ауфенберг покинул русские войска, уйдя 21 сентября, по следам Линкена, к Иланцу. В подобном положении нечего уж было думать о победах: впору было спасать

только остатки армии и честь русского оружия.

Последовал вторичный военный совет. Путь долиной Линты, хотя и кратчайший для соединения с Корсаковым, нашли неудобным, потому что к этой же Линте должен был выйти Массена со всеми своими силами. Другой же путь на Иланц и Кур к Фельдкирху, хотя и кружной, был удобен в том отношении, что в Куре, занятом союзниками, войска могли заpastись провиантом. Таково было мнение великого князя, и Суворов с ним согласился. Войскам предписано выступить из Глариса в ту же ночь и следовать к Эльму. Авангард поручен Милорадовичу, арьергард — Багратиону. Но до чего уменьшилась численная сила войск, можно было судить по отряду того же Багратиона, который состоял без всякой перемены из тех самых частей, что и при вступлении в Швейцарию: тогда в нём было 3000 человек, теперь же едва и до 1800 добиралось!.. Но войска за двое суток стоянки у Глариса, которая сама по себе была отвратительна, всё-таки хоть обогрелись у костров, заштопали заплаты, зачинили кое-как обувь себе и офи-

церам. Нетрудно вообразить, каково было у них состояние последней, если даже генералы ходили в ботфортах без подошв и передов, заменяя те и другие лапами, обрезанными у своих же сюртуков.

Задолго ещё до утра на 24 сентября армия Суворова тихо снялась с позиции перед Гларисом. Узнав об этом уже на рассвете, неприятель поспешил отрезать ей путь, но был отброшен штыками, и потому именно штыками, что нам больше нечем было драться. Стойкость и мужественное сопротивление арьергарда, который дрался на каждом шагу, поминутно кидаясь врукопашную и переходя в наступление, сделали то, что главные силы и остаток вьюков благополучно миновали теснину и, пройдя более 20 вёрст, спокойно достигли Эльма.

Голодные люди арьергарда братски делились между собой ничтожными крохами хлеба, который находили в ранцах убитых французов.

Черепов, посланный с поручением к Багратиону, исполнив, что было приказано, шагом возвращался по полю сражения и проезжал

случайно мимо трёх каких-то спешенных казаков, которые намеревались делиться булкой, только что добытой из французского ранца. Черепов был голоден и не без алчности выражения в глазах кинул взгляд на вкусную булку.

— Ваше скародие! — скороговоркой крикнул ему бойкий казачок из этой группы, — чай, покушать желаете?.. Не угодно ли?

И он протянул к нему булку.

— Да вы сами голодны, братцы! — колеблясь, отказался было Черепов.

— Ничего, ваше скародие, мы ещё раздобудемся, здесь в алиргарде этого добра — благодаря Господу — есть пока!

Взяв булку, Черепов захватил из кармана горсть червонцев и подал их своему нежданному благодетелю.

— Извините, ваше скародие, этого нам не надоть!.. Мы не для того! — смущённо заговорили казаки. — А вот ежели б милость ваша... кабы нам патрончиков... коли есть у вас, то пожалуйста — мы бы сейчас этто охоту на булки устроили.

В кобурах у Черепова было несколько за-

пасных патронов, и он с удовольствием поделился ими с казаками.

— Как же это вы будете охотиться? — спросил он, убирая за обе щеки кусок французского хлеба.

— А вот сейчас. Только винтовочки набьём, сейчас и готово! — отвечал бойкий казачок, посылая заряд в дуло. — Которого примерно? — спросил он у товарищей, мотнув головой на цепь неприятельских стрелков, наступавших впереди, шагах в полутораста.

— Офицера не бей! У офицера ничего нет, — посоветовал смешлёный товарищ. — А вот, вишь, там, в этой кучке унтер ихний идёт — его и вали: у унтера, надо быть, есть наверно!.. Пожалуй, и сырку, а то и ветчинки раздобудемся.

Казак прилёг, положил дуло на камень, прицелился, и в тот же миг намеченный капрал завертелся на месте и упал ничком на землю.

— Готово! — воскликнул радостно ловкий стрелок. — Теперь только, чур, ребята, сторожи: как на уру на них побегим, так чтоб другие его не подобрали! Ну, а теперича следую-

щий!

И он опять стал заряжать винтовку.

Черепов дал шпоры и поспешил отъехать от продолжения этой охоты, обвинять за которую голодных, ожесточённых людей он в душе не чувствовал возможности.

На пути своего следования ему попало ещё несколько подобных же кучек солдат, которые усердно шарили в ранцах убитых французов, тут же делясь найденным хлебом, и даже добродушно приносили начальникам часть своей добычи.

Однако и в Эльме не нашли себе русские войска желаемого отдыха: всю ночь оставались они под ружьём, наготове к бою, в расстоянии ружейного выстрела от противника и при этой холодной, ненастной темноте нигде не могли добыть дров, чтобы развести костры; а снег так и валил большими хлопьями... Этот приятный ночлег покинут был 25 сентября ещё до света, и в пяти верстах за Эльмом русские увидели пред собой страшный снеговой хребет Ринген-Копф (Панике), знакомый пока только авангарду Милорадовича, который вовсе не ночевал в Эльме.

Путь, предстоящий теперь, был ещё труднее, неизмеримо труднее, чем все прежние переходы. Даже Росшток казался игрушкой в сравнении с Ринген-Копфом, которого крутой и продолжительный подъём как бы вдруг вырос пред глазами армии с первыми лучами рассвета. Подъёмная тропинка, трудная сама по себе, сделалась совсем непроходимой от продолжительного ненастья. Люди вязли в грязи, едва вытаскивали ноги — и опять те же обрыванья и полёты стремглав в преисподние!.. Опять гибель последних вьюков! Здесь была потеряна в безднах вся остальная наша горная артиллерия, которую просто пришлось нарочно побросать в пропасти для облегчения животных, необходимых под перевозку раненых. Чем выше поднимались русские, тем круче и труднее становился подъём, а выпавший за ночь глубокий снег совсем занёс дорогу. Густые тучи затянули всю поверхность горы, так что люди карабкались наобум, ничего не видя пред собой. Проводники опять разбежались, — пришлось самим под вьюгой искать себе дорогу, погружаясь в снежные сугробы. С высоты гор слышались

глухие раскаты грома, и по временам густой, непроницаемый туман рассекался блеском молний, и опять огромные каменья, срывае-
мые бурей, с грохотом катились в бездны. Русские вступили в область грозы, которая трещала вокруг, а через несколько времени молниеносные удары грома раздавались уже значительно ниже: грозовой пояс был пройден. И на этом-то ужасном переходе все без различия — солдаты, офицеры, генералы — были босы, изнурены и голодны. Промоченные до костей страшным ливнем, они вдруг были застигнуты снегом, вьюгою, метелью, — и мокрая одежда покрылась на них ледяной корой.

Здесь в первый раз между солдатами раздался ропот.

— Ну, братцы, старик наш совсем, видно, из ума вышел! Завёл невесть куда! — громко говорили солдаты, нимало не стесняясь присутствием самого Суворова, который ехал рядом.

— Помилуй Бог! Они хвалят меня! — громко и с весёлым смехом обратился он к окружающим. — Так точно хвалили меня они же

и в Туретчине, и в Польше!

При этих словах люди невольно вспоминали, что «отец» всегда умел выводить их с честью и славой из самых безвыходных обстоятельств, и им стало стыдно за своё минутное малодушие. Бодрость была возбуждена снова.

В это время на одной из попутных скал увидели они надпись.

— Савёлов! ты дока на грамоту — разбери-ка, что оно тут обозначает? — обратился один из солдат к товарищу.

— А ляд его знает! Не по-законному писано, не по-русски! — отозвался вопрошаемый.

— Эта надпись гласит, что «здесь прошёл пустынный», — пояснил им Черепов, случившийся рядом.

— Пустынный!.. Ишь ты, диковина какая, пустынный! Что ж тут такого?! — тотчас же весело стали переговариваться солдаты. — Нас-то, поглядишь, эвона сколько пустынных идёт, и ничего себе, шагаем!.. а у них сейчас этто надпись!.. Чудесно!.. Ей-Богу!..

И такие-то суждения произносили люди, отродясь не видавшие гор, привыкшие с колыбели к простору родимых равнин, к раздо-

лью степей необозримых! А подъём всё выше да выше, всё круче и тяжелее — и опять признаки уныния начинают замечаться на изнурённых лицах.

Вдруг в эту самую минуту, ни с того ни с сего, Суворов во всю мочь затягивает песню:

*Что девушке сделалось?
Ай, что красной случилось?*

И далече передаётся вдруг разлившийся вокруг него гомерический хохот, и до крайности истомлённые войска с новой бодростью карабкаются на новую кручу!

Целый день безостановочно тянулась колонна, одолевая кручу Ринген-Копфа, и только авангард Милорадовича успел засветло спуститься к деревеньке Панике. Все остальные войска едва в сумерки достигли ледяной вершины хребта и тут были застигнуты темнотой. Вся колонна так и остановилась в том самом положении, в каком захватила её ночь. Не имея никакой возможности идти далее и совершенно выбившись из сил, солдаты сами приютились где попало: на голом снегу, на камнях, на ледяных глыбах или присло-

нившись к скале — и так провели целую ночь в ожидании рассвета. И тут ещё, к довершению бедствия, поднялась вдруг такая стужа, что многие солдаты замёрзли во сне, на вершине Паникса, и обледенелая дорога сделалась чрезвычайно скользкою. Тёмно-синее небо сквозь ясный горный воздух морозно играло бесчисленным множеством ярких звёзд; студёный ветер гудел среди ледника, — и вместе с его воем раздавались иные ужасные звуки: то был горячечный, полупомешанный бред, рыдания, вой и скрежет, вопли и стоны умирающих пленных французов... Русские, как более привычные к суровому климату, переносили эти ужасы легче и если умирали, то делали это тихо.

Здесь воистину была настоящая адская ночь ужасов. На заре розоватый луч восходящего солнца заиграл переливами радужных цветов на окрестных ледяных вершинах и золотисто обагрил густые тучи, клубившиеся далеко внизу, под ногами.

«Ку-ку-ри-ку-у-у!» — раздался вдруг громкий петуший крик в одном из концов русского стана.

— Ну-у!.. загорланил старый петух! — быстро загомонили промеж себя солдаты. — Вставай, ребятки, вставай, шевелись!.. В поход пора!

«Квох-ох, кво-кво-кво-квох!» — в ответ на петуший крик весело послышалось с разных сторон куриное кудахтанье — и солдаты живо, со смехом, подымались со своего ледяного ложа, отбивая на месте трепака с холоду и отряхая с себя налёт морозной пыли.

— Ну, ну! вставайте, вставайте, курицыны дети!.. Живо! Ишь, батька-то как петухом орёт!.. благим матом! Стало быть, время!

И люди, оправясь да поразмяв члены, наконец и спешно крестились на восток, откуда большим диском подымалось багряное солнце, и ещё поспешнее становились в ружьё и выстраивались. Унтер-офицеры наскоро делали расчёт по рядам, примечая, кто жив, а кто остался почивать вечным сном в ледниках Ринген-Копфа. Но вот барабан загрохотал «подъём», где-то впереди раздалась команда — и головная часть колонны двинулась с горы по обледенелому спуску. Этот спуск вполне стоил подъёма, если даже не был ещё

хуже. На каждом шагу теряя последних лошадей и мулов, армия около полудня спустилась кое-как по гололедице и с величайшей опасностью к деревне Панике, где был дан ей небольшой привал, и затем, уже по более отлогой местности, полки направились к городу Иланцу.

Крупной рысью обскакивая их на этом переходе, Суворов весело кричал солдатам: «Здравствуйте, чудо-богатыри, витязи русские!.. Чада Павловы, здравствуйте!»

И ответный крик ратников от души, от сердца, с любовью вырывался у всякого:

— Здравия желаем, отец, батюшка Александр Васильевич!

И долго громкое «ура» бесконечными перекатами от батальона к батальону, от полка к полку провожало старика по дороге и не смолкало даже и тогда, когда его капуцинская шляпа и развевавшийся родительский плащ совсем уже терялись впереди из виду...

И сам Суворов, и каждый ратник равно чувствовали и сознавали, что в эту минуту было спасено более чем жизнь: спасена была честь оружия русского.

XXVII

Царственный сват

27 сентября совершенно уже босая армия пришла в город Кур, где кончились её невзгоды и опасности. Высокий снеговой хребет стоял между нею и неприятелем, фланги прикрывались австрийскими отрядами, а в самом Куре найдены были изобильные запасы продовольствия, дров и боевого снаряжения. Здесь был истинно светлый праздник: на улицах все генералы, офицеры и солдаты братски обнимались и целовались между собой, поздравляя друг друга с жизнью и спасением. Мгновенно оживился весь русский стан. В котлах варилась похлёбка с говядиной, солдаты резали свежий хлеб, курили трубочки-носогрейки, давно уже не дымившие табачком, фельдфебели распорядились около бочонков с водкой и делили её по «братским крышкам»... Утомление и горе было забыто. Люди принялись чинить обувь, справлять амуницию и уже шутили над только что минувшими страданиями. К вечеру по

всему бивуаку гудели бубны, звенели медные тарелки, и ротные песенники в кругах распевали весёлые песни.

Суворов приказал позвать к себе Черепова. Когда последний вошёл к фельдмаршалу, он застал там двух-трёх высших генералов и начальника походной канцелярии, Е. Б. Фукса, который сидел за письменным столом и приготавлился что-то писать.

— Ну, пиши же реляцию, — говорил ему Суворов, — всё пиши, достойное примечания... всё!

— Для сего кисть моя не имеет красок, — пожал тот плечами. — Да и на что тут реляция! Для потомства довольно и сего: *«Русские перешли Альпы — и Россия имеет Аннибала!»*

— Го-го!.. Помилуй Бог! — захолопал в ладоши Суворов и принялся скакать по комнате.

— А! Вот и он! — вскричал вдруг старик, увидав Черепова. — Очень рад, что пришёл!.. Хорошо!.. Отлично!.. В сей час получишь поручение!

— Что прикажете, ваша светлость? — почтительно спросил Черепов.

— А вот-вот, сейчас... Пиши же, Егор, пи-

ши, голубчик, скорее... время не ждёт!

Но литературное перо Фукса уже и без того быстро бегало по листу бумаги.

— Вот тебе ордер к криг-цальмейстеру, — продолжал Суворов, подавая Черепову клочок бумаги, на котором тут же написал за своей подписью несколько слов. — Беги ты с ним к казначею, получай прогоны, изготвься и через час будь здесь. Егор, реляция будет готова?

— Поспеет, — утвердительно кивнул Фукс, не подымая глаз от своей бумаги.

— О, помилуй Бог!.. у тебя живо!.. Всё живо! Ну, хорошо!.. Итак, голубчик, — опять повернулся старик к Черепову, — лети, мчись... птицей в Петербург... к государю... с реляцией... А будет спрашивать, расскажи ему сам всё, что видел... что перенесла армия... всё... всё, без утайки!.. Ступай же за прогонами!

Черепов поклонился и вышел.

Через час у крыльца главной квартиры стояла уже немецкая почтовая бричка, и краснощёкий швейцарский почтальон, с бичом в руке и медным рожком за спиной, молодцевато красовался на козлах. Черепов в

четверть часа успел купить себе новые сапоги и дорожный, подбитый ватою, плащ да кожаную подушку; набил кисет табаком, уложил в кожаную сакву[89] две перемены белья, бутылку рому, две-три булки с куском копчёной ветчины и — совершенно готовый в путь — явился в назначенный срок к фельд-маршалу.

— Ну вот, и ты готов, и реляция готова! — весело воскликнул Суворов. — Поезжай же с Богом!.. Вот тебе сумка курьерская, вот открытый лист... Вот пакет... Государю!.. в собственные руки!.. Ну, всё, кажись?..

— Всё, ваша светлость, — подтвердил начальник канцелярии.

— Ах, да!.. Поди-ка сюда на минутку! — как бы домекнувшись о чём-то, кивнул Суворов Черепову и повёл его за собой в другую комнату, где они очутились наедине.

— Есть ли у тебя деньги? — тихо спросил старик, затворив за собой дверь.

— Как же, ваша светлость! Прогоны мне в тот час же выданы.

— Прогоны!.. Помилуй Бог!.. Я не о том... Прогоны! Помимо прогонов есть ли?

— Найдётся ещё малая толика.

— Да вдосталь ли?

— Хватит, ваша светлость! — беззаботно махнул рукой Черепов.

— То-то!.. Хватит!.. Ты не церемонься: коли нужно, возьми у меня... Я никому не скажу... Потом сочтёмся.

— Ей-ей, хватит, ваша светлость!.. Недосуг только расстёгиваться, а то я показал бы.

— Ну, коли так, то не теряй времени!. Помилуй и сохрани тебя Боже!.. Поезжай, поезжай, голубчик!.. Господь с тобой!

И, трижды перекрестив Черепова, старик поцеловал его и выпроводил за дверь, положив на плечо ему руку.

Черепов, благословясь, вскочил в бричку, почтарь хлопнул бичом — и быстрая пара бойкой рысью тронулась по улице, кипевшей горожанами и нашим солдатством.

Не отъехали и трёх вёрст от города, как Черепов, истомлённый несколькими бессонными ночами, закутавшись в плащ да прикорнув плечом и головою к своей кожаной подушке, спал мёртвым сном под однообразный стук колёс подпрыгивающей брички.

После выхода Суворова из Альп вся Швейцария снова очутилась в полной власти французов. Дела австрийцев на Рейне и в Италии были ничтожны и нерешительны. И вот те самые люди, которые всячески старались исторгнуть победу из рук Суворова, стали теперь уговаривать его начинать снова вместе с ними военные действия. Эрцгерцог Карл предложил было ему сначала охранять Граубинден, пока не получатся новые повеления от венского гофкригсрата. Суворов пришёл в негодование. «Воинов, увенчанных победами и завоеваниями, дерзают назначать сторожами австрийских границ!» — писал он Ростопчину и немедленно решил перейти в Фельдкирх, назначив Корсакову пункт соединения с собой в Линдау. Здесь произведён был обмен пленных между русскими и французами, после чего соединившиеся остатки двух русских армий расположились между реками Иллером и Лехом.

Меж тем эрцгерцог Карл, всё ещё не теряя надежды снова привлечь Суворова к военным действиям, предложил ему личное сви-

дание с собой — Суворов отказался, сказав, что эрцгерцог может сообщить ему в письме, что почтёт нужным. Тот опять прислал доверенное лицо, графа Колоредо, с требованием свидания. Недовольный повелительным тоном письма, старик сухо отвечал посланцу:

— Эрцгерцог Карл, если он не при дворе, а в лагере, такой же генерал, как и Суворов, кроме того, что Суворов гораздо старше его своей опытностью. И притом, передайте его высочеству, что я не знаю обороны: умею только атаковать и двинусь вперёд, когда сам признаю удобным, и тогда уж не остановлюсь в Швейцарии, а пойду прямо во Франш-Конте. Скажите, что в Вене во дворце я буду у ног его высочества, а здесь, на войне, я, по меньшей мере, равен с ним и ни от кого не приму уроков.

«Чего хочет от меня эрцгерцог? — писал он тогда же П. А. Толстому. — Он думает обволшебить меня своим демосфенством... а у меня на бештимтзаген[90] ответ готов. Он дозволил исторгнуть у себя победу. Мне 70 лет, а я ещё не испытал такого стыда. Да возблистает слава его! Пусть идёт и освободит Швейцарию —

тогда я готов».

Эрцгерцог оскорбился и в длинном письме принялся доказывать, что никак не он, а Корсаков и сам же Суворов виноваты в потерях. «Все тактики согласны с этим», — прибавил он в заключение.

И не пощадил же его старик за эту выходку в своём прямом ответе.

«Царства защищаются, — писал он, — завоеваниями бескорыстными, любовью народов, правотою поступков, а не потерею Нидерландов и гибелью двух армий в Италии. Это говорит вам солдат, который прослужил шестьдесят лет, водил к победам войска Иосифа II и победою утвердил за Австрией Галицию, — солдат, не знающий ни демосфеновской болтовни, ни академиков бессмысленных, ни совета карфагенского! Я не ведаю ребяческих соперничеств, демонстрации, контрмаршей. Мои правила: *глазомер, быстрота, натиск*».

Но так как эрцгерцог настаивал и требовал от русских помощи, то Суворов созвал в Линдау новый военный совет из своих сподвижников, и этот совет решил единогласно, что, «*кроме предательства, ни на какую помощь*

от цесарцев нет надежды, чего ради наступательную операцию не производить».

Император Павел был немедленно же извещён фельдмаршалом об этом решении.

Взмыленная тройка подкатила к одному из дворцовых подъездов.

— Курьер... курьер из армии! — тотчас же разнеслось по всем коридорам, этажам и апартаментам — и курьер немедленно же был введён в кабинет государя.

— Злые или добрые вести? — быстро спросил император.

— Вести геройские, — почтительно и твёрдо ответил посланец, подавая запечатанный пакет.

Государь нетерпеливо сломал печать и жадно погрузился в чтение реляции.

— Слава Богу!.. Честь оружия спасена и армия тоже! — воскликнул он, осеняя себя крестным знамением, и снова перечитал реляцию.

— Ты находился всё время там? при фельдмаршале? — спросил он.

— Всё время, ваше величество, и был оче-

видным свидетелем невероятных трудов и подвигов армии.

Государь с несколько большим вниманием окинул взглядом всю фигуру курьера.

— Господин полковник Черепов! — воскликнул он с улыбкой. — Ну что ж, удалось ли вам в бою схватить за тупей фортуна?

— Моя фортуна в руках вашего величества, — ответил, склонив голову, Черепов.

— Недурно сказано! — усмехнулся император. — Итак, ты видел всё?.. Сам был свидетелем?.. Расскажи. А впрочем, нет! — перебил он самого себя. — Пойдём сперва к императрице, порадуем её доброй вестью, и там заодно ты расскажешь.

И он повёл Черепова на половину государыни.

— А что ваше сердце, господин полковник? — нежданно спросил вдруг император. — Всё так же ли продолжает хранить чувствительность к известной особе?

— Да, государь, и поднесь люблю её! — открыто сказал Черепов.

— И что ж, намерены делать предложение?

— Желал бы с охотой всего сердца, но...

— Всё ещё не осмеливаетесь?

— Да, ваше величество!

— Где чересчур уж смел, а тут робок некстати, — заметил с улыбкой император. — Ну, хочешь, я буду твоим сватом? Для меня, надеюсь, отказа не будет.

И с этими словами они вошли в кабинет императрицы.

Государыня у окна занималась акварельною живописью. Княгиня Ливен, бывшая в тот день дежурной статс-дамой, сидя за креслом её величества, держала на коленях какую-то вязальную работу, а дежурная фрейлина читала вслух государыне вновь вышедшую повесть Карамзина. При входе императора обе последние дамы почтительно поднялись с места. В эту минуту, быстрым взглядом окинув всю женскую группу, Черепов чуть не вскрикнул от восторга: в дежурной фрейлине узнал он графиню Елизавету, которая, тоже подняв глаза на вошедших, вдруг вся вспыхнула от неожиданной радости.

— Я знал, зачем вёл вас сюда! — как бы вскользь заметил ему государь с самой мило-

стивой улыбкой и прямо направился к императрице.

— Добрые вести!.. Славные вести!.. Старик наш неразлучен с геройством! — сказал император и сам стал громко читать реляцию Суворова.

Вслед за тем он заставил Черепова рассказать обо всех виденных им подробностях альпийских битв и переходов. Безыскусный, но правдивый и оживлённый рассказ в устах очевидца был увлекательно ярок и вместе с тем прост и невольно хватал за душу. Государь сжимал губы и нервно мял в пальцах сложенную бумагу, когда передавались ему все мрачные подробности предательских козней наших добрых союзников; императрица невольно стёрла слезу, слушая о том, что перенесено было русской армией на ледяных вершинах и в глубине тёмных пропастей этого «царства ужасов»; но лица царственной четы засветились удовольствием и радостью, когда рассказ дошёл до спасения армии, до эпизодов её перехода в Кур, до выражения того чудного, геройского духа, которым оживлено было всё войско в самые ужасные дни. Пе-

реданы были также и многие подробности о великом князе Константине, о его самоотвержении в Клентальской битве, о его боевых трудах, лишениях и живом участии к солдатам, с которыми делился он всем, чем только мог и что имел при себе. Этот последний рассказ вполне возвратил государю его светлое, довольное настроение духа.

— Благодарю!.. Спасибо! — сказал он приветливо Черепову и вслед за тем вдруг обратился к графине Елизавете: — Не правда ли, что не много красавиц отказались бы от чести быть жёнами подобных героев?

— Если только герои захотят обратить на них внимание, государь, — скромно заметила девушка.

— О, в этом я совершенно уверен! И потому (он весело окинул взглядом Черепова и Лизу) ...и потому, сударыня, я позволяю себе просить вашей руки для генерал-майора Черепова. Надеюсь, ни вы, ни ваш батюшка не откажете нам в этой чести?

Радостно смущённая Лиза сделала глубокий поклон государю и, вся зардевшись, безмолвно подала жениху свою руку.

XXVIII

Лучи бессмертия и славы

Следствием своекорыстной политики венского двора и всех коварств Тугута был разрыв нашего союза с Австрией.

«Вашему Величеству, — писал государь Павел Петрович императору Францу, — уже должны быть известны последствия преждевременного выступления из Швейцарии армии эрцгерцога Карла, которой, по всем соображениям, следовало там оставаться до соединения фельдмаршала князя Итальянского с генерал-лейтенантом Корсаковым. Видя из сего, что мои войска покинуты на жертву неприятелю тем союзником, на которого Я полагался более, чем на всех других; видя, что политика его совершенно противоположна Моим видам и что спасение Европы принесено в жертву желанию расширить вашу монархию; имея притом многие причины быть недовольным двуличным и коварным поведением вашего министерства (которого побуждения не хочу и знать, в уважение высо-

кого сана Вашего Императорского Величества), Я с тою прямою, с которой поспешил к вам на помощь и содействовал успехам ваших армий, объявляю теперь, что отныне перестая заботиться о ваших выгодах и займусь выгодами собственными своими и других союзников. Я прекращаю действовать заодно с Вашим Императорским Величеством, дабы не действовать во вред благому делу...»

Это письмо было передано императору Францу чрез русского посла Колычева, заменившего графа Разумовского. Прочитав его, Франц до того смутился, что не умел даже скрыть свои ощущения перед нашим послом, который после аудиенции у императора австрийского имел свидание с бароном Тугуттом. Когда Колычев объявил ему, что русским войскам предписано возвратиться в Россию, Тугутт сначала не хотел даже этому верить. Черты лица его, всегда холодные и неподвижные, тоже не могли скрыть живого смущения; но потом, придя несколько в себя, австрийский министр начал вдруг выхвалять доблести русских войск, заслуги полководца их и старался выведать у Колычева, не может

ли Суворов хотя повременить на некоторое время выступлением из Германии, в той надежде, что гнев императора Павла, быть может, ещё смягчится и повеления его будут отменены. После первого испуга Тугут старался успокоить себя той мыслью, что император Павел в действительности не решится привести в исполнение свою угрозу. Однако же надежды венского двора, давно уже, впрочем, затеявшего втайне отдельные переговоры с французской Директорией, в скором времени окончательно рушились.

Копия с письма к австрийскому императору была препровождена государем к Суворову при особом рескрипте, где, между прочим, значилось: «Вы должны были спасти царей; теперь спасите российских воинов и честь вашего государя», а в следующем за тем рескрипте государь писал, что более «не намерен жертвовать своими войсками для корыстолюбивых и бесстыдных видов двора венского». Суворов, конечно, не претендовал на разрыв с австрийцами, коварство которых чуть не выморило всю его армию и было главной причиной поражения Корсакова.

Император Павел очень хорошо понимал последнее и хотя отставил Корсакова от службы, но, получив донесение о выходе русских из Швейцарии, писал к Суворову от 29 октября: «Весьма рад, что от вашего из Швейцарии выступления узнает эрцгерцог Карл на практике, каково быть оставлену не вовремя и на побиение; но немцы люди годные: всё могут снести, перенести и унести». «Действуя на пользу общего дела престолов, я не должен, однако, терять из виду безопасность и благоденствие моей империи, в чём отдам отчёт пред Богом и пред всеми подданными моими», — писал государь к принцу Конде, извещая об отозвании своих войск в Россию. Распорядясь о немедленном выступлении русской армии из Баварии и о движении её «умеренными маршами» к пределам своего отечества, государь формально приказал платить за всё на пути чрез австрийские владения, а деньги на путевые расходы просить заимообразно у курфюрста Баварского Максимилиана. «Теперь главный предмет мой, — извещал он Суворова, — есть возвращение ваше в Россию и охранение её границ». Действующую

армию предназначалось расположить под непосредственным начальством Суворова, на западной окраине империи, а ему самому повелевалось «иметь пребывание, яко в средоточии маетностей его, — в местечке Кобрине».

Известясь об этой высочайшей воле, Суворов сказал:

— Я бил французов, но не добил. Париж мой пункт, — беда Европе! — и послал племянника своего, князя Горчакова, занимать у курфюрста Баварского миллион гульденов.

Швейцарский поход по справедливости считается не только у нас, но и в Европе венцом воинской славы Суворова. Граф Ростопчин в письме к нему в следующих выражениях высказывал своё мнение об этом походе: «Ваше последнее чудесное дело удостоивают в Вене названием „une belle retraite“ [91]. Если б они (т. е. австрийцы) умели так ретироваться, то давно бы завоевали всю вселенную».

— Belle retraite! — воскликнул со смехом Суворов. — Помилуй Бог!.. Здесь нет des belles retraites — разве в пропастях!

Император Павел по тому же поводу писал ему в рескрипте от 29 октября: «Побеждая повсюду и во всю жизнь вашу врагов отечества, недоставало вам одного рода славы — преодолеть и самую природу. Но вы и над нею одержали ныне верх: поразив ещё злодеев веры, попрали вместе с ними козни сообщников их, злобою и завистию против вас вооружённых».

Спасение русского войска в самой ужасной и труднейшей из местностей Швейцарии было во мнении государя величайшей заслугой. Выслушав реляцию, он тут же возвёл Суворова в звание *генералиссимуса* и сказал при этом графу Ростопчину: «Это много для другого, а ему мало — ему быть ангелом» — и в рескрипте, которым объявлялась старику эта новая милость царская, было изображено: «Награждая вас по мере признательности моей и ставя на высший степень, чести и героизму предоставленный, уверен, что возвожу на оный знаменитейшего полководца сего и других веков». В то же время император повелел отлить статую Суворова и в честь его воздвигнуть монумент в Петербурге, на Марсо-

вом поле[92].

В числе самых деятельных и полезных участников швейцарского похода был великий князь Константин Павлович, которому Суворов в донесении своём государю отдал полную дань справедливости, за что великому князю пожалован был титул *цесаревича*. Все частные начальники и отличившиеся офицеры по представлению генералиссимуса получили щедрые награды.

Вся Европа дивилась и рукоплескала Суворову. Ораторы, поэты слагали ему похвалы. Державин, воспевший некогда Измаил и Прагу, сделал швейцарские подвиги предметом новой своей оды, которая исполнена самобытными красотами: своенравными, как гений Суворова, дикими, как природа Швейцарии. Воспевая подвиги русских, Державин изображал Валгаллу и древнего героя Севера, указующего на Суворова:

*«Се мой, — гласит он, — воевода!
Воспитанный в огнях, во льдах,
Вождь бурь полночного народа,
Десятый вал в морских волнах...»*
[93]

«Хохочет ад», — восклицал Державин, рисуя битвы в Альпийских горах и представляя Сен-Готард исполином, который касается «главой небес, ногами ада» и с рёбер которого

*Шумят вниз реки,
Пред ним мелькают дни и веки,
Как вокруг волнующийся пар...[94]*

Эта ода заключалась мыслию, что отныне вековыми обелисками русских подвигов пребудут сами Альпийские горы.

Вместо миллиона гульденов у курфюрста Баварского нашлось всего 200 тысяч, которые и были немедленно доставлены генералиссимусу. Затем вся русская армия сосредоточилась в Аугсбурге. Здесь прислали к Суворову почётную стражу.

— Зачем это?! Помилуй Бог!.. Не надо!.. Меня охраняет любовь народная! — сказал он, отсылая караул.

Около месяца прожили в Аугсбурге русские, и время, проведённое здесь, прошло для них шумно и весело. Множество генералов, министров, путешественников стекалось сюда со всех концов Европы, чтобы видеть Суво-

рова, хоть мельком, но воочию взглянуть на него. Всё благоговело перед героем италийским. Из Аусбурга русская армия двинулась далее, двумя колоннами — одна через Богемию, другая — через Моравию. Сам Суворов следовал при первой.

В городке Вишау встретил его хор детей, пропевший в честь ему гимн. Старик прослезился, перецеловал маленьких певцов, усадил их у себя за стол, потчевал разными лакомствами и сам пел с ними.

1 декабря Суворов прошёл Нитенау и вступил в Прагу, столицу Богемии, где, во исполнение высочайшего повеления двигаться «умеренными маршами», приготовился дать войскам своим продолжительный отдых и остался здесь на целый месяц. Сюда приехали к нему генерал Беллегард — со стороны императора австрийского, и лорд Минто — со стороны короля английского для новых попыток уговорить его сражаться. Старик был и сам не прочь от этого, только не вместе с австрийцами. Множество знатных людей, министров, дипломатов, генералов и дам окружали его и здесь, как в Аутсбурге. Здесь, среди героев, ко-

торых водил к победам, среди уполномоченных агентов государей, искавших его внимания и согласия, Суворов в последний раз явился в полном блеске славы и почестей. В Праге же помолвил он и своего сына с принцессой Курляндской. По вечерам у него происходили многолюдные и шумные собрания. Затеял он тут справлять русские святки, завёл святочные игры, фанты, жмурки, жгуты, подблюдные песни, сам пел, и бегал, и мешался в толпе гостей, с точностью исполняя всё, что назначалось ему проделывать, когда вынимался его фант, водил хороводы, заставлял немцев выговаривать трудные русские имена и мудрёные слова и слушать рассказы о славной плясунье — боровичской исправничихе — и, наконец, пускался в танцы: «Люди вправо, — пишет очевидец[95], — а он влево; такую причинял кутерьму, суматоху, штурм, что все скакали, прыгали и сами не знали куда». И замечательно, что знатнейшие богемские дамы, австрийские генералы, даже английский посланник при венском дворе и множество чужестранцев — путались вместе с русаками в наших народных играх. Суворов

был очень доволен, если при игре в жгуты особенно больно доставалось по спине австрийским генералам. «Пониже бы их хорошенько! Пониже!» — приговаривал он, хлопая в ладоши. Сюда же, в Прагу, явился художник Миллер, присланный от курфюрста Саксонского с просьбой о позволении списать с Суворова портрет для Дрезденской галереи. Старик очаровал Миллера своими разговорами. Ласково встретив его, он стал словами изображать свой нравственный портрет.

— Ваша кисть изобразит черты лица моего, — говорил он художнику, — они видны; но внутреннее человечество моё сокрыто. Итак, скажу вам, любезный господин Миллер, что я проливал кровь ручьями. Содрогаюсь. Но люблю моего ближнего, во всю жизнь мою никого не сделал несчастным, ни одного приговора на смертную казнь не подписывал; ни одно насекомое не погибло от моей руки. Был мал, был велик (при этом Суворов вскочил на стул); в приливах и отливах счастья уповал на Бога и был непоколебим (тут он сел на стул); непоколебим, как теперь!.. Вдохновитесь вашим гением и начинайте!

— Твой гений вдохновит меня! — воскликнул в восторге художник.

Умолкнув, Суворов терпеливо выдерживал неподвижную позу — и прекрасный портрет его, списанный Миллером, до наших дней хранится в Дрезденской галерее.

В это время оживлял Суворова не суетный блеск, окружавший его, не величие, в каком являлся он в представлении своих современников, — оживляла его надежда явиться снова, но уже самостоятельно, среди громов битвы и победы. Любимой и самой заветной мечтой его было победить и умереть в бою, но не на постели.

Высочайший рескрипт от 29 декабря застал его ещё в Праге. «Князь! — собственно-ручно писал государь. — Поздравляю вас с новым годом и желаю его вам благополучна, зову вас к себе. Не мне тебя, герой, награждать! ты выше мер моих; но мне чувствовать сие и ценить в сердце, отдавая тебе должное».

Удовлетворяя желанию государя, генералиссимус простился с войсками: он проследил — и ничего не мог сказать от волнения... Ряды солдат тоже безмолвствовали и

были грустны, словно предчувствуя, что видят «отца» уже в последний раз в своей жизни. Суворов сдал начальство генералу Розенбергу и спешил выехать из Праги. Но пред отъездом, возражая ещё раз на новые планы, представленные ему Беллегардом и Минто, он выразился напрямик, то «все эти планы красноречивы, да не естественны, прекрасны, да не хороши», и на прощанье высказал им мысль весьма замечательную:

— Если хотите ещё раз воевать с Францией, — сказал он, — то воюйте хорошо, ибо война плохая — смертельный яд. В этом случае лучше и не предпринимать её! Всякий изучивший дух революций был бы преступником, если б умолчал об этом. *Первая великая война с Францией должна быть также и последнею.*

Спустя пятнадцать кровавых лет Европа в 1812 году убедилась в вещих словах Суворова.

На другой день он выехал из Праги в сопровождении небольшой свиты. По дороге, в моравском городке Нейтитченке, где умер и похоронен австрийский фельдмаршал Лаудон, пожелалось ему взглянуть на гробницу

этого замечательного человека. Погрузясь в глубокую задумчивость, долго стоял он и смотрел на длинную латинскую эпитафию, где в подробностях и до последних мелочей исчислены были дела, чины, титулы и отличия Лаудона.

— К чему такая длинная надпись! — произнёс он наконец в раздумье.

Рядом с ним стоял Фукс, ловя на лице великого старца все оттенки сокровенных дум, волновавших его душу в эту замечательную минуту.

— Нет! Когда я умру, — продолжал Суворов, обратясь к своему спутнику, — завещаю тебе волю мою: когда я умру, не делайте на моём надгробии похвальной надписи. Напишите просто, всего три слова: «*Здесь лежит Суворов*» — с меня и довольно!

XXIX

Смерть великого деда

Доехав до Кракова, Суворов почувствовал себя дурно. Он через силу поехал на бал, данный в его честь, но среди пышной толпы видимо казался утомлённым и грустным; здесь уже не было в нём ни обычных его остроумных выходок, ни оригинальностей. На другой день у него открылась болезнь, известная под названием «*фликтены*», сыпь и водяные пузыри покрыли всё его тело. Он поспешил добраться до Кобрина, где находилась его «маетность», и как ни торопился в Петербург, однако, против воли, должен был лечь в постель. Император Павел, встревоженный известием о болезни своего генералиссимуса, прислал к нему своего лейб-медика Вейкарта. «Молю Бога, — писал он, — да сохранит мне героя Суворова. По приезде вашем в столицу увидите вы вполне признательность к вам вашего государя, которая, однако ж, никогда не сравнится с вашими подвигами и великими заслугами, оказанными мне и государ-

ству»

Ежедневно скакали курьеры из Кобрина в Петербург с депешами о состоянии здоровья Суворова. Медики советовали ему пользоваться водами, но он вообще пренебрегал медициной, не терпел лекарств и лечился по-своему.

— Помилуй Бог! — отвечал он на все эти советы. — Посылайте на воды здоровых богачей, игроков, интриганов, а я ведь болен не шутя... Мне надобны деревенская изба, молитва, баня, кашлица да квас.

Однако, известясь о воле государя, который желал, чтобы больной следовал предписаниям медика, Суворов подчинился приказаниям Вейкарта. Однажды как-то велел он денщику своему Прошке отыскать свою старую аптечку, подаренную ему Екатериною.

— Я только хотел поглядеть на неё; она надобна мне только на память, — оправдывался он, когда Вейкарт сердито отнял у него ящичек.

Предписано было ему одеваться теплее, а он не хотел и отговаривался тем, что «я-де солдат!».

— Вы генералиссимус, — возразил ему Вейкарт.

— Так-то так, да солдат с меня пример берёт! Вот что! — отвечал несговорчивый Суворов.

Никак не могли также убедить его есть скоромное в великий пост. Однако Вейкарт значительно помог своему пациенту. Почувствовав облегчение, старик усердно принялся ходить в церковь, по обыкновению пел на клиросе, читал Часы и Апостол, клал положенные поклоны. Вспыльчивый Вейкарт беспрестанно сердился на него, доказывая, что всё это изнуряет его физические силы, а Суворов, в отместку за ворчливость, заставлял его говорить по-русски, ходить вместе с собой в церковь, есть постное и от души смеялся досаде немца-врача, который всячески старался отбояриться от такого непривычного ему образа жизни. Слыша о непрерывной благосклонности государя, с чувством говорил Суворов: «Вот *это* вылечит меня лучше Ивана Ивановича Вейкарта!» Он всё ещё деятельно занимался перепиской, пересматривал и проверял списки наград, заботливо спрашивая:

«Не забыт ли кто?» Но по временам, чувствуя безнадежность своего здоровья, говорил, что лишь бы добратся до Питера, увидеть государя, а потом — умирать в деревню. Советовали ему просить у императора ещё какое-нибудь материальное обеспечение для себя и детей.

— Как!.. мне испрашивать ещё что-нибудь у щедрого монарха... Да это подло, совестно, грех! — с негодованием воскликнул бескорыстный старец.

Но в другие часы забывал он о своей деревне и говорил о военных делах, о битвах; мечтал о новом походе в Италию, во Францию, в Париж, где, по его убеждению, только и мог быть положен действительный конец деспотическим действиям республиканцев; создавал новые планы освобождения Европы, писал письма к государям и знаменитым современникам; разговаривал о приготовлениях к триумфальному въезду его в Петербург.

— Дайте, дайте мне только увидеть государя! — восклицал он, с удовольствием слушая рассказы о том, как нетерпеливо ждут его в столице, какие почести придумывает ему император, как готовит для него помещение в

Зимнем дворце, хочет встретить его как римского триумфатора, со всей гвардией, при громе пушек и колокольном звоне. Читая письмо государя, где он писал, что «радуется приближению часа, когда обнимет героя всех веков», старик оживал, молодец, веселился и торопил приготовления к своей дальнейшей поездке.

Наконец Вейкарт разрешил ему отправиться в путь, но с тем, однако, чтобы не уезжать в сутки более 25 вёрст. Суворов не мог уже, как прежде, лететь на перекладных, в ямской телеге: теперь его везли в дормезе, на перине, обложенного подушками, в сопровождении врачей. Багратион свидетельствует, что «переход через Альпийские горы в ненастное время, а более всего неудовольствия от гофкригсрата и враждебного Тугута, из зависти и злобы нанесённые, и их козни сильно подействовали на здоровье Александра Васильевича». Крепкая натура боевого старика долго боролась с болезнью, но наконец последняя взяла-таки верх.

Не переставая заботиться о состоянии здо-

ровья своего полководца, император Павел тем не менее отдал 20 марта 1800 года следующий высочайший приказ: «Вопреки высочайше изданного устава, генералиссимус князь Суворов имел при корпусе своём, по старому обычаю, неперменного дежурного генерала — что и даётся на замечание всей армии».

Этим приказом особа генералиссимуса поставлена была выше выговора, который вместо него сделан был как бы всему русскому войску.

Суворов почувствовал это тонкое различие, и тем сильнее было его огорчение.

Приказом этим воспользовались его враги и недоброжелатели, чтобы оклеветать его пред государем и повсюду распустили слух, что не почести, но гнев и негодование государя ожидают его в Петербурге, что встречи, готовленные ему, отменены и войскам не велено отдавать ему почестей, высочайше дарованных за италийские подвиги... В этой новой и вполне удавшейся интриге было не без участия тайных клеветов Тугута.

Слухи о ней дошли и до Суворова, когда он остановился в Вильне. В нескольких станци-

ях за этим городом свита генералиссимуса с изумлением и страхом увидела в нём внезапную перемену к худшему. Припадки болезни возобновились и усилились. Он не мог ехать далее и остановился на дороге в бедной литовской корчме. Его внесли в хату и положили на лавку. Сопровождавшие его лица не могли удержаться от слёз при виде измождённого старика, прикрытого простынёю и почти умирающего. «Боже великий! За что страдаю?!» — тяжело вздыхал он по временам, прерывая свою молитву и подавляя стоны.

Но железная натура его ещё раз взяла верх над болезнью. Все были обрадованы, когда Суворов, кое-как перемогшись, начал снова своё путешествие и особенно когда приехал он в Ригу. Здесь застал его первый день Пасхи. Через силу надел он полный мундир со всеми орденами, отслушал заутреню и обедню и разговелся у рижского губернатора.

Остальное путешествие до Петербурга тянулось две недели и походило как бы на похоронное шествие. Толпами высыпал к нему навстречу народ, но, опасаясь потревожить его покой, не решался приветствовать героя сво-

ими кликами и, обнажив головы, провожал его в торжественном безмолвии, плакал и крестился, молясь за недужного старца. Едва шевелясь и видимо угасая, Суворов всё ещё шутил и с тихой улыбкой говорил иногда: «Ох, устарел я что-то!..»

В Стрельне ожидали его друзья и родные. Дормез генералиссимуса был окружён здесь множеством петербуржцев, нарочно съехавшихся сюда встретить народного героя. Почти все глаза полны были слёз, когда увидали умирающего старика — тень великого Суворова. Слабым голосом говорил он с окружающими его. Дамы и дети подносили ему цветы и фрукты; он благодарил дам, просил матерей приподнимать к себе детей и благословлял их дрожащей рукой. К нему приблизилась молодая чета и за ней высокий, но уже сильно дряхлеющий старик в военном генеральском мундире.

Суворов поднял глаза, и во взоре его на мгновение вспыхнул светлый луч удовольствия и радости.

— Вася... Василий... мой... Черепов!.. Здрав-

ствуй, голубчик... Царь наградил тебя... Знаю!.. Хорошо... Помилуй Бог!.. Спасибо ему за это! — проговорил он полным чувства, дрожащим голосом и протянул исхудалую костлявую руку.

Черепов в сильном волнении и с любовью приник к этой руке сыновним поцелуем. Сердце его сжалось мучительной тоской, и слёзы сами невольно навёртывались на глаза: таким ли оставил он Суворова несколько месяцев назад в Куре, когда старик отечески целовал и благословлял его в дальнюю и спешную дорогу!..

— А это кто же тобой? — спросил Суворов, указав глазами на молодую даму, стоявшую рядом.

— Жена моя, рождённая графиня Харитоновна-Трофимьева, — представил Черепов Лизу.

— Жена!.. Хорошо!.. Поздравляю... У, да какая ж красавица!.. Любите его, сударыня, — прибавил старик, — любите... Он честный солдат и человек... Он достоин сего... Вы не дочь ли графа Илии?.. Знавал я его некогда... в молодости... товарищи были.

— Да, я дочь его... Да вот и он сам, мой ба-
тюшка! — представила ему Лиза стоявшего за
ней дряхлого генерала.

— А!.. граф Илия!.. Здорово, друг! — привет-
ливо проговорил Суворов, озаряясь страдаль-
чески-светлой улыбкой. — Дай руку!.. Устаре-
ли мы немного... А помнишь Куннерсдорф...
налёт на Берлин с Тотлебенем... вместе бы-
ли... Лихое время!.. Молодость!..

И, пожав руку графа, он от слабости томно
закрыв свои веки и погрузился в мягкие по-
душки.

20 апреля, в одиннадцатом часу вечера, ти-
хо въехал Суворов в Петербург чрез воздвиг-
нутые для встречи его триумфальные ворота
и принял скромную почесть заставного кара-
ула, вышедшего в сошки, по причине поздне-
го часа, в силу устава, без ружей. Не заезжая в
Зимний дворец, остановился он в доме пле-
мянника своего, графа Д. И. Хвостова, на Ека-
терининском канале, близ церкви Николая
Морского, и там почувствовал себя сразу до
того плохо, что тотчас же безмолвно лёг в по-
стель.

Государь, узнав о приезде Суворова, немедленно прислал к нему его сподвижника, князя Петра Ивановича Багратиона, проведать о здоровье и поздравить с приездом. Багратион застал старика в постели, едва дышавшего от изнурения. Часто впадал он в обморок; ему тёрли спиртом виски и давали нюхать.

Пришедши в себя, он взглянул на Багратиона, и в его больших гениальных глазах не блеснул уже взгляд жизни. Долго смотрел он, как будто припоминая его, и наконец узнал.

— А!.. это ты, Пётр!.. Здравствуй!

И замолчал, забылся.

Минуту спустя взгляд его сознательно опять остановился на Багратионе, который, пользуясь мгновением, поспешил передать ему всё, что приказал государь.

Суворов при этом как будто оживился.

— Поклон... мой... в ноги... царю... сделай, Пётр!.. ух... больно! — С усилием проговорил он, и застонал, и впал в бред.

Багратион донёс государю обо всём и пробыл при его величестве за полночь. Меж тем каждый час доносили императору о ходе болезни Суворова.

— Жаль его! — с глубокой грустью сказал государь между многими о нём речами. — Жаль! Россия и я со смертью его теряем многое... Да, мы потеряем много, а Европа — всё!

Наутро явился к генералиссимусу горячий поклонник его, вице-канцлер граф Ф. В. Ростопчин, и привёз собственноручное письмо Людовика XVIII, при котором князю Италийскому препровождались ордена св. Лазаря и св. Богородицы Кармельской. Суворов просил прочитать письмо и, взяв ордена, спросил:

— Откуда присланы?

— Из Митавы, — отвечал Ростопчин.

Горькая улыбка мелькнула на устах страдальца:

— Как из Митавы? — проговорил он. — Король Французский должен быть в Париже!

И как бы сомневаясь, так ли ему прочитали, просил ещё раз прочесть письмо, и когда услышал слова «Примите, герой великий, знаки почестей от несчастного монарха, который не был бы несчастным, если бы следовал за вашими знамёнами», — крупные слёзы блеснули на глазах его. Старик перекрестился, поцеловал кресты орденов и безмолвно

опустил их на колени.

С каждым днём, с каждым часом недуг всё усиливался; давнишние привычки и оригинальности Суворова исчезали одна за другой.

Медленно, тихо и безропотно угасал закалённый старый солдат...

Память начинала изменять ему, так что часто забывал он названия местностей, прославленных его недавними боевыми подвигами, забывал даже и самые эти победы. Но по временам светлое сознание возвращалось, и тогда он старался крепиться, вставал с постели, присаживался в большие кресла, заставляя двигать их по комнате, и даже занимался турецким языком, причём вспоминал свои походы в Турции; но вдруг нить воспоминаний этих прерывалась — он умолкал, голова его грустно никла на грудь, и тогда с глубоко скорбным вздохом вырывались у него слова:

— Зачем не умер я там, на полях Италии.

Услышав однажды от племянника, что до него есть дело, Суворов вдруг совершенно ободрился и твёрдым голосом произнёс:

— Дело?.. Я готов!

Когда же всё «дело» объяснилось тем, что

барон Бюллер желал получить пожалованный ему баварский орден непременно из рук знаменитого генералиссимуса, Суворов грустно опустил голову и слабо, едва внятным голосом, промолвил:

— Хорошо... пусть войдёт...

Наконец врачи потеряли всякую надежду.

Чувствуя приближение смерти, Суворов 5 мая призвал духовника, исповедался, причастился и с ясным спокойствием духа простился со всеми окружающими его. Наступила ночь, и с нею — бред предсмертный. В беспмятстве умирающий герой отдавал разные военные приказания, твердил о Генуе, истолковывал стратегические планы свои... Бред продолжался и утром, и последними словами Суворова были: «Генуя... Сражение... *Вперёд!*» — а во втором часу дня 6 мая 1800 года, в день св. Иова Многострадального, великий и тоже многострадальный человек тихо испустил последнее дыхание.

Глубокое и тяжёлое впечатление произвела весть о смерти Суворова в столице, в войсках, в отечестве. Многие инвалиды, его соратники, и все русские полки служили пани-

хиды по усопшем «отце», и эти люди, бесстрашно и хладнокровно глядевшие с ним вместе на смерть так близко и так часто, в кровавых боях, — теперь неутешно плакали, как дети...

Император, до глубины души огорчённый смертью русского полководца, послал своего генерал-адъютанта передать родным покойного, «что он, наравне с Россиею и с ними, разделяет скорбь о потере великого человека».

На другой день массы народа теснились около дома, где скончался народный герой, и тихо, благоговейно входили, один за другим, посетители в траурную залу, где стоял на катафалке гроб Суворова. Лицо его до того было спокойно, что он казался не мёртвым, а только уснувшим. Кругом на бархатных подушках сверкали все ордена и многочисленные знаки отличий генералиссимуса. Люди всех званий и состояний, не только петербуржцы, но и нарочно приехавшие из других городов, хотели взглянуть ещё раз на почившего и поклониться его бранным останкам. В числе их замечали множество старых инвалидов, кото-

рые плакали и молились... И все трое суток таким образом толпился русский народ у этого дубового гроба.

Настало ясное, тёплое утро 9 мая. По улицам из Малой Коломны медленно тянулся похоронный поезд Суворова. Всё духовенство столицы предшествовало гробу, стройные клиры оглашали весенний воздух пением «Святой Боже». Все сановники, вся знать, военные и гражданские чины, сословия дворянское и купеческое, представители науки, литературы и всех искусств и неисчислимое множество народа шли позади печальной колесницы. Далее следовали войска со знамёнами, обвитыми чёрным флёром. Глухо и монотонно били похоронный марш барабаны, сопровождая мерным и медленным своим боем печальные звуки мелодических флейт... Далее стройно раздавался мрачный марш кавалерийских хоров, а ещё далее, позади траурных эскадронов, тяжело громыхали по мостовой артиллерийские орудия. Бесчисленные толпы теснились на улицах вплоть до самой Александрo-Невской лавры. Окна, балконы и

даже крыши домов усеяны были народом. Державин шёл за гробом и выразил скорбь свою о кончине героя, подвиги которого долго служили ему предметом поэтических песнопений. «Северны грома в гробе лежат!» — слагал он о смерти Суворова:

*Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари,
В стуже и в зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари?
[96]*

Император Павел, окружённый блистательной свитой, верхом выехал на угол Невского и Садовой. Задумчиво стоял он близ публичной библиотеки, ожидая приближающуюся процессию, и, когда она поравнялась с ним, его величество снял с головы шляпу.

— Прощай!! Прости!.. Мир праху великого! — сказал он в полный голос, отдавая низкий поклон усопшему, — и все видели, как в эту минуту текли слёзы по лицу государя. В воротах лавры шествие затруднилось. Опасались, что высокий надгробный балдахин не пройдёт под ворота, и уже хотели было снять его.

— Вперёд! — закричал вдруг старый гренадерский унтер-офицер, ломавший все походы вместе с Суворовым. — Не бойсь-те, пройдёт! Он везде проходил!

И вот по слову старика инвалида разом двинулись вперёд — и действительно колесница вместе с балдахинном «прошла» на монастырский двор вполне благополучно.

Обряд отпевания совершал митрополит Амвросий. В последний раз загремели Суворову его грозные пушки и зарокотали ружейные залпы, когда, с провозглашением *«вечной памяти»*, гроб полководца на руках его соратников был опущен в могилу, которую покрыла скромная плита с простою надписью: *«Здесь лежит Суворов»*.

Это большие люди хоронили своего великого человека.

Примечания

*Зубова. (Здесь и далее в повести примеч.
В. В. Крестовского.)*

[^^^]

2

А, это вы, мой милый Ростопчин! Сделайте одолжение, поезжайте за мной! Я люблю быть с вами (*фр.*).

[^^^]

Анна Степановна.

[^^^]

4

Глухая исповедь — таинство исповеди, совершаемое в том случае, если умирающий не приходит в сознание.

[^^^]

5

Боже, что за варварская фамилия! (*фр.*).

[^^^]

6

Николай Алексеевич, генерал-поручик и гвардии полковник.

[^^^]

Развод.

[^^^]

Е. Ф. Комаровский, впоследствии граф и генерал-адъютант.

[^^^]

Три устава о воинской службе были изданы уже 29 ноября 1796 года.

[^^^]

В полковом приказе было сказано, чтобы под знамя нарядить подпрапорщика.

[^^^]

Как ныне у лейб-гвардии Павловского полка.

[^^^]

12

Это — принцип, мой дорогой! Это — другое дело! (*фр.*).

[^^^]

13

Целовать ручку папа (*фр.*).

[^^^]

Маэстозное... — то есть величественное, возвышенное (от *лат. majestatis*).

[^^^]

Имеется в виду популярная в России книга, полное название которой: «Древний и новый всегдашний гадательный оракул, найденный после смерти одного стошестилетнего старца Мартина Задека, по которому узнавал он судьбу каждого чрез круги счастья и несчастья человеческого, с присовокуплением Волшебного зеркала, или толкования снов, также правил Физиогномии и Хиромантии, или Наук как узнавать по сложению тела и расположению руки или чертам свойства и мужеского и женского пола с приложением его же Задека предсказания любопытнейших в Европе происшествий, событием оправданное, с прибавлением Фокус-Покус и забавных загадок с отгадками». В русском переводе «Мартын Задека» вышел в 1814 году.

[^^^]

Басон (от *франц.* *rassement* — галун, тесьма), текстильные изделия, предназначенные в основном для украшения: кисти, тесьма, бахрома, шнурки и др. Басон с тонкой нитью из сплавов цветных металлов называется галуном. — *прим. Vidmaker.*

[^^^]

Петиметр (от *фр.* «petitmaitre» — щёголь, франт.

[^^^]

Здесь: Амфитрион — человек, часто и охотно принимающий у себя гостей.

[^^^]

Канчук м. местн. Плеть, нагайка. — прим.
Bidmaker.

[^^^]

Дормез (*франц.* dormeuse, букв. — соня), старинная большая карета, приспособленная для сна в пути. — *прим. Vidmaker.*

[^^^]

Н. И. Новиков, содержатель московской университетской типографии, издатель «Московских ведомостей», «Экономического магазина» и многих книг, оживлявших русскую литературу того времени, был обвинён в «мартинизме», основании тайного общества и приговорён к заключению в крепости. Его друзья и сотрудники, между которыми были князя Юрий и Николай Никитичи Трубецкие, тоже потерпели при этом.

[^^^]

Радищев — автор известного «Путешествия из Петербурга в Москву» — книги, за которую он был сослан в Сибирь.

[^^^]

Литовский шляхтич Тадеуш Костюшко, возглавлявший польское восстание 1794 года, был пленён в бою у Мацейовицкого замка 29 сентября (10 октября) 1794 года. Во время производства следствия, которое закончилось к середине 1795 года, Тадеуш Костюшко содержался в Петропавловской крепости. Окончательного решения по делу Костюшко вынесено не было, и Павел I, лично посетив Костюшко в крепости, объявил последнему об освобождении. При этом, однако, Тадеуш Костюшко и ближайший его сподвижник Игнаций Потоцкий должны были подписать присягу верности императору Павлу. 24 июля (4 августа) 1798 года письмом из Парижа Костюшко известил Павла I о том, что не считает себя связанным данной присягой, поскольку она была вынужденной.

[^^^]

Ещё за несколько лет до смерти императрицы Екатерины цены на хлеб не только в Петербурге, но даже и по всей России поднялись до 8 и 9 рублей за куль. Это было причиной общей дороговизны на все жизненные предметы и вызывало неоднократные жалобы и ропот как в обществе, так и в народе. Одной из первых мер императора Павла были указы от 10 и 18 декабря 1796 г. о понижении цен на хлеб и о замене хлебной подати денежной.

[^^^]

По званию с.-петербургского генерал-губернатора, вел. кн. Александр должен был лично подписывать все подорожные и билеты на выезд из столицы.

[^^^]

Повесть была написана в конце XIX века —
прим. Bidmaker.

[^^^]

На месте его император Павел воздвиг, по собственному своему плану и рисункам, в один год с небольшим, «Замок св. Архангела Михаила». Этот замок имел вид крепости, окружён был водяными рвами и валами, на которых стояли пушки, и служил императору в последний год его царствования. Подъёмные мосты вели во внутренность замка. Освящён он был 8 ноября 1800 г.

[^^^]

Ротонда, где ныне помещается библиотека
Главного штаба.

[^^^]

Зала этого театра ныне занимаетя общим архивом Главного штаба.

[^^^]

Отца покойного В. Кажинского, капельмейстера Александрийского театра.

[^^^]

Отец Василя Васильевича Самойлова.

[^^^]

Золотая молодёжь (*фр.*).

[^^^]

Мир живёт примером государя (*лат.*).

[^^^]

Стамед — м. шерстяная, косонитная ткань. —
прим. Bidmaker.

[^^^]

Подзор — здесь: кружевная кайма, оборка на чём-либо. — *прим. Vidmaker.*

[^^^]

«Место печали» (*лат.*).

[^^^]

Впоследствии графиня и княгиня, воспитательница императорских дочерей, женщина, которая, по свидетельству современников, была одарена самыми редкими качествами ума и характера: откровенная и твёрдая, она заставляла самого императора уважать её мнение.

[^^^]

Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича. См.: «Русск. арх.» 1864 г. Издание 2-е, с. 708.

[^^^]

Лытать — праздно проводить время, уклоняться от службы.

[^^^]

Болотов А. Т. Любопытные и достопамятные деяния и анекдоты государя императора Павла Петровича. См.: «Русск. арх.» 1864 г. Издание 2-е, с. 708.

[^^^]

Здесь — реприманд — *устар.* упрёк, выговор, нагоняй. — *прим. Bidmaker.*

[^^^]

Указ объявлен Военной коллегии президентом её гр. Салтыковым.

[^^^]

Преторианцы (*лат.* praetoriani), в Др. Риме первоначально охрана полководцев, затем императорская гвардия; участвовали в дворцовых переворотах. В переносном смысле — наёмные войска, служащие опорой власти, основанной на грубой силе. — *прим. Vidmaker.*

[^^^]

Здесь: в зависимость от часового.

[^^^]

Профос — человек, убирающий в военном лагере нечистоты; профосами в старину назывались также военные полицейские чины.

[^^^]

Кеньги — тёплая обувь без голенищ.

[^^^]

Штаб-офицерами в то время считались полковники, подполковники и майоры. К штаб-офицерским отнесены были также и некоторые «генеральские» должности, не дававшие, однако, права на причисление к генералитету (генерал-вагенмейстер, генерал-гевальдигер и проч.).

[^^^]

Дом этот сгорел в 1812 году, во время занятия
Москвы французами.

[^^^]

Граф Е. Ф. Комаровский.

[^^^]

Известный плохой стихотворец, «певец Кубры», но очень добрый и прекрасный человек, служивший постоянной потехой для литературных знаменитостей своего времени.

[^^^]

Граф Е. Ф. Комаровский.

[^^^]

Вертоград *устар.* то же, что: сад. — *прим.*
Bidmaker.

[^^^]

Акт составлен был домашним образом ещё в 1787 году.

[^^^]

Тупей — взбитый хохол на голове.

[^^^]

Великий князь Константин Павлович был тогда командиром лейб-гвардии Измайловского полка.

[^^^]

Будировать 1) *неперех.* Показывать неудовольствие (обычно не выражая его словами); дуться, сердиться. 2) *перех.* Демонстративно не замечать кого-л., подчёркивая своё недовольство кем-л., чем-л. — *прим. Bidmaker.*

[^^^]

Селадон — первоначально — сентиментальный влюблённый, в дальнейшем — назойливый ухаживатель, волокита — прим. *Bidmaker*.

[^^^]

Соперника (от *фр.* rival).

[^^^]

Мой милый! Это всего лишь дамский угодник
(фр.).

[^^^]

Ну и шутник ты! (*фр.*).

[^^^]

«Помни о смерти» (лат.).

[^^^]

Твёрдости (*фр.*); здесь — твёрдости член, старейшина в масонской ложе.

[^^^]

«Объединённые друзья» (фр.).

[^^^]

Мертваго Д. Б. «Русск. архив» 1867 года, с. 118.

[^^^]

Греч Н. В. «Русск. архив» 1873 года, с. 697–699.

[^^^]

Супервест — особого рода одежда без рукавов, составлявшая принадлежность кавалерского звания некоторых орденов.

[^^^]

Вы — якобинцы... не вы, а полк (*фр.*).

[^^^]

Мирный договор между Австрией и Францией был заключён 17 октября 1797 года в Кампо-Формио (Италия). По условиям соглашения Австрия была вынуждена отказаться от Нидерландов и признать границей Франции левый берег Рейна.

[^^^]

Россия и Франция были посредниками при заключении 13 мая 1779 года Тешинского мирного договора, которым закончилась война за баварское наследство между Австрией, Пруссией и Саксонией.

[^^^]

Раштадтский конгресс с участием Франции, Австрии и Пруссии открылся 9 декабря 1797 года. С самого начала переговоров французская делегация заняла жёсткую позицию и выдвинула неприемлемые требования. Это вынудило в конце концов австрийского посланника гр. Меттерниха потребовать удаления французской миссии и объявить о том, что император австрийский считает все решения конгресса недействительными.

[^^^]

Французский экспедиционный корпус под командованием Бонапарта вступил в Египет летом 1798 года.

[^^^]

Этот вполне исторический факт известен из нескольких мемуаров, напечатанных в разное время и, между прочим, в записках Н. И. Греча (см. «Русский архив» 1873 г.) Ф. Булгарин в своих «Воспоминаниях» (изд. 1846 г., ч. II), рассказывая о том же, говорит, что проделка с тупеем была совершена известным шалуном того времени Вакселем.

[^^^]

Кинбурн, Фокшаны, Рымник, Измаил — места побед русской армии в сражениях второй турецкой войны при Екатерине II (1787–1791). Прага — предместье Варшавы, взятое штурмом 24 октября 1794 года во время подавления польского восстания.

[^^^]

Высший военный совет, коего членами были тогда: Коллоредо, Туркгейм и Тигэ — покорные исполнители распоряжений штатского Тугута. Независимо от этих членов, Тугут любил употреблять по военным делам преданного ему Лауэра, которого все ненавидели.

[^^^]

Лагерниками (*нем.*). указчиками (*нем.*). наёмниками (*англ.*).

[^^^]

Австрийский генерал.

[^^^]

Что за человек! (фр.).

[^^^]

Завтра я войду в тысячелетие (*фр.*). Игра слов:
«Милан» и «Тысяча лет».

[^^^]

Фукс Е. См. его «Собрание разных сочинений»,
с. 184.

[^^^]

Фукс Е. См. его «Собрание разных сочинений»,
с. 184.

[^^^]

Фанагорийский гренадерский полк (ныне Суворовский) в это время находился на другом конце Европы, в составе нашей голландской армии.

[^^^]

Слова из реляции о Новийском сражении.

[^^^]

Черес — длинный, узкий кошель, в котором носят деньги, опоясываясь им под одеждой.

[^^^]

Господин полковник (*нем.*).

[^^^]

Беззаконнику, самодуру (нем.).

[^^^]

Фукс *E.*, с. 177.

[^^^]

Да, готов!.. хорошо! (нем.).

[^^^]

Д. А. Милютин.

[^^^]

Саква — небольшой мешок для овса и продуктов, предмет кавалерийского снаряжения — прим. *Bidmaker*.

[^^^]

Требование, домогательство (от нем. bestimmt sagen).

[^^^]

Прекрасное отступление (*фр.*).

[^^^]

Монумент был открыт уже в 1801 году, в царствование императора Александра I и первоначально поставлен на Царицыном лугу, а впоследствии перенесён на площадь к Троицкому мосту, которая с тех пор и называется Суворовскою.

[^^^]

«Се мой, — гласит он, — воевода!..» — строка из оды Г. Р. Державина «На победы в Италии» (1799).

[^^^]

...шумят вниз реки... — строка из оды Г. Р. Державина «На переход альпийских гор» (1799).

[^^^]

Фукс Е. Б.

[^^^]

Кто перед ратью будет, пылая... — строка из стихотворения Г. Р. Державина «Снигирь» (1800).

[^^^]